



ЮНОСТЬ



11

1975

СЛАВЬ МОСКВУ ТРУДОМ СВОИМ!



М. ЛУКЬЯНОВ. Плакат.

К 25-летию мастерской плаката Московского художественного института имени В. И. Сурикова.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

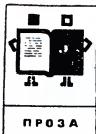
ЮНОСТЬ



*С 58-й годовщиной
Великого Октября,
дорогие наши читатели!
Встретим XXV съезд КПСС
ударным трудом
и отличной учебой!*

Журнал
основан
в
1955
году

11 [246]
ноябрь
1975



Евгений
БОРИСОВ



У КОСТРА

РАССКАЗ

Их было трое. Как-то собрались у одного, у Павла Ивановича, отметить День Победы. Прикололи, как водится, ордена и медали на пиджаки, жен своих тоже пригласили, и все было хорошо за праздничным столом. Как и полагается в праздники, выпили. Песни запели. Военные, из тех времен. Про темную ночь, про синевинский скромный платочек. Правда, тут больше жены старались, а они все помалкивали. Слушали да вылезали часто из-за стола на кухню покурить. Но и там между затяжками тоже молчали. Не оттого, конечно, что не о чем было говорить или вспомнить было нечего — еще сколько было-то! — но тут такое дело...

Они понимали друг друга, потому что молчали-то об одном. Были они в том возрасте, когда у людей, даже вовсе ничем не похожих друг на друга, в глаза скорее бросается не это их несходство, не цвет волос, скажем, не рост и не походка, а нечто другое, что сделало их до родственной близости одинаковыми, — прожитые ими годы. Но и то верно — не в женщинах выбирать. Теперь только разве в президиумы, а туда, как известно, не за красивые глаза, не за осанкость сажают. Иначе бы одному из них, Павлу Ивановичу, и не сиживать за красивыми столами: с хромой ногой да с палькой — не лучшее украшение.

А его-то и выбирали. И в тот день, о котором речь, на городском торжественном собрании он как раз в президиуме блестел, а две друга его, бело-волосяй, как луны, Илья Васильевич и резковатый в движениях молчанин Владимир Сергеевич — эти из зала, из третьего ряда на него глядели, гордились им и невольно завидовали.

Потом уж и гости пошли.

Во время очередного перекура, когда жены, оставшись в комнате, в какой-уж раз запели про синевинский скромный платочек, Павел Иванович вдруг нарушил молчание.

— А время-то идет, — сказал он задумчиво. — Может, все-таки стойт, пока не поздно? — Он вопросительно взглянул на товарищей. — Собераться бы да махнуть, а? Теперь и каторг туда ходят, я узнавал.

— В шесть поль-поль, — тут же сообщил немногословный Владимир Сергеевич.

— Четыре часа всего ходу, — уточнил третий. — Завтра бы и махнуть. Чего зря откладывать?

...Речной каторг, почти пустой, добрался до места, где не было никакого причала, и потому он приткнулся носом к берегу, и мальчишка-матрос, попыхивая папироской и дивясь приходу странных пассажиров, пожелавших сойти на неподвижном берегу, сбросил для них жиidenкие сходни, и трое в резиновых сапогах и стеганках сошли на песок.

Шли они долго, с передышками, потому что трудно было идти по песку.

Рисунок
Маринны
ПИНКИСЕВИЧ.

Павел Иванович со своим костылем быстро умаялся, но виду не подавал — какая-то сила ввлекла их все дальше и дальше. Так прошагали они километров пять. Но вот на излучине, там, где река зарыбелись каменистым порогом, один из них остановился, стал оглядываться.

— Сядется мне, — сказал он, — что здесь... Здесь надо искать, это место...

Похоже, что так, — согласился второй, — очень даже похоже. И перекат этот зубастый... Он мне и теперь еще снимется. Только чего тут теперь искать, мышь все перемыто.

— Сколько воды утекло... — сказал третий.

Все согласились: действительно, много ль отыщешь на песке через двадцать-то лет...

Но они еще долго ходили по берегу, месили ногами песок и молчали. Потом поднялись к лесу и там тоже бродили, приглядываясь к каждому деревцу, под каждый кустик заглянули: старались и словно бы спрашивали у них: «А вы-то нас помните?» Павел Иванович все шуркал палькой в похухлой траве, водил ею, точно миноискателем. Но ничего, никаких следов не нашли.

Опять спустились к реке, облюбовали местечко — между водой и лесом, без ветерка, — разложили свой первый костер. И перешли: здесь, на этой земле, возле быстрого волжского переката, где много лет назад, обжигаемые студеной октябрьской водой и фашистским свинцом, летящим из прибрежной засады, их отряд отходил на левый берег, — здесь отныне собирались им, бывшим партизанам этого отряда. Так и было до поры. И пять и шесть лет подряд. Они приезжали сюда в один и тот же день, день-вятка мая, и зажигали костер.

...Три года назад, весной, перед самым ледоходом, умер Владимир Сергеевич. Обычно он первый оповещал их о ледоходе, потому что жил на набережной, окнами на Волгу. Он звонил по телефону сначала Павлу Ивановичу, затем Илье Васильевичу, докладывал:

— В восемь ноль-ноль в районе нового моста начальца подвигна! — И кричал радостно: — Тронулась, родимая! Считай, что дожили. Теперь уж скоро!

От этого дня они начинали считать: сколько им осталось ждать поездки.

И вот они потеряли наблюдателя.

Неделя, кажется, прошла после похорон... К Павлу Ивановичу вдова покойного заглянула. Принесла удочку треххвостенную, баночку из-под леденцов с крючками и прочими рыбакими принадлежностями и котелок — все, что Владимир Сергеевич взял с собой «по предиспанию».

— Может, скдится, — сказала она сквозь слезы. — Не выбрасывать же... Уже в дверях спросила: — Как Каныч-то, без моего... Поедет или уже все?

— Как это все? — Павел Иванович даже взорвался. — Потому что... Наоборот. Теперь и за него, знаешь... Иначе и быть не может.

— И ладно, — отозвалась вдова, — и хорошо. Тогда у меня просыбас... Веточку какую, может, отломите или кустик какой... К нему бы на могилку...

И опять той весной на берегу Волги горел костер. Только теперь у огня сидели двое. Два человека, не рыбаки и не охотники, глядели молча на огонь, а рядом, на клененчатой скатеречке, стояла початая бутылка; они уже выпили малость — иза тех и за него, да Сергечка... — а что осталось в кружках, выплеснули в костер и не притрагивались больше к бутылке, забыли про нее; время от времени один из них поднимался, подbrasывал дровишек в огонь, и тогда притухший было костер оживал снова, и они

опять слышали жаркое его дыхание, и им казалось, что там, в огненной глубине его, в эти минуты идет какая-то непостижимо трудная работа, от которой и рождаются на свет тысячи раскаленных дебелы искр. Ощущая странную привычность к этой работе огня, они неотрывно и долго следили за метающимися к небу искрами, старались поймать тот неизбежный, неуловимый миг исчезновения их и не могли уследить, потому что за тысячами пропадающих во тьме искр взмелись еще тысячи и было в этом движении что-то неистребимое, вечное.

В такие минуты, чувствуя тайное родство с огнем, они, торжественно-молчаливые, думали о себе... Им казалось, что и сами они, простые смертные, два персональных пенсионера, деды своих внуков, члены разных советов и многих общественных комиссий, кавалеры боевых орденов, два больных, доживающих век старика, ведущих свой род от беззлобных тверских крестьян, что оба они если и не вечно смирились с собой, в своей плоти и крови, то в чем-то в самом главном у них тоже есть продолжение, есть что-то такое, не богом, конечно, и не другой потусторонней силой данное, а собственной их жизнью заслуженное.

Они не говорили о том, что же такое в них — это главное. Должно быть, потому, что однинаково понимали и чувствовали его и в себе и в других, в своих сверстниках, поэтому и не сомневались, что ничего главное, чем пережитое, выстраданное и отвоеванное ими, и быть не может. Столько думано-передумано было возле того костра...

Ночью сквозь тягостную бессонницу, ненадолго заглушаемую болезненно чутким сном, Павлу Ивановичу почудилось, будто на Волге тронулась лед. И это было странно. Странности были не в том, что такого быть не могло — могло, самое время! — удивительно было другое: вот так лежать в постели и в какой-то миг до полной уверенности, до ясного видения и до отчетливой слышимости ощущать то, что творится не где-то рядом, не у сорседей за стеной, не во дворе под окном, а на большом расстоянии, за кварталами высоких домов, проглатами лиц и переулков; но именно так и было: он лежал в постели и чувствовал далекое, рождающееся в ночи движение, и слух его цеплялся за эти, еле различимые некомнатные звуки.

Сначала что-то рокотало глухо и сдержанно, будто больной, превозмогая великую боль, вздыхал, ворочался, постанывая. Прислушиваясь к звукам, Павел Иванович и сам уже страдал чужой болью и думал о происходящем, как о чем-то живом, почти человеческом.

Он понимал, откуда пришла к нему эта ночная остраста, болезненная чуткость души и слуха и отчего все происходящее там, на агрельской реке, представилось ощущенным почти страданием.

Вчера на «Скорой» увезли в больницу второго друга, Илью Васильевича. Врачи сказали: инфаркт.

Накануне, два дня назад, они были с ним на заседании совета бывших партизан, говорили об очередном партизанском слете — где и когда его проводить, — и Илья Васильевич, сидевший рядом с Павлом Ивановичем, шепнул ему:

— А хорошо бы, Иваныч, собрать всех партизан на наш костерок. Место — лучше некуда. Как считаешь?

— Подумать надо, — ответил Павел Иванович, — обмозговать.

Потом они шли домой и обмозговывали. Дело, понятно, было заманчивое, но смущало одно: ведь на карте области немало других мест, где сражались партизаны их же земляки, и, конечно, встанет вопрос, а почему именно здесь, а не в поселке Пено, скажем, и не в Андреаполе?.. И не получится ли так, будто они сами о себе напоминают, о своих особых заслугах? А какие они особенные? Воевали, как все... И решили: пусть так и будет — они опять сбераются вдвоем, пойдут к себе и заплачат костер для себя...

И вот на тебе — инфаркт.

Было о чем подумать Павлу Ивановичу в эту ночь.

Размышлял он и о том, много ли у него самого-то осталось их, этих ледоходов? И остались ли? Может, этот, нынешний, и есть тот самый...

Три дня и три ночи даже врачи не знали, что будет завтра. Но прошло еще время, и кажется, прояснилось: из омельных губ больного родились невнятные, еле слышные слова... Кто-то другой, услыхав их, вряд ли что и понял, подумал бы — бредит человек, но у постели больного сидели жена его и Павел Иванович. Они услышали и поняли.

— Как... костер... наш... — бормотал больной. — Пусть... костер...

— Ясное дело, о чём речь, — торопливым шепотом откликнулся Павел Иванович. — Ты уж лежи знай, не рыпайся, все будет как надо. Еще и вместе посыдим, погремевши у костерка...

Для себя же он твердо решил: пусть дождь, пусть снег, пусть что угодно, а он пойдет! Один пойдет, за них за всех! Даже рюкзак свой походный приготоил, и билет на катер уже лежал в кармане, и звездная четвертника была куплена — на лучший случай, если «моторы» не забрахлили...

А «моторы» и забрахлили... Утром, как ни бодрились перед женой, не спрятал своей тревоги.

— И не выдумывай! — Решительная, она встала перед ним у дверей. — Наездились, хватит! Туда же захотел, следом...

С рюкзаком, перекинутым через плечо, он подошел к ней и сказал тихо, но так, что продолжать разговор не имело смысла:

— Не надо.

Она поняла и отступила.

— Там я носки тебе положила в рюкзак, — тоже очень тихо сказала она, — шерстяные, в правом кармане. Будет зябко, поддень под портняшки...

Быстроходная «Заря», курсирующая теперь по этому маршруту, укоротила рейс почти на час, и остановка приблизилась к тому месту километра на три, так что идти оставалось всего ничего. Павел Иванович, как спустился на знакомый бережок, так сразу и повеселел, почувствовал: отпустило в груди, дышать стало легче, вольнее. А тут и дождичек, напугавший его утром, приутих, а скоро и совсем перестал, и где-то сквозь легкие, летущие облака узко проклинулось майское солнышко. Разглупился денек.

Павел Иванович прибавил шагу. Ему не терпелось поскорее добраться до места, скинуть рюкзак, подтащить дров к кострищу да развести огнь. Как хорошо, просто здорово придумали они однажды — собираять дровишки про запас. Словно чувствовали, что кому-то из них они их как кстати окажутся. Так и вышло: много ли он один насобирал бы теперь по лесу!..

Павел Иванович так разошелся, так размахалась своим костылем, что не заметил, как миновал последний, против белого бакена поворот, за которым

сразу должно было открыться то место, уже издали серебряющиеся порожистым перекатом, а когда увидел его, тут же замер, остановился как вкопанный... Ноги, и без того подуставшие, словно налились свинцом и как будто вросли в вязкий приречный песок. Лоб покрылся холодной испариной, и опять, как утром дома, сдавило грудь...

Там, на знакомой излучине, где десять лет кряду и в дождь и в снег, в один и тот же день они снимали с плеч свои рюкзаки, на том самом месте, которое они о неписаному праву первооткрывателей считали своим, горел костер. Он еще только разгорался, и было нем больше дыму, чем огня, но дрове уже возились, хозяинчили, возле него. А рядом — как он сразу-то не заметил? — поближе к лесу, стояла голубая, как лоскуток весеннего неба, палатка.

«Да нет, — попробовал успокоить себя Павел Иванович, — быть такого не может, это какая-то ошибка. Тут что-то не так...»

Но он понимал, что никакой ошибки нет: костер горел на том самом месте... Конечно, и дровишки припасенные пошли в ход, и все, все теперь полетят кувырком...

Жажда обида от совершающейся, а скорее, уже свершившейся несправедливости обожгла ему лицо. «Ну, нет, — сказал он себе, — мы еще посмотрим, мы еще разберемся, что к чему... Развели, понимаешь, другого места не нашли... А по какому такому праву?..»

И еще крепче скжав рукой костыль, зашагал прямиком к костру.

Сидевшие у костра — один, приставивший себя бороденкой, другой в очках, похоже, постарше первого, — тоже заметили его. Они возились у огня, то и дело поглядывая на хромого путника. Вдвоем, да с расчесным, поблескивающим на солнце самоваром, да с удочками, чтико нацепившимися у воды на счастливый улов, и с веселой палаткой, им было, наверное, хорошо на этом вольном берегу, под приветающим солнышком. Гостей они не ждали.

А Павел Иванович уже подходил к костру.

— День добрый, — сказал он глухо и неприветливо, останавливаясь шагах в трех от огня и враждебно косясь на самовар, над которым уже струился и плавился сизоватый дымок.

— Привет, привет! — торопливая скороговорка, как бы между прочим, откликнулся бородач. Но пошедшего он даже не взглянул — шуркал палкой в костре, зачем-то распалия его.

Из-за костра от палатки сверкнули очки второго. Он поинтересовался:

— Как тут с рыбалькой, отец? Вы, небось, здешний... Где тут они, заповедные?

— Заповедные... У Павла Ивановича аж дух перехватило, захотелось сказать про эти самые, заповедные, чтобы знали два молодчиков: не одной удачливой рыбалькой да охотой определяются заповедные места, есть кое-что другое... Но сдержался, сказал, как бы примиряясь к разговору:

— Ишь, как у вас, вынь да положь заповедное. А ты бы и поискал. Тут вон их сколько, у каждого свое...

— А это чём плохо? — поднявшись над костром, бородач широко развел руками. — Красота, кто понимает.

— Вот-вот, я и вижу... Вижу, какие вы охотнички до красоты! — Павел Иванович снова взорвался на самовар. — Съехались, будто на ярмарку... Цыган вам еще не хватает?

— Не нравится, — снова подзадорил бородач, — так мы и не наставляем. Извините, как говорится, за компанию. А насчет цыган мы подумаем.



Он хохотнул и снова обратился к костру, как бы знал про Павла Ивановича. Но тут очкарик, до поры не вмешивавшийся в разговор и теперь, похоже, склонившийся что-то, спросил у Павла Ивановича:

— Чего негодуешь, отец? Или место твое заняли? Так бы и говорил. Потеснились бы. В тесноте, сам понимаешь...

Бородач с явным неодобрением покосился на очкарика и снова съязвил:

— Долго спиши, батя. Свято место пусто не бывает. Да и не нальевно нигде, чье оно...

— Написано, еще как написано! — вдруг сорвался на крик Павел Иванович и даже сам испугался, так неожиданно это вышло у него. Закончил, еле сдергиваясь: — Да не всякий, понимаешь, читать это умеет...

Но каждому дано. Привыкли, понимаешь...

Двое полуувопросительно, полуудивленно переглянулись.

— Привыкли, понимаешь, на готовеньком... Вот и красоту им, видишь ли, подавай. А чего она стоит, вот эта красота?... — Голос Павла Ивановича накалился и окреп. — Знаете ли вы, чего она стоит? А какую расписочку за нее люди здесь оставили? Знаете? Кровью писанная расписочка...

Теперь он уже не стоял на месте; прихрамывая, он топтались перед костром, и костьль, замятый в руке, то и дело угрожающе взлетал над огнем, над головами смутившихся парней. Волнуясь и сбиваясь на крик, он продолжал что-то говорить им, а они, покраженные и растерянные, молчали. Наконец, бородач не выдержал.

— Будет, остынь, батя, — перебил он. Обратился к очкарику. — Я что-то не сообразжу, с чего это он подхватился...

— Как же, где уж вам! — Павла Ивановича забрали окончательно. — Вам бы чего другого собрать — на троих или как там у вас, — а это где уж. Явились, понимаешь, на готовенько, распалили костер...

— Да с чего сыр-бор-то, отец? Растолкуй нам, не-грамотными, — на этот раз вступили очкарик, — объясни толком, может, мы и поймем...

— Да брось ты с ним связываться, — теряя терпение, сказал бородач, — не видишь, что ли? Мужику вожжка под хвост попала... Разбежавшийся от реки ветер влетел в костер, бросил в лицо бородатого едкого дыма, тот засверлил кулачками глаза. — Ты, батя, зануда, видать, порядочный. Хуже дымного костра. Этот хоть дымит да греет, а от тебя — один дым...

Очкарик поглядел на него из-под очков:

— Ты сам-то не заводись... Мало ли что с человечком...

— А чего он, в самом деле? Надо было тащиться сюда из города, себе и другим нервы портить. Сидел бы со своей старухой у телевизора, глядел бы парад...

Он пошел от костра к палатке, с досадой махнул рукой: отдохнули, мол, порыбачили... Но Павел Иванович успел-таки крикнуть ему вдогонку:

— Ты старуху мою не тронь, нос еще не дорос!.. Отрастись, понимаешь, бороды и занервничали. Больно нервные стами, не рано ли?

— Так его, отец! — усмехаясь и явно склоняя Павла Ивановича к примирению, сказал очкарик. — Нечего с ним церемониться, сунем вот бородой в костер, и дело с концом. Жена еще спасибо скажет.

— Вот, вот, — отозвался от палатки бородач, — говори с ним, Сань, ты умееши... Выйси, что такое хорошо и что такое плохо, а то у нас, видишь ли,

все не так... Дрова не жги, самовар не разводи... Теперь вот и до бороды добрался.

— Да жгите, палите все подчистую! — снова выкрикнул Павел Иванович, но выкрикнул как-то устало, без надежды кому-то что-то доказать. — Думаете, мне дров жалко, не в них дело... Я вот понял хочу, откуда и кто вы такие и ради чего вы все это... Вот здесь вы ради чего? И вы, и костер ваш, и самовар этот... Для удовольствия или еще как? Что вы за люди такие, нынешние?

Теперь и Саня очень серьезно и внимательно поглядел на Павла Ивановича, будто впервые увидел его, и даже в затылки почесал. Признался:

— А и верно, зачем мы? Приехали вот, а не знаем... — Он глядел на Павла Ивановича, будто ждал, что тот поможет ему разобраться в непонятном этом деле.

Но и Павел Иванович, обезоруженный откровенным признанием очкастого, не нашел что сказать.

— Я же говорю, без пол-литры не разберешься... — Это бородач вернулся к костру с рюкзаком. — Еще и биографию рассказать придется... Чем занимались до семнадцатого года...

И тут, будто кстати, произошло нечто такое, что наконец притащило то затухающую, то вновь готовую разогреться перепалку... Что-то запыхало, заскотило, зафыркало за костром, и Саня, сверкнув очками, ошалело метнулся туда, закричал заполошно:

— Держи его!

Павел Иванович не сразу сообразил, кого же он кинулся догонять, потом догадался — самовар... Он даже усмехнулся себе позовил, подумал при этом: «Иши, как разыграл, стервец! Как артист на-стюдий!»

А тут еще и бородач выкинул номер... Тоже сорвался с места, как ошпаренный. Одевая в два лосиных прыжка расстояние от костра до реки, он уже стоял по колено в воде и, замерев в неслыханной, смешной позе, протягивал руку к одной из лесок, на которой суматошно подпрыгивал и вызыванивал колокольчик.

— Да дергай, чего ты! — подал Саня голос от са-мовара.

Бородач что есть мочи рванул леску и стал торопливо перебирать руками, вытаскивая ее из воды.

— Не суетись, спокойней! — охолаживал его очкарик. — И впрочем старайся вести, дай ей заглотнуть кислороду.

А в воде уже трепыхалось что-то, какая-то сила, невидимая еще, упорствовала отчаянно, и, поддаваясь этой борьбе, рыбак, словно лунатик, шагнул глубже, навстречу своей удаче, черпнул голенищем воды...

— Подсачок бы взял, уйдет ведь!

Саня нервничал на берегу.

Но тут над водой, ощерившись колючим оперением, затрепыхался пучеглазый, осклизлый ерш разземом чуть больше указательного пальца...

За спиной Павла Ивановича раздался хохот. Оглянулся, Саня, как стоял у самовара, так и повалился рядом, никчом на траву, и теперь трясясь в безудержном смехе, постонали. И Павел Иванович тоже не сдержался: смеясь, глядел на незадачливого рыбака.

— Ну, паразит, ну, зараза! — Мокрый выше колен, конфузясь в ухмылке, бородач вылезал из воды. — А зазвонил-то как! Как большой. Ну, надо же, нахалюга! Всю обедню испортил!

Саня на берегу досмеивался. А Павел Иванович тем временем скинул с плеча рюзак, неловко присел на него: решил закурить... Он не знал еще, что будет делать дальше, но что-то подсказывало ему: нет, не поделить им этого костра, не для него горит он, а потому и не будет ему ни света, ни тепла от него. Но почему-то медлил, для чего-то удерживал себя возле костра... вот и закурить решил, хотя курить-то ему не хотелось.

Он достал из пачки примятую папиросу, повертел ее в пальцах, стал искать по карманам спички, но почему-то не нашел... В первую минуту это обстоятельство не смущило его — вот он, огонь-то, рядом... Не свой, но прикурить можно. Пригнувшись к костру, он отыскал раскаленный до белого свечения уголь, обнажил пальцы, выхватил его из костра, побросал с ладони на ладонь, потом ткнул в уголь папироской, стала раскуривать... И вдруг словно ожегся: спички... он искал их и не нашел, потому что... Память выхватила недавнее, из вчерашнего дня: он был на кухне, отложил два коробка, хотел завернуть их в целлофановый мешочек — для сохранности, а мешочка под рукой не оказалось, и он оставил спички на столе.

Знакомый ноющий холодок снова проник в грудь, под сердце, и голова пошла кругом, и поползла земля из-под ног, зарябило, запыльяло жарким пламенем в глазах... Рука-машиной потянулась к земле, за костылем, ища в нем привычную опору. Горячее дыхание костра касалось его лица и рук, и глаза, остановившиеся в недоумении, смотрели прямо на огонь, но он не видел и не чувствовал его. Другое виделось ему: вот он один на этом до последнего, кажется, камешка, до последней головешки знакомого холода от сердца, вернула его к реальности. «Фу ты, дьявол! — будто освобождаясь от нараждения, подумал он,— что это я запаниковал-то? Ничего же не случилось еще... Забыл спички, старый дурачок, только и всего. Так что ж теперь волком выть, что ли? Не один же я здесь, не на Северном полуострове... Прикурить вот сумел, и костер, надо будет, свой разведь. Жалко огня им, что ли? Наберу головешек или угольков...»

Теперь он совсем успокоился, вспомнил про папиросу, затянулся без удовольствия и отстrelнулся ее щелчком в костер. И тут только заметил: двое, хозяева костра, подтащив поближе к огню самовар, уже сидели возле него, и кружки с дымящимися чайком стояли перед ними на скатертике; они о чем-то перешептывались, поглядывали на Павла Ивановича... Но вот Саня сказал:

— Отец, ты это... Вынимай давай свою походную, иди к нашему самовару, он у нас, небось, тоже заслоненный, с медальками... Тяпнем по кружечке, на мрюковую, так сказать, пока на ушицу не наловили...

Посторонне, как бы не предназначена еще за своего, а толькo приглядываясь, Павел Иванович поглядел на «заслоненный» самовар и, чувствуя до тошноты неприятную горечь во рту от двух папиросных затяжек, подумал, как о желанном, о глотке душистого чая и, кажется, уже сделал какое-то неуволовимое, ему одному понятное движение — за кружкой, к своему рюзаку, — но что-то удержало, вернее, подтолкнуло

его... Он встал, опираясь на костыль, и, припадая на правую ногу, пошел прочь от костра. Куда, зачем?

— Батя, — крикнул вдогонку бородач, — а мешок-то, мешок свой забыл!

— Кончай, Геныч, — осуждающе сказал Саня. — Оставь человека. Рюзак здесь, значит, вернется.

А Павел Иванович все дальше и дальше уходил от костра, от реки. Он поднимался к лесу.

Kостру он вернулся уже под вечер, когда солнце скатилось к реке. В лесу было сумрачно и стыло, от земли, из лесных овражин с залежками, еще не ставшим снегом тянуло погребальным холодом. Ноги у Павла Ивановича стали замерзать в резиновых сапогах, и все в нем словно бы постыло, повышалось на весеннем ветерке, и одного тепла теперь хотелось — тепла.

Нет, было и еще какое-то желание: услышать рядом человеческий голос, почувствовать возле себя тепло чьей-то жизни, пусть незнакомой, случайно встреченной, пусть непонятной, но жизни... И чтобы кто-то настулил слушал его, и сам он, благодарный за участие, смог бы тем же ответить...

Бродя по лесу, Павел Иванович о многом успел подумать. Он вспомнил, как однажды, уж вдвоем с Ильей Васильевичем, они заговорили у костра... Прежде ни к чему было: приезжали сюда втроем и никого, казалось, не нужно было. Те, ради кого они приезжали, уже никогда не смогут быть с ними, потому что оттуда, куда ушли они, не возвращаются... Октябрьской ночью сорок первого года их унесла и скрыла студеная волкская вода. Да и других, кто вместе с ними, живыми, вышел тогда из-под огня и жить остался, теперь тоже раз, два и обялся, их уж не соберешь. Но вот и они вдвоем остались... А что же дальше?

В тот вечер они впервые усомнились в том, в чем прежде не сомневались ни один из них: а все ли, как надо, делали они? Приезжали, сидели втроем у огня, точно от людей хоронились. А для чего, спросить, хоронились-то? Чего прятали? Или кто мог отнять у них что-то сокровенное, или одним памятное, или обидеть кто мог?

И вот, оказавшись наедине с собой, он снова вспомнил тот разговор и теперь, кажется, что-то начинать понимать... Правда, того ответа, который они искали вдвоем, еще не было, но Павел Иванович знал, где его искать, и потому невольно, блуждая весь день по лесу, он то и дело возвращался мыслями к тем двоим, оставшимся на берегу, к чужому костру...

Да, глупо, нескладно все вышло. С чего-то завелся, разнервничался попусту, дровами стал попрекать, а дров-то, пропади они пропадом, гори они огнем — вон они, как лежали, так и лежат целехонькие на своем месте, где их упрятали. Конечно, с дров этих все и пошло. Сплоховал. Зря сплоховал. Хотел сразу повернуть назад, повиниться перед ребятами, да не смог... Потом ходил по лесу, то укоряя, то успокаивая себя, но уже знал, что рано или поздно вернется к костру, не сможет не вернуться. И дело, конечно, было не только в рюзаке, который остался там, на берегу...

И еще ему хотелось, чтобы кто-то из них — может, тот ершистый, с бородкой, или Саня-ончикер — вдруг забеспокоился о нем, пошел искать его по лесу или крикнул бы ему, позвал. И он невольно замедляя шаги, приостанавливаясь вдруг — слушал. А лес вокруг и рядом жил весенними пробуждающи-
7

мися голосами, и голосов и звуков разных было в нем великое множество. И другие, нелесные звуки, нет-нет, добирались сюда, шли они от реки, но разобрать их было невозможно, мешал непрестанный то затухающий, то вновь нарастающий гул моторных лодок. А кто-то и верно как будто покрикивал там... Или ему это только казалось.

И вдруг совсем явственно донеслось:

— Бая-а! Оте-е-е!

Павел Иванович замер. Прислушался: не ошибся ли он?

— Бая-а-а! — тут же раздалось снова. — Давай к костру-у, уха-а поспеле-а!

Оказывается, он и ходил-то рядом. А может, это к вечеру так далеко и громко разносится?..

...Он появился у костра, когда над огнем в котельке уже кипело вosoю, а в бурлящем пени плясало, торчком выпрыгивая над ней, рыбы хвости. Костер потрескивал весело и жарко.

— Ну, батя, ты даешь! — почти радостно воскликнул бородач. — Все глотки пообворвали кричавши. И рыба вон изверзась вся. Да и это... — Он прищелкнул пальцем под бородой. — Пора бы...

Саня хитровато щурился у костра, снимал котелок с огня.

Потом, когда уха дымилась в деревянных расписных мисках — и для Павла Ивановича такая же нашлась — и что надо было разлить по кружкам, трое поглядели друг на друга с одинаковыми, сдержаным удивлением — что-то не бывает, мол, на свете: утром хотят водой разливай, а теперь вот с кружками рядом сидят, — но тут же забыли об этом, и все, похоже, вспомнили о другом, о чем каждый, наверное, не раз подумывал сегодня, вспомнила так, как умеешь помнить сердце, как поминало оно, как чувствовало... Теперь они держали кружки, ждали, и ясно было: двое ждали одного, и он, Павел Иванович, знал, чего ждут они от него... Но он не спешил. А не спешил потому, что не мог вот так сразу сказать то, что, не раздумывая, сказали бы, если бы рядом сидели не эти двое, а старые его друзья. Их, старых друзей, теперь не было рядом, а этих он совсем не знал, и они его тоже не знали, и надо было что-то понять, быть уверенным в чем-то, чтобы говорить им те же слова. И потому он спросил сначала:

— Ну, а у вас, у молодых, за что нынче пьют?

Двое переглянулись.

— Вообще-то за то же, что и у вас, — сказал Саня. — В такой день...

— Само собой, — поддержал другой.

— Выходит, за одно. — Павел Иванович поднял кружку, и две другие кружки стукнулись краями об нее. — Значит, за это и пьем, за нашу Победу... И за них, которых нет теперь с нами. Так что вот так...

Он первый выпил, а остаток по привычке выплеснул в огонь, чтобы горелось. Двое, не сговариваясь, тоже плеснули из своих кружек. Потом была тишина, и слышно было, как течет река, как потрескивают, пыхают в костре дрова, как бьет, играя на перекате, рыба... Огонь костра отгородил от себя непроницаемой стенной все, что было там, за его кругом, и только звезды над их головами горели ярко и чисто. И вдруг что-то вспыхнуло, народилось еще, но не в небе, а на земле — зажглось и замерло отраженно в воде...

— Вон еще зажег кто-то, — почему-то шепотом сказал Саня, — это на том берегу. — И попросил Гену: — Давай нашу, а?

Гена не отозвался. Как будто не услышал. Он не

спеша докуривал сигарету, задумчиво глядел на тот дальний, только что народившийся в ночи огонь чужого костра, словно ждал чего-то. Но вот, мелькнув светялки, недокуренная сигарета полетела в огонь, Гена еще подождал немножко и запел...

При первых словах, которые еще и не были песней, Павел Иванович замер: так неожиданно это было — услышать вдруг у чужого костра давно знакомые слова, услышать песню, которую столько раз... Нет, не в шумной праздничной застольице, не по телевизору, а именно здесь, на этом месте, на этом берегу, только у другого, у своего костра... Вот в чем было дело!

Горит свечи огарочек, гремит недалний бой. Налей дружок по Чарочке, по нашему фронтовому...

Ну, конечно же, все так и было — и ночь, и костер, и эта песня... Они сами пели ее, и Павел Иванович, бывало, запевал, а двое подхватывали. Но прежде кто-нибудь из них вот так же и предлагал: давай, мол, нашу... Нашу. А теперь эти двое пели, и Павел Иванович, замирая сердцем, слушал их.

Где елки осыпаются, где елочки стоят. Который год красавица гуляет без ребят...

Притихший и удивленный сидел у костра Павел Иванович, все словно замерло в нем, и он чувствовал, что вот сейчас, не в эту, так в другую минуту, с ним что-то непременно должно случиться — он или заплачет, или встанет и уйдет от костра, чтобы потом заплакать...

«Вот тебе на! — бормотал он растроганно, стараясь удержать слезы. — Вот и пойми их, этих нынешних, поди разберись, откуда что у них... Вот и песни эти, какими такими судьбами добралась до их сердц и что она говорит им! Ведь столько песен разных насочинили, а они вот, черти бородатые, нашу поют, да еще как поют-то! И этот самый «недалний бой»... Когда они его слышали, где?»

То ли от близкого огня, то ли от мыслей этих теплая волна затопила, затуманила глаза, и сквозь туман, который не хотелось укинуть сию минуту, ни смакнуть рукой, увиделось Павлу Ивановичу другое, то, что весь день как будто стояло незримо с ним рядом или за спиной... Увидел он всех, кто прорывалась вместе с ним в сорок первом через эту реку, сквозь шквал свинца, ударивший из-под кустов... Теперь они словно сошли сюда, к костру, и грелись у огня и слушали песню, которую ни спеть, ни услышать им не довелось.

г. Калинин.



Юрий
МАСЛОВ

УРОКИ МУЗЫКИ

РАССКАЗ

Рисунок
М. ЛИСОГОРСКОГО

В аэропорту Комраков взял такси. Взял не потому, что любил шиковать, а потому, что с детства был нетерпелив. Во всем. С годами Борис поборол в себе эту слабость (сказались выучка геолога-поисковика), но в далах повседневных и обыденных он, как и прежде, был тороплив.

Шофер, видимо, опаздывал и до самого города гнал машину, как сумасшедший. Комраков угостил его сигаретой и закурил сам. Курить ему не хотелось, но он привык закуривать, когда чего-нибудь ждал. Все равно чего: встречи с девушкой, самолета или разноса начальства. Такая уж у него была привычка.

При въезде в город Комраковым вдруг овладело беспокойство, смутное и на первый взгляд беспричинное. Он поглубже засунул кулаки в карманы меховой куртки и некоторое время сидел, не шевелись, мрачно поглядывая вперед на дорогу. Затем раскрыл лежащий на коленях портфель и, порывшись в бумагах, вытащил старый, замусоленный конверт. Взглянул на штемпель. Письмо было отправлено почти год назад. На этом их переписка оборвалась. «Странно, — подумал Комраков, — при ее пунктуальности... Терпеть не могла слова «забыла» и презирала тех, кто опаздывал...»

— Я вам сказал, куда ехать? — не отрывая от письма глаз, спросил Комраков.

— Серебряный переулок. — Шофер с недоумением посмотрел на пассажира.

— Давайте сперва зайдем в Староконюшенный, это рядом, тоже на Арбате.

— Знаю, — пробурчал шофер, с откровенным и злым безразличием пожимая плечами.

Дом был старый, облупившийся и давно требовал ремонта.

Комраков поднялся на третий этаж. На лестничной площадке было тепло и сухо; как прежде, пахло луком и жареной рыбой, а из квартир чьи-то слышно доносились звуки рояля. Комраков потянул носом и, ощущив знакомые с детства запахи, расстроился. В иные годы Борис бы посмеялся над собственной чувствительностью, но теперь, когда он достаточно помудрел и постарел, ему не хотелось разыгрывать невозмутимость.

Комраков знал, что дверь здесь не запирают, хотят войти, но в последнюю минуту передумают и позвонят. Обычно после этого в квартире воцарялась тишина, и образовавшуюся паузу прерывал сильный женский голос:

— Входите, там открыто!

Именно Комраков сейчас хотел услышать больше всего на свете.

...Впервые его привели сюда, когда он перешел во второй класс.

— Боря, если будешь себя плохо вести, тебя ждут неприятности, — сказал папа и для убедительности встрихнул сына за воротник пальто.

Борька изобразил на лице гримасу боли и отчаяния. Мама бросила на мужа негодуший взгляд и, приглядев сыну непослушные вихры, с иронией произнесла:

— Слова до ребенка, между прочим, тоже доходят.

Папа кашлянул в кулак и позвонил. Музыка за дверью стихла, и Борька услышал:

— Входите, там открыто!

В коридоре их встретила высокая женщина. Плечи ее прикрывала шерстяной платок, а в правой руке она держала очки.

— Здравствуйте, — сказал папа.

— Здравствуйте, — ответила женщина.

— Мы к вам от Елены Ивановны... — Мама подтолкнула Борьку вперед.

— Я знаю, — сказала женщина, — она мне звонила. ПРОХОДИТЕ.

Вся комната была заставлена цветами. Борька на миг растерялся. Горошки с диковинными растениями громоздились на подоконники и письменном столе, на причудливых стенных полонках, забегавших к сажому потолку. Они стояли даже на старинном камине и еще более старинном бюро с хрупкими изогнутыми ножками. Единственно свободными оставались только рояль и то место на стенах, которые были заняты картинами.

Некоторое время Борька стоял смирно, боясь пошевелить и пальцем. Ему казалось: сделай он шаг — и какой-нибудь из цветков с грехом полетит на пол.

В углу комнаты красовался большой аквариум. Его подсвеченные стекла причудливо преломляли гроф и зелень, среди которой юрко сновали золотистые рыбки. С ними Борька должен был познакомиться поближе. Взрослые продолжали разговаривать, и Борька, воспользовавшись их занятостью, осторожно, боком приподнялся к аквариуму, обследовал его со всех сторон, а затем ткнул пальцем в зазевавшуюся рыбку.

— Боря, это же тебе не кошка! — возмутилась мама.

Борька спрятал руки за спину и виновато улыбнулся.

— У тебя есть кошка? — спросила женщина.

— Была, — ответила мама.

— С ней что-нибудь случилось? — Женщина подошла к Борьке и усадила его в кресло.

— Ее пришлось отдать соседям, — сказал папа. Затем развел руками и пояснил: — Он беспрерывно дергал кошку за хвост, а она клятвенно ждала...

Женщина села напротив Борьки, и когда он поднял глаза, спросила:

— Зачем ты дергал ее за хвост?

— Я играл с ней, — грустно сказала Борька и улыбнулась, наивно, простодушно — словом так, как улыбался всякий раз, когда ему приходилось врать.

Женщина приняла ложь спокойно. Борька облегченно вздохнул, думая, что пронесло, но, когда поднял глаза и увидел, с каким вниманием его рассматривают сквозь очки, понял, что женщина не поверила ни одному его слову.

— Как тебе зовут? — спросила женщина.

— Боря.

— Боря, — повторила женщина и снова сняла очки. — А меня — Инна Васильевна. Ты хочешь заниматься музыкой?

Борька зевнул, быстро перевел взгляд на родителей и по их глазам понял, что хочет, сильно хочет, ну просто жить без музыки не может. Но Борька не обладал еще ни отцовским красноречием, ни маминым даром убеждения, поэтому его «хочу» прозвучало фальшиво и лицемерно.

Инна Васильевна неожиданно улыбнулась. И это поразило Борьку — он был уверен, что на него смотрятся: уж очень очевидной была ложь.

— Слушай внимательно, — сказала Инна Васильевна. Она взяла карандаш и отстучала им несколько быстрых тире и точек. — Повтори.

— Это азбука. Морзе? — спросил Борька.

— Да, — кивнула Инна Васильевна и повторила упражнение. Только теперь тире и точки шли в другой последовательности.

Борька пробарабанил что-то громкое и маршебразное, явно не то, что ему велели. Не смог он выполнить упражнение и на второй и на третий раз.

— Очень уж ты невнимателен сегодня, Борис, — сказала мама, перехватив выразительный взгляд Инны Васильевны.

— Он может напеть любую песню без ошибок. Услышь по радио и — пожалуйста, готово. Боря! — Папа сделал знак сыну.

Борька встал и, зияя легкие могучим глотком воздуха, истошным голосом завопил:

— Валенки, валенки,
Да не подшины, старенки...

Мама всплеснула руками, а папа сморщился так, будто у него разом заболели все тридцать два зуба. Инна Васильевна рассмеялась, беззвучно, до слез. Затем вытерла глаза платком и не то воспротивительно, не то утвердительно проговорила:

— Значит, ты хочешь заниматься музыкой...

— Да, — сказал Борька.

И ответ его был искренним — уж очень ему понравилась учительница.

На первых порах своего музыкального образования Борька был послушен и исполнителен. Он старательно рисовал нотные значки, с удовольствием разучивал их на рояле и скоро всю нотную азбуку знал как свои пять пальцев. Инну Васильевну эта прилежность почтала удивила, а потом и покорила — она видела, что музыка ее маленькому ученику дается легко. Были довольны и папа с мамой. При встречах с Инной Васильевной они рассыпались в благодарностях, признательности, а в канун восьмого марта папа преподнес учительнице розы, которые достал по великому знакомству: один из его приятелей работал в оранжереи Ботанического сада.

Уроки музыки не прошли для Борьки даром, и он сумел извлечь из них практическую пользу. Однажды во время пения, когда учительница вышла из класса, он подошел к роялю, взгромоздился на стул и, небрежно, как великий артист, откинув полы своего форменного пиджака, взял два вступительных аккорда. Мальчики хихикали, девочки иронически заулыбались. Тогда Борька трахнул головой, зачем-то раскрыл рот и с отчаянностью погибающего стручка по клавишам: «По долинам и по ветвям...»

Эффект был ошеломляющий. Девочки хором закричали: «Еще», — а Витяка Симагина, который всегда и во всем должен был быть первым, стремглав подскочил к Борьбе и, потрясая кулаком, заорал: «Давай!»

Из-за неоплощенно прикрытой двери в коридор хлынул разноголосый рев:

По долинам и по ветвям
Шла дивная вперед...

За это импровизированное выступление Борька получил тройку в четверти по поведению и... приглашение участвовать в школьной самодеятельности.

Но вскоре Борьке надоело разыгрывать роль прилежного ученика. А он именно разыгрывал, и это требовало от него огромного напряжения.

Борька понимал, что Инна Васильевна, заметив его равнодушие к музыке, огорчится. А расстраивать учительницу ему не хотелось: очень уж он к ней привязался. Инне Васильевне можно было поведать



о неудачах в школе, о своих сомнениях насчет жуткого будущего, которое предрекали Борьке родители в случае непослушания, рассказать о своих планах, спросить, отчего у него умерла рыбка в аквариуме. И на каждый из этих вопросов получить толковый, исчерпывающий ответ. А не то, что родители: это тебе рано, слишком много будешь знать, скоро состаришься. Нет, такого друга терять было нельзя, просто невозможно. Но разумивать всякие там гаммы и при этом делать вид, что счастлив, как мальчик, которому купили сразу двенадцать сливочных пломбиров, он тоже больше не мог.

Как-то в начале урока Борька спросил:

— Инна Васильевна, а зачем вам столько цветов?

Инна Васильевна обвела взглядом комнату и задумалась. Лоб ее перерезала неровная цепочка морщин, глаза погрустнели, и Борьке показалось, что учительница вот-вот заплачет.

— Люблю, — Инна Васильевна кротко улыбнулась. — Муж очень любил, и я люблю.

— А где ваш муж? — Тут Борька понял, что залез в область недоволенного, и обеспокоенно заерзнул.

— Погиб, — просто сказала Инна Васильевна.

— А мой папа не был на войне, — грустно заметил Борька.

— И мой муж не был. — Инна Васильевна вскинула голову и задумчиво посмотрела на небольшую фотографию, висевшую на стене.

Борька проследил за ее взглядом. На палубе парохода стоял высокий мужчина. Рука на руках застянута, через плечо — рюкзак. Он улыбался и махал кому-то рукой.

— А почему он умер? — удивленно спросил Борька.

— Он был вулканологом. Знаешь, что это такое?

— Да, — подумав, сказал Борька. — У меня открыта есть — «Извержение Везувия».

Инна Васильевна кивнула.

— И он очень любил цветы.

— А я марки собираю, — сказал Борька. — У меня много марок. — И со значением добавил: — Это интересно.

— И цветы собирать интересно, — возразила Инна Васильевна. Она встала и подошла к окну. — Вот, например, монстера — лиана тропических лесов. Очень любит солнце и влагу. Но если воздух будет пересушен влажный, то листья перестанут испарять воду, они ее будут просто выдавливать вот из этих отверстий. Видишь?

— Вижу, — сказал Борька, подойдя поближе.

— По этому растению, как по барометру, можно предсказывать погоду. Разве это не интересно?

— Интересно, — согласился Борька и перевел взгляд на растение, свисающее из горшочка, подвешенное на ножке к самому потолку.

— А это ампела, — пояснила Инна Васильевна. — Так звали героя древнегреческого мифа, которого Зевс превратил в виноградную лозу.

— А вот такой цветок и у нас есть, — обрадовался Борька, показав на высокий голый стебель с красивыми розетками листьев.

— Это циперус.

— А почему он в двух горшках?

— В нижнем должна быть вода.

— Нет там воды, — сказал Борька и для убедительности засунул в горшочек палец.

— Действительно. — Инна Васильевна покачала головой. — Надо его напоить.

— Можно? — с восхищением спросил Борька.

Получив разрешение, он отрометью бросился на кухню. Вернувшись, спросил:

— А папирус — это тоже растение?

— Да. Папирус — двояродный брат циперуса. Но растет он не на Мадагаскаре, а по берегам Нила. Древние египтяне делали из него бумагу.

...Все дни своей жизни Борька делал на удачные и неудачные. Эти привычки он перенял у папы, который каждый вечер, усаживаясь ужинать, спрашивал у сына: «Ну как, удачный у нас был денек?» Борька подытоживал в уме события дня и, если все было благополучно — в школе пятерки, а в альбоме красовалась новая марка, приобретенная в магазине или вымененная у товарищей, — быстро отвечал: «Удачный». Если же пауза затягивалась, папа хмурился и просил показать дневник.

Сегодня Борьке ничего было опасаться папиного вопроса. День выдался сверхудачный. День открытый. День увлекательных путешествий. Но все то необычное и неожиданное, что пришлось узнать ему, перемерло перед главным открытием — он понял, что на уроках музыки можно не скучать, и что они могут проходить так же интересно, как прогулка в зоопарк или посещение кино. Для этого требовалось только отвлечь Инну Васильевну. Каким образом, Борька уже знал.

Витьяк Симагин собирал марки, а дома у него, особенно на кухне, стояло множество цветов неизвестного происхождения. На них-то Борька и нацелился. На уроке рисования он шепнул приятелю:

— Могу серию альпинистов поменять.

Витьяк подобрал вечно оттупленную нижнюю губу и недоверчиво спросил:

— На что?

— На горшок с цветами.

Витьяк подумал, что над ним смеются, и, обидевшись, отвернулся.

— Честное слово, — поклялся Борька.

Все еще сомневаясь, Витьяк бросил на товарища изумленный взгляд.

— А где я его возьму?

— На кухне, — жарко прошептал Борька. — У вас все окно ими установлено.

— Это сосединки, — сказал Витьяк. — Мне попадет.

— Она не узнает. Их много, — продолжал настуপать Борька, почтывовав в голосе приятеля неуверенность.

К концу урока Витьяк сдался: уж очень велико было желание заполучить серию альпинистов.

Борька пришел к Симагину после обеда. Витьяк проводил его на кухню и, суетясь, зашептал:

— Быстрей. Пока дома никого нет.

Цветы стояли на подоконнике и столах, и все они были разные и красивые. Но Борьке надо было выбрать самый красивый, самый редкий, который мог бы действительно украсить коллекцию Инны Васильевны, и оншел от цветка к цветку, как гончая по следу, надеясь только на свое собственное безошибочное чутье. Выбор его пал на кактус, отростки которого напоминали узких извротливых змей.

— Вот этот, — Борька взял горшок и, еще раз внимательно осмотрев его, стал запихивать в сумку.

— Марки давай! — не своим голосом вдруг заорал Витьяк, который до сих пор не мог добраться до сути этого неравнозначного обмена, что угнетало его и злило одновременно.

Борька достал из кармана конверт с марками и, отдав их обескураженному приятелю, торопливо покинул квартиру.

Инна Васильевна искренне обрадовалась подарку, но и удивилась.

— Где ты его взял? — спросила она, машинально нащупывая в кармане очки. — Это редкий экземпляр мексиканского змеевидного кактуса.

— Правда? — прошипела Борька, радуясь, что не ошиблась в предположениях насчет ценности цветка.

— Да, — тихо проговорила Инна Васильевна. — В народе его зовут «Царица ночи» — он удивительно красиво цветет. Так где ты его приобрел?

Врат Инна Васильевне было бессмысленно. Борька это уже давно усвоил. Можно было соглати маме, отцу, учительнице в школе, там бы его вранье еще могли принять за чистую монету, а если бы и разоблачили, то все равно ничего страшного не случилось бы: поругали, покурили, в крайнем случае прочли скучную нотацию. Инна Васильевна нотацию не читала. Она обиженно поджимала губы, становилась неразговорчивой и подчеркнуто вежливой. И эта ее вежливость и презрительная снисходительность доводили Борьку до отчаяния. В эти минуты он, как никогда, остро чувствовал свою ничтожность, мелочность и никому не нужность.

Не сорвал Борька и на этот раз.

— Я выменил его на марки, — неохотно признался он и густо покраснел. Покраснел потому, что правда была частичной.

— Хорошо, — сказала Инна Васильевна, — но больше чужие цветы преподносить мне не смей. Договорились?

Когда Борька закончил четвертый класс, Инна Васильевна подарила ему альбом и серию марок о первооткрывателях новых земель.

Борька ошибался, думая, что Инна Васильевна не замечает его хитростей и уловок, которыми он старался как-то отвлечь ее от музыкальных занятий. Инна Васильевна все прекрасно видела и понимала, и, конечно же, могла пресечь раз и навсегда бесконечные вопросы о далеких, неведомых странах, землетрясениях, вулканах, о том, что находится глубоко под землей и высоко в небе. Но она чувствовала, что по-настоящему мальчишке интересно именно *ЭТО*, и после долгих, мучительных раздумий, после бесплодных переговоров с родителями, пошла навстречу своему ученику. Борька узнал маршруты Греческого и Арсенея, Санникова и Русланова, фантазия уносила его в далекую Арктику: он плывал с командором Берингом, зимовал на Северном полюсе с папанинским четверкой. Он заново переживал их неудачи и радовался их победам, головал вместе со своими героями, замерзал во льдах, но неумолимо, как когда-то синяя шаг за шагом пробивалась вперед. И эта неумолимость, дерзость и отвага первых землепроходцев наполняла Борькину жизнь новым смыслом и значением.

Безымянную Борькину уверенность в надежности своего амплуа примерного ученика развеял случай, который, как ни странно, снискал ему славу будущей музыкальной знаменитости.

В школе должен был состояться концерт. Борьку включили в число участников.

— Сыграешь чего-нибудь, — авторитетно заявил Борька Симагин, на которого было возложено составление программ на вечера.

— Ты бы сперва спросил, согласен я или нет, — возмутился Борька.

— Тебе разве честь класса не дорога? — тоже возмутился Симагин, уже усвоивший все демагогические приемы словесного боя. — Или, может быть,

за шесть лет ты одного «Чижика» разучил? Да, ре, ми... — Витька оседал верхом на парту и ядовито усмехнулся.

— Я могу сыграть, только слушать ведь никто не будет, — еще раз попыталась выкрутиться Борька.

— Это уже не твоего ума дело, — возразил Витька.

Отступать было некуда. Борька, побагровев, зло выкрикнул:

— Бах!

Витька озадаченно присвистнул.

— Серебряная музыка. Ну, ладно. Бах так Бах.

О предстоящем испытании, свалившемся на него, как снег на голову, Борька решил Инне Васильевне не говорить. Он не знал наизусть ни одного серебряного произведения, а при мысли о необходимости что-то разучивать ему становилось не по себе: портилось настроение, появлялись вялость, апатия, все валилось из рук. «По нотам что-нибудь сыграю, — решил Борька, — все равно не поймут».

В день выступления он надел новый костюм и тщательно причесался. На сцену вышел взволнованный и серебряный. Невидящими глазами окинул зал, выждал паузу и громко выдохнув: «бах. Прелюдия и фуга», — с ужасом вспомнил, что забыл ноты.

Борька играл вдохновенно, в бешеном темпе. Гремящими яростными аккордами было тесно в маленьком школьном зале, и они, накатываясь друг на друга, обрушивались на притихших слушателей, словно волны мучегощего прибоя на каменистый берег. Импровизация была неожиданной и стремительной, и Борька ее исполнил, как подлинный виртуоз, на одном дыхании. Все гаммы, нехитрые мелодии, марши и вальсы, которые он осилил за годы ученичества, спилились в ней воедино.

Борька кончил играть так же неожиданно, как и начал. Некоторое время стояла тишина, а затем раздался гром, аплодисментов, и громче всех хлопал и кричал «Браво!» потрясенный Витька Симагин. А рядом с ним сидела еще более потрясенная учительница пения, и взгляда ее горел негодованием.

«Ну вот», — сердце у Борьки екнуло, но все-таки он покинул сцену с таким чувством, с каким оставляют ринг непобежденные боксеры. Ему было горько и радостно одновременно, щемило сердце, а на глаза предательски накатились слезы. Он знал, что больше ему не выступать. Но на эта мысль повергла его в уныние — другая, пришедшая следом за первой. Борька вдруг отчетливо понял, что о его бедствии знает и Инна Васильевна. И что это открытие она сделала не сегодня и не вчера, а, может быть, в тот далекий день, когда он притянул ее в подарок змеевидный кактус, или еще раньше.

Борька решил бросить музыку. Навсегда. В тот же вечер он заявил об этом родителям. Лицо у мамы удивленно вытянулось, и она посмотрела на сына так, как будто он сказал, что собирается кончить жизнь самоубийством. Но в следующее мгновение удивление сменила ярость.

— Как, шесть лет собаке под хвост? — Это было самое крепкое выражение, которое папа когда-либо слышал от мамы.

Он нахмурился и строго взглянул на сына.

— Я пошутил, — сказал Борька, поняв, что из его затет все равно ничего не выйдет.

Мама, всхлипнув, выбежала на кухню. Папа огорченно посмотрел ей вслед и раздраженно заметил:

— В следующий раз шуты осторожней.

Но развязка все равно должна была наступить. Об этом знали и Борька и Инна Васильевна. И она наступила. Это случилось в день выпускного школьного вечера.

Борис позвонил Инне Васильевне утром.
— Здравствуйте,— сказал он нетерпеливо.
— Здравствуй. Тебя можно поздравить?
— Рано. Самый серьезный экзамен впереди. —
По затянувшейся паузе Борис понял, что Инна Васильевна не на шутку встревожилась, но все равно продолжал молчать, испытывая ее терпение.

— Что ты имеешь в виду? — наконец не выдержала Инна Васильевна.

— Музыку.

— Тебе ее не сдать. И ты сам это прекрасно знаешь.

— Я-то знаю, а вот предки...

— Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не смел так называть родителей.

— Переживу, — звонительно прятнулся Борис, — им еще не то предстоит пережить.

— Тебе нужно со мной поговорить? — спросила Инна Васильевна.

— Да.

— Приходи. — И она повесила трубку.

За последний месяц Борис сильно изменился, и Инну Васильевну поразила та перемена, которая произошла с ее питомцем. Все школьное, что было в Борьке, вдруг неожиданно исчезло. Перед ней стоял мужчина. Рослый, Крепкий. В кожаной куртке. И пахло от него табаком, как от настоящего мужчины. Инна Васильевна подошла к нему поближе.

— Ты что, курил?

— Пробовал.

— Нравится?

— Трудно сказать. — Борька неопределенно пожал плечами.

Инна Васильевна опустилась в кресло и, прижав к груди руки, как-то по-бабы, просяще и жалостливо проговорила:

— Не рано ли, Боря? Так жизнь впереди...

— Верно. — Борис усмехнулся, и Инна Васильевна поняла, что все ее доводы будут напрасны, неубедительны и бесполезны.

А бесполезных вещей она делать не любила.

— Я слушаю тебя, — спокойно сказала Инна Васильевна.

— Сначала примите вот это. — Борис развернул бумагу и высыпал ей на колени огромный букет нарциссов.

— Это по какому же слушаю? — спросила Инна Васильевна, смущенно улыбаясь.

— По слuchayu... — Борис запнулся и, сцепив за спиной пальцы, взволнованно заходил по комнате. — Я решил уехать в экспедицию.

— В экспедицию?

— Да. В экспедицию! — Борис взъерошил волосы и резко остановился. — Мне надеялась эта кампания. Родители не переубедить. Им консерваторию подавай!

— И ты решил поставить их перед фактом?

— Да, — с жаром выдохнул Борис. — И вы должны мне помочь.

— Каким образом? — спросила Инна Васильевна, потрясенная этим категоричным заявлением.

— У вас много знакомых геологов, напишите кому-нибудь. Пусть возьмут. Кем угодно, хоть рабочим. Я на все согласен.

Инна Васильевна долго молчала, думая о том, что не ошиблась в своих предположениях и что все произошло именно так, как ей не раз представлялось. Но теперь ей стало грустно и тоскливо, и от-

куда-то издалека пришло чувство вины, словно она была соучастницей случившегося.

— Ты хорошо подумал!

— Лучше некуда, — почти выкрикнул Борис. И вдруг взмолился: — Ну помогите, Инна Васильевна, ну что вам стоит?

— А почему ты сразу не хочешь поступать в институт?

— Для этого мне все равно придется уйти из дома, — мрачно заявил Борис. — А без стажа... В общем, я зря потеряю время.

— Хорошо...

— Спасибо, — тихо сказал он. — Я на восток поеду, к Куприянову. Вы о нем так много рассказывали...

— На восток так на восток. — Инна Васильевна выдвинула средний ящик комода.

На дне его лежала толстая пачка десятак.

— Вот твои деньги, Боря.

— Моя??

— Вернее, твои родителей — плата за уроки музыки. Надеюсь, ты понимаешь, почему я не могу их взять?

— Это нечестно, вы же занимались...

— Не надо, Боря, — улыбнулась Инна Васильевна, — не будем ломать голову над тем, что сомнению не подлежит. Вот тебе триста рублей. Две стопы на дорогу, а сотня — для первой полочки.

Через неделю он уехал. А еще через месяц с далеких Курильских островов пришло от него первое письмо. Он писал, что откопал какие-то удивительные цветы, которые во что бы то ни стало доставит Инне Васильевне живыми и невредимыми.

Дверь долго не открывали. Комраков нетерпеливо покосился на матовую кнопку звонка и позвонил еще раз. Наконец послышался легкий перестук каблуков, и незнакомый женский голос спросил:

— Кто там?

Комраков почувствовал резкую, нестерпимую боль в сердце, и смутное беспокойство, которое овладело им при въезде в город, неожиданно обрело реальный и жестокий смысл.

Сухо, как взведеный курок, лязгнул ключ в замке.

Комраков повернулся и пошел прочь.

На весь подъезд раздраженно и однообразно гремел незнакомый металлический голос: «Кто там? Кто там? Кто?..»

Владимир Костров



Я вспоминаю, словно поминаю
ушедшее. На том себя повлю —
природу я люблю и понимаю,
тебя же не понимаю, но люблю.
Оно необъяснимо, чувство это,
оно во мне и словно бы вовне,
чуть грустное, как северное лето,
как мельница в заволжской стороне.

В том чувстве

чуть журчит вода по стлани

и брезиги

чуть прикрученный начник

по горнице,

где на полу постлали

хрустящий и дурманящий сенник.

И запах

горьковатый и счастливый

давно уже погасшей головни...

И слышно, как на быстрине,

под ивой,

едва разводят жабры головы.

Все это просто, коротко и кротко.

Зажмуря глаза,

задумайся,

гляди.

И родника, как божья коровка,

не может улететь с твоей груди.

Босые,

скинув обувь на пороге,

ходим в сон, души не бередя!

И снятся мойжевельник у дороги,

спокойно ждущий солнца и дождя!

Баллада о Вахше

Ваша стремительность, Вахш,
для которой гранит не преграда,—
наши награда.

С первого взгляда

я искренне Ваш.

И о Вас будет эта баллада.

Горы справа,

горы слева,

только знай без берегов —

месть отвергнутых богов,

время солнечного гнева,

время тайны снегов.

Время буйного набега

сокрушающей орды,

время превращенья снега

и голубой напор воды.

Время каменного танца,

время потного труда.

Здесь течет со щек у старца

голубая борода.

Здесь, наперекор моторам

покоряющей реки,

как мулы, кричат с укором

замшевые ишаки.

Здесь арык, звенящий бойко,

и густыи чинар напряз,

и стоят на книжных полках

Пушкин, Чехов и Хафиз.

И глядят на человека,

древним блеском глаз грозя,

память каменного века —

желтолузик и горьза.

Но небесный тускнет глянец,

лишь — пустыни близкой весть —

...И поворот, и сердце скжаслось.
Дышу с трудом.
Стоит —
страны огромной малость —
мой отчий дом.
Навеки врезанные в память —
тому назад —
у вереи доброжиль камень
и палисад,
четыре стерты ступени
и три окна.
О, как в них пели и скорбели,
когда пришла война!
Дом дышит по ночам натужно,
как дед больной.
Весь от торца до черной выушки
любимый мной.
Все связи прочие наруши,
а эти — не.
Он двери распахнул, как душу,
навстречу мне.
Входи же с верой и надеждой,
свои дух лени,
здесь теплота жива, как прежде,
в большой печи.
Он пахнет яблоком и редькой,
хранил уют.
Здесь на поминках тени предков
к столу встают.
И тут,
одетый в старый китель,
давно вдовец,
страны застуপник и строитель,
живет отец.
Живут, с эпюю не сссорясь,
святым трудом —
мои печаль,
любовь
и совесть —
отец и дом.
Четыре горькие годины
несли беду,
четыре красные рябины
горят в саду,
И не сдались,
перетерпели
тебя, война,
четыре стерты ступени
и три окна.

появляется «афганец» —
кремнезема злая взвесь.
Не уймешь и не удержишь,
и нельзя дышать, хоть плачь.
Словно старый, грязный деревиш
вытрясает ветхий плащ.
Глазки мутные слезятся,
и летят из заплат и швов
прах быных цивилизаций,
сор эпох и пыль веков.
[Словно пыль из-под британских
киллинговских башибузуков.]
В голубой долине Вахша,
в глубине гранитных глыб:
«Все, что ваше,
будет наше», —
зашифрован мерный скрип.
Но уйдет домой «афганец»,
и осядут хмары и дурь.
Снова неба вечный глянец,
снова ясность и лазурь.
И бокалом с кровью Вахха,
окропляющей труды,
чокнемся за грехоту Вахша,
за напор его воды.
Чокнемся за попущенный
пробудившийся Восток,
чокнемся за наведенный
переменный желтый ток.
Помянем ночные смены
в горной каменной трубе
и крутые перемены
в трудной пламенной судьбе.
Без бахвальства — это повод
к редкой нежности мужской.
Предлагаю тост за провод
меж Нуреком и Москвой.
Выпьем за движенье сляба,
за плавление руды
и за горного прораба,
повелителя воды!

Пали, значит, навек упали.
Вот мальчишка лежит, вот старик.
За деревней в глубокой пади —
Хмурых елок протяжный крик.

Елки, елки на месте боя.
Как солдаты, держали строй,
Заслоняли людей собою,
Пули, пули — под старой корой.

Много видел я, даже слишком.
Не люблю вспоминать войну.
Закрываю глаза и слышу —
Стая елок кричит в тишину.



Меж светлых берез подмосковных
Темнеет сибирская ель —
Высокая, строгая, словно
Гвардеец, одетый в шинель.
Сияет в полночное время
На шлеме зеленом звезда...
Откуда таежное семя,
Скажите, попало сюда?
Какая-то давняя тайна:
Быть может, боево-сибиряк
Привез его просто случайно,
Наверно, попало в табак...
А может, комсорт батальона,
Что вырос в кузнецкой тайге,
Зернику носил в медальоне,
Как память о дальней Юрге.
На месте жестокого боя
Весною, почуя тепло,
В разбитом окопе героя
То семя на свет проросло...
Меж светлых берез подмосковных
Темнеет сибирская ель,
Высокая, строгая, словно
Гвардеец, одетый в шинель...

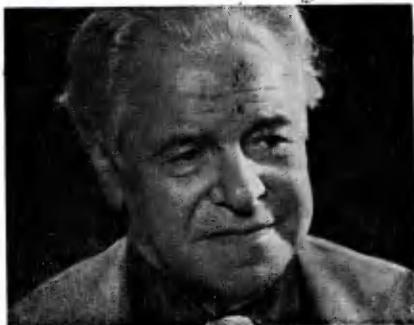
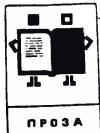


Олег Алексеев



Вижу хмурое поле боя,
Поле гротоха и тишины.
Лица павших темны от боли,
Это черные лики войны.

Ольха цветет — зеленым дымом
Зеленый берег занесло.
А аисты над нашим домом
Опять кружат — крыло в крыло.
Гляжу на них с мечтой о сине,
Стую над плесом дотемна.
На старой, высохшей осине —
Гнездо большое, как колпак.
Косили пули, горе, старость...
Я неспроста мальчишку жду:
Мужчин почти что не осталось
В большом отчаянном роду.
И нам с женою видеть любо
Густой зеленый дым весны,
Двух аистов широкоплавовых,
Они ведь тоже влюблены.
И кружат и трещат о чем-то,
И нам счастливо, молодым...
Родился все-таки мальчишка,
В глазах его — ольховый дым.



Алексей
КАПЛЕР

ВОСЬМОЙ

РАССКАЗ

Случилось это весной не то в одна тысяча девятьсот двадцать четвертом, не то двадцать пятым году.

Заведующий одесским Посредрабисом скрылся. Не пришел на работу ни утром, ни днем. К вечеру секретарь — он же и единственный, кроме заведующего, сотрудник этого учреждения — отправился к нему домой. Там он узнал о бегстве товарища Гуза, о том, что тот сел накануне в поезд и укатил в Ленинград.

Отдел труда и правление союза работников искусств, которым подчинялся Посредрабис, назначили срочную ревизию. Комиссия, созданная для этого, однако же, с недоумением обнаружила, что все финансовые дела в полном порядке. Составили об этом акт.

Гадать о причинах бегства Гуза, собственно, не было нужды: они были ясны. У Бориса Гуза, маленького, круглого человечка, был тенор. При помощи этого тенора он издавал звуки оглушающей силы и сверхъестественной продолжительности. Фермато Гуза могли выдерживать только одесские любители пения. Они вхимали головы в плечи, их барабанные перепонки трепетали последним трепетом, вот-вот готовые лопнуть, но одесситы при этом счастливо улыбались — вот это-таки голос!

Гуз несколько раз обращался и в отдел труда и к правлению союза Рabis с просьбой освободить его, так как здесь, в Одессе, он уже «доучился», а в Ленинграде хотел совершенствоватьсь у знаменитого — не помню какого — профессора бельканто.

В обоих почетных учреждениях к артистическим планам Гуза относились несерьезно: да, голос. Да, верно.. Но голос какой-то дурацкой силы. Есть слух, это правда, но ведь никакой музыкальности..

В общем, пророк в своем отечестве признан не был. А в Ленинграде он вскоре стал известным оперным певцом.

Рисунки
Е. МЕДВЕДЕВА.

Я слушал его однажды в «Кармен». Гуз был в то время уже премьером оперного театра и пел партию Хозе.

Он вышел на сцену — маленький, круглый, с короткими ножками и ручками, в куртюке с золотыми поズументами, толстенькие ляжечки обтянуты белыми рейтузами... сверкающие сапоги на высоком, почти демисезонном каблуке.

И запел...

Это было невыносимо.

Меня поражало отношение к Гузу ленинградских музыкантов — как они могли его терпеть?

Бесчисленные хвалебные рецензии, огромные буквы его имени на афишах — все говорило о колоссальном успехе, о признании.

Видимо, и здесь настолько высоко ценился голос, сила звука, что все осталось ему прощали: и отсутствие артистизма и вкуса, и смешную внешность, и одесский — о какой одесский! — акцент.

В память Одессы я терпеливо прослушал целый акт, глядя на то, как коротенький дон Хозе пылко изъяснялся в любви крупногабаритной Кармен, демонстрируя традиционные оперные жесты, не имеющие ровно никакой связи с содержанием арии. Он то разводил руки, то протягивал одну из них вперед, в публику, куда и обращал тексты предназначенные стоящим в стороне любимию.

Она перекидала арию Хозе, тоскливо упершись в талию кулачками, и по временам пошевеливая бедрами, приводя тем в движение свои многослойные яркие юбки.

Но вот Гуз брал с легкостью верхнее «до» и держал его так долго, что, казалось, в конце этого фермато певец обязательно упадет замертво.

Но Хозе не падал, а все тянулся оглушительный звук, и публика [ленинградская публика!] немастово аплодировала и кричала «Бис!».

Угрюмо наблюдал это, понимая, что молодость прошла, ибо раньше со мной тут обязательно случился бы припадок истерического смеха.

Теперь мне все это казалось только грустным.

Итак, зав. Постредрабисом сбежал. Не влезо учреждению. Был и до Гуза заведующие, но по различным причинам подолгу не заскакивали.

На место Гуза на сей раз назначили товарища Сажина Андриана Григорьевича, недавно переехавшего в Одессу.

До революции Сажин был учителем гимназии в Петрограде.

«Интеллигент в первом поколении», сын бедняка-крестьянина, Сажин сам пробил себе дорогу в жизни.

Реакционные умонастроения и монархические взгляды некоторых коллег-учителей оказали большое влияние на Сажина — влияние отталкивающее.

Он долго приглядывался к различным партиям, знакомился с их программами, читал Бакунина, Маркса, Бердяева, Ницше и в апреле 1917 года принял окончательное решение: вступил в партию большевиков — РСДРП(6).

Было ему тогда двадцать пять лет.

Учение Маркса он продолжал изучать, и оно представлялось ему не только неоспоримо верным, но и единственно возможным.

Вскоре Сажин бросил педагогику и стал активистом, партийным работником Выборгского района в Петрограде. Накануне Октябрьских дней и в во время восстания он выполнял бесчисленные мелкие поручения, после Октября выступал на митингах, читал лекции.

Его контакту с аудиторией несколько мешала близорукость, ибо, выступая, он снимал свои очки —

минус одиннадцать, и все становилось расплывчатым, он видел только какие-то неясные очертания, светлые и темные пятна.

А оратор ведь необходимо различать лица своих слушателей, а то и выбрать кого-нибудь среди них, чтобы обращаться как бы лично к нему.

Очки же, по убеждению Сажина, были чем-то вроде признака человека чуждой среды и могли помешать его общению с рабочими и солдатской аудиторией.

Гражданскую войну Сажин провозвал в Первой конной.

Близорукость и очки с толстыми стеклами не помешали военому эскадрону Сажину стать отличным всадником, лико носиться на коне, владеть шашкой и заработать две сабельные раны и пулью в сантиметре от сердца.

Закончилась война. Демобилизованный после лазаретов по чистой, Сажин был направлен на работу в отдел народного образования, где его назначили начальником Политехнавы — подотдела политического просвещения.

А еще через год по настоятельному совету врачебной комиссии, которая нашла у него серьезный непорядок в легких, Сажин переехал на юг.

И вот Одесса... Еще «там» Одесса, середины двадцатых годов, сохранившая свою неповторимый колорит, лексику, южный темперамент и одесские хомы.

Сажину предложили только что озабочившуюся должность заведующего Постредрабисом.

Что это такое, Постредрабис? Сажин не имел о том ни малейшего понятия.

Однако же ему кое-что разъяснили, обещали в случае него помочь советом, и он согласился.

Размер оклада не имел никакого значения, как член партии Сажин на любой работе имел право получать не больше партмаксимума, а он в те времена составлял девяносто рублей — сумму ничтожную.

Андрян Григорьевич был челоzekом з высшей степени дисциплинированным, пожалуй, даже педантом.

К Постредрабису в первый день своей работы он подошел в девять ноль-ноль.

Дверь, однако же, была заперта, и никто за ней не подавал признаков жизни.

Постредрабис помещался на Ланжероновской улице, в бывшем рыбном магазине.

Сажин дернул дверь раз-другой и принялся ждать.

Через полчаса появился наконец секретарь Постредрабиса Полещук, в прошлом артист цирка Арнольд Мильтон.

Он шел подпрыгивающей походкой, то и дело посыпываясь и вордворяя на место вываливающиеся из толстого, ободранного портфеля бумаги. Рыжие, видимо, за всю жизнь ни разу не стриженные волосы торчали во все стороны безо всякой системы.

Выдавшая многие виды, некогда бордовая толстовка была подпоясана шлагом.

Бумажные брошки сели после стирки и заканчивались гораздо раньше, чем следовало, открывая тонкие, поросшие ржавым кустарником ноги в сандалиях.

Полещук удивленно посмотрел на раннего очкастого посетителя в поношенном френче, галифе и сапогах.

— Вы ко мне? — спросил он Сажина, отпирая дверь.

— Я Сажин. Заведующий Постредрабисом, — резко ответил Андриан Григорьевич, — и хочу получить объяснение, почему вы явились на работу с опозданием на 30 минут.

— А... так это вы... — равнодушно произнес Полещук, — можете зайти. Вот вам кабинет. Дверь плохо закрывается — села. Будете восьмой.

— Поззовите узнату, тозарищ...

— Полещук.

— ...товарищ Полещук, что значит — восьмой?

— То значит, что я уже пережил тут семь таких заведующих.

— Вот оно что. Но хоть я и восьмой, вам придется, видимо, мне первому написать объяснительную записку о причине опоздания на работу. И сегодня же мне ее подать.

— Пожалуйста, — вытихая на свой стол подожмите портфеля, ответил Полещук. — Могу хоть сейчас объяснить: никто раньше десяти все равно сюда не заходит.

— Напишите объяснительную, я подумаю, что делать.

Настало, очевидно, время рассказать, что это было за учреждение — Посредрабис.

В дореволюционные времена — да и в первые годы после революции — актеры России дважды в год съезжались в Москву на акции «стояния», на «бержики», куда являлись и антрепренеры. Там заключались контракты на сезон.

За исключением крупных, известных артистов с обеспеченным положением, вся остальная актерская братия состояла из людей, не имеющих ни постоянного пристанища, ни постоянной службы.

Их часто обманывали каким-нибудь жуликоватый, а то и действительно «прогоревший» антрепренер, который вдруг посреди сезона исчезал, прихватив кассу и не расплатившись с труппой.

И вот Советское государство взялось за трудоустройство актеров. Для этой цели были созданы в Москве и других городах Посредрабисы — посреднические бюро по найму работников искусств.

На учете Посредрабис состояли актеры драматические, оперные, опереточные, камерные певцы, куплетисты, фокусники, иллюзионисты, эстрадные певицы, артисты цирка, киноактеры и технический персонал: администрации, контролеры, билетеры, рабочие сцены и так далее.

Посредрабис вели (бездежную, правда) борьбу с бесчисленными жуками, которые устраивали «левые» концерты, эксплуатируя и обжигая актеров.

Справка Посредрабиса до некоторой степени сдвигалась, что ее предъявитель — трудящийся элемент.

Поэтому те, кому нужна была такая спраздка, стремились стать на учет Посредрабиса, и в учреждение на Ланжероновской улице постоянно проникали разного рода люди, не имеющие ровно никакого отношения к искусству.

Время от времени здесь проводилась переквалификация, нечто вроде чистки: каждый состоящий на учете артист обязан был на сцене театра, перед лицом авторитетной комиссии спеть, станцевать, пропеллировать или показать свой номер.

Переквалификации вызывали неимоверные волнения, иной раз благодаря им удавалось избавиться от некоторого количества проституток, жуликов, «бывших» и сутенеров, проникших на учет.

Tоварищ Сажин занял положенное ему место в кабинете за стеклянной перегородкой.

Подойдя к жесткому креслу, стоящему за письменным столом, он тщательно протер бумажкой сиденье, затем протер стол, выбросил бумажку в корзинку и только после этого сел.

Такую процедуру Андриан Григорьевич проделы-

вал всегда и постоянно. Чем это было — презрительность, испортил свои галифе и порядочно понюханный френч? А может быть, просто глупая привычка педанта... Он никогда, даже в сложной фронтовой обстановке, не пил воду, не помыл или хотя бы не прополоскал кружку. Сняв вечером сапоги, он их чистил и устанавливал ровно — один к одному, как если бы они стояли в строю.

Итак, товарищ Сажин уселся в кабинете и начал знакомиться с делами подведомственного ему Посредрабиса.

Полещук лениво, но добросовестно объяснял ему что к чему, показывал картотеки и списки, формы и бланки, но начиная с десяти часов их занятия начали прерывать телефонные звонки.

А еще через некое оное время стало вообще невозможно ничем заниматься, ибо не только помешание Посредрабиса, но и тротуар и мостовую перед ним заполняла густая масса людей, у каждого из которых было какое-нибудь дело к заведующему.

Сажин вмиг нажимал кнопку звонка, вызывая Полещука.

Секретарь отрывался от работы, от составления какой-нибудь неотложной ведомости и шел в стеклянный кабинет выручать шефа, который не знал людей и плавал в их проблемах.

Жара в помещении стояла невыносимая, сочетавшая июльского солнца, безжалостно шарившего в окна, испарения сотов тен, сбившихся тут, удививший запах духов из «Лоригана». Коты до дешевого цветочного одеколона, дым лапирис, сигар и трубок — все вместе было невыносимо.

Сажин казалось, что он вот-вот хлопнется в обморок.

К его столу вперемежку с нормальными, вежливыми посетителями подходили какие-то крикливые, чего-то требующие люди.

Затем, растягивая всех, ворвалось нечто невообразимое — казалось, явилась сама смерть, раскрашенная румянами, белилами и губной помадой.

Одетая в кокетливое кружевное платье, как кисейная барышня давно прошедших времен, вся звенящая поддельными драгоценностями — бесчисленными браслетами, брелоками, ожерельями и серьгами, старуха оперлась о край сажинского стола пальцами, сплошь усыпанными кольцами, и, легко подпрыгнув, уселилась на стол.

Она выхватила из-за корсажа пожелтевший, облезлый струйный веер, распахнула его, и обхаживаясь, вдруг запела гнусавым голосом:

Ах, если я быта бы птичкой,
Летала б с ветви я на ветку...

Сажин замер, откинувшись на спинку кресла, и с ужасом смотрел на нее.

Это было его первым знакомством с полусумасшедшей старухой, бывшей некогда до революции кафешантанной певицей.

Она являлась таким манером почти каждый день и требовала, чтобы ее поставили на учет и включили в программы концертов.

— У меня большой репертуар, — говорила она. — «Выше ножку, дорогая», «Хочеся» — это ведь беспартийные песенки, не против Советской власти...

Полещук, услышав знакомый голос, поспешил в кабинет Сажина и выдворил старую шансонетку за дверь.

Один за другим являлись представители клубов, летних площадок и ресторанов.

Приходили помреки с кинофабрики с заявками на массовки. Приходили актеры с сотнями своих дел.

У Сажина голова шла кругом от этого непрерывного движения.

По каждому поводу ему приходилось вызывать Попечица и вместе с ним принимать решения.

К счастью, наступило наконец время обеденного перерыва, и Сажин, сложив в строевом порядке все, что было на столе — ручку, чернильницу и пресс-папье, — аккуратно приставив на место стул, вышел на улицу, вдохнул свежий воздух.

Оншел по улицам Одессы, нэповской Одессы, где по торцам Дерибасовской не так давно снова вызывающие застучали подковы «лихачей». Ухоженные рыски (и откуда только взялись?) эффективно перебирая сильными ногами, везли лакированные пролетки на бесшумных «дудиках».

В них сидели, развались, упитанные налпманы (откуда только они возникли после гражданской войны, вонючего коммунизма, голода и лихений?).

Нэлманы катали своих крашеных, маскитных женщин, и за пролетками тянулся дымок сигар и одуряющий запах французских духов.

Занятые своими делами, прохожие не обращали внимания на высокого человека в очках, который строго вышагивал в своем старом френче, с обиженными защитного цвета материной военными пуговицами, в диагоналевом командирском галифе и тщательно наниченных сапогах.

Оншел по Екатерининской улице, мимо оживших кафе Робина, Фанкони, где с утра до ночи за столами «делались дела».

Тут можно было купить и продать все: доллары и франки, фунты, пезеты и лиры, сахарин и железо, манифактуру и горчицу и даже вагон ливерной колбасы.

Одни нэповские персонажи были одеты в сохравшиеся люстрировые пиджаки и «штучные» брюки в полоску, на головах у них красовались котелки и канотье; другие, приспособливаясь ко времени, щеголяли в новеньких френчах, кепках и капитанках. А из-под этих капитанок выглядывали физиономии новых буржуев.

Эта публика, правда, только прославлена основную массу прохожих — трудовой люд Одессы, служащих, рабочих. Но свою броскостью, наглым контрастом с очень скромно, если не бедно одетыми людьми они создавали этот нэповский колорит, нэповскую атмосферу города.

На углу Дерибасовской Сажин преградил дорогу, выставив вперед свой ящик, мальчишку — чистильщик обуви.

— Почистим? — выкрикнул он и затараторил скотогворкой: — Чистим-блестим, натираем, блеск ботинкам придаваем...

Щетки забили виртуозную дробь по ящику.

Сажин смотрел на хитролазого, грязного, курчавого мальчишку с глубоким шрамом от уха до подбородка.

Мальчик, перестав стучать, тоже посмотрел на него и вдруг обыкновенным голосом сказал:

— Товарищ командир, давайте задаром почищу... Сажин заморуился.

— Спасибо, брат. Не нужно. И пошел дальше.

Кажется, не было ни одного перекрестка в Одессе, ни одного подъезда гостиницы или учреждения, где не расположились бы мальчишки-чистильщики, выбивающие щетками барабанную дробь.

Мальчишки-априкосники, торгующие поштучно папиросами, мальчишки — продавцы ирисок и маковников... Все это великолепие воинства, в котором смеялись дети бедняков, подрабатывавшие на жизнь,

и беспризорные дети, сироты, оставленные войнами, все это подчинялось том «принципиальным» беспризорникам, что жили «вольной» жизнью, отрицали труд, банду и милицию, пытавшуюся их устроить в детские колонии.

Сажин поглядывал на мальчишку и думал о том, как бесконечно трудно будет ликвидировать это страшное наследие войны.

Маленькая закусочная, куда Сажин вошел, была полна посетителей.

В углу нашлось свободное место.

Сажин осмотрел сиденье стула, затем протор его принесенной тряпкой.

Этой же тряпкой протер часть столика перед собой, затем аккуратно сложил и спрятал тряпку в карман.

Соседи по столу — три здоровенных, громоздких грузинка — с удивлением уставились на него.

Толстая, сонная женщина в несвежем фартуке подошла к столику и сказала:

— Ну, что?

— Три стакана чая, — ответил Сажин.

— И все?

— И все.

Женщина покачала плечами и ушла, сказав:

— Царский заказ.

Сажин развернул принесенный с собой небольшой пакетик. Там лежали два бутерброда с брынзой на сером «арнаутском» хлебе.

Официантка принесла чай, поставила перед Сажином три стакана без блюдца и ложечек и сказала:

— Нате вам.

Сажин сразу расплатился и принялся за завтрак.

Грузинки перестали обращать на него внимание иели свои порции горячей свиной колбасы с жареной картошкой, запивая светло-желтым пивом.

К концу обеденного перерыва, минута в минуту, Сажин вошел в Посредрабис.

На этот раз Полещук уже сидел на месте.

Андреан Григорьевич прошел в кабинет, отодвинул стул и, внимательно осмотрев его, сел.

Он достал из нагрудного кармана френч желтый жестяной портсигар, раскрыл. Самодельные папиросы лежали ровными рядами — справа и слева по шесть штук.

Сажин взял одну, размял и закурил, чиркнув зажигалкой, сделанной из винтовочного патрона.

Врачи курение было ему категорически запрещено, и Андреан Григорьевич себя жестко ограничивал. Первую папиросу он разрешал себе только после обеда.

Содержимого портсигара — 12 штук должно было хватить на два дня.

Самодельные папиросы он считал менее вредными, чем фабричные. А главное, дешевле получались.

Покупались гильзы и табак. Пергаментная бумага, вырезанная особым образом, прикреплялась двумя кнопками к столу или к подоконнику. При помощи этой скрученной бумаги и деревянной палочки гильзы заполнялись бурым табаком третьего сорта.

Сажин с наслаждением курил свою самоделку, откинувшись в кресле и вытигнув ноги.

Вошли первые посетители.

Так началась новая жизнь Андреана Григорьевича Сажина — бывшего учителя, бывшего военкома, члена большевистской партии с апреля месяца 1917 года.

Сажин жил холостяком, потом ненадолго женился. Неудачная была женитьба, и хорошо,



что эта история скоро кончилась. Случилось это во время работы Сажкина в наробразе.

Однажды повстречал его бывший комэск, человек отчаянной храбрости, кавалерист, рубака, имеющий много военных заслуг, но еще больше неприятностей за всяческие выходки и в конце концов уволенный из армии. Звали его все Колей в глаза и за глаза, а по-настоящему был он Николаем Николаевичем Бессоновым.

Увидев Сажкина, Коля Бессонов бросился к нему, обнял, расцеловал и, не слушая никаких возражений, потащил за собой в какую-то квартиру, где устраивался великий сабантуй. Через час в квартире стоял густой табачный дым, кто-то бренчал на фортепиано, какие-то штатские личности, изрядно набравшись, пытались петь военные песни.

Коля заставил Сажкина выпить стакан спирта, тот чуть не задохнулся и стал сползать со стула, выпучив глаза и схватившись за горло. Однако дыхание восстановилось, но дальше Сажкин уже не помнил ничего. Проснулся он утром в какой-то проходной комнатенке. Серый рассвет скучно освещал странно зреющие: Сажкин лежал на чьей-то бурке, расстеленной на полу, рядом с ним, положив ему голову на плечо, спала женщина. Ровно никаких воспоминаний не возникло у Сажкина, сколько он ни напрягал память. Как он здесь очутился, что происходило кочкою, кто эта женщина, было ли что-нибудь между ними или она просто мирно спала рядом?.. Ничего, ровно ничего — никаких воспоминаний.

Когда женщина проснулась, оказалась она миловидной Веркой, что жила в одном доме с Сажкиным. Часто видел он ее проходящей по двору и не однажды слышал, как жильцы и дворник честят эту Верку самыми последними словами.

Верка проснулась и встала. Как ни неожидан был Сажкин, но по некоторым деталям ее поведения он понял, что ничего между ними ночью не произошло. Однако положение было щекотливое. Все участники сабантуя разошлись.

На улицу Сажкин вышел вместе с Веркой. Когда они подошли к дому, Верка спросила:
— Может, я к тебе пойду? А то мать опять зарывается...

Так она переселилась к Сажкину. Он уступил ей кровать, спал на тюфячке и вел себя по-дженети-менски. Они прожили две недели — вместе и не вместе. А двор бурлил, каждому надо было высказаться по поводу скандальной ситуации: коммунист Сажкин с такой шалавой схлестнулся. Одна только Веркина мать относилась к этому событию равнодушно: пила вмертвую, и наплевать ей было на все на свете.

Сажкин пренебрегал дворовым общественным мнением, однако именно оно, вернее, протест против него, побудил Сажкина через две недели зарегистрироваться с Веркой. Она была очень покончено навсегда.

Отношения с Сажкиным после этой свадьбы оста-

лись точно такими же: вместе и не вместе. Он ничего не предпринимал, чтобы стать ее мужем фактически, а не только «де-юре». Она же, не обращая никакого внимания на него, закрутила с одним из сажинских сослуживцев по Политехнику, потом с другим, третьим. И была Верка совершенно неудержимой — говорить с ней не имело никакого смысла.

Примой начальник Сажина, старый партнёр, отвел его однажды в сторону и тихо сказал:

— Ты что — дурак, что ли? Кем связался?

Жизнь Сажина стала адом. На работе он боялся встретиться взглядом с кем-нибудь, избегал разговоров с товарищами. В доме он служил мишенью для насмешек дворовых сплетниц.

Все усилия Сажина перевоспитать Верку ровно ни к чему не приводили. Ни приходит ли к чтению, ни просто разговаривать с ней было невозможно. Она ваялась по целям дням в кровати и жрала семечки, заплевывая комнату лузгой. Как ни странно, но не столько все перенесенные из-за нее унижения, не ревность даже, а вот эта луга, что покрызала пол, и одеяло, и ночной столик, и книги и попадала даже в салоги Сажина, — эта чертова луга вызвала у педантично чистоплотного Андреана Григорьевича взрывы протеста.

— Уходите вон! — сказал он. — И чтобы я вас больше никогда не видел!

— И хорошо, — ответила Верка, — остычел ты мне хуже смерти: туда не брось, сюда не сори.

Она совершенно безразлично собрала свои вещички и ретировалась. Сажин два дня мыл пол, выколачивал матрас, белил стены и потолок и успокоился только, когда из комнаты окончательно ушел запах Веркиной дешевой парфюмерии.

С тех пор жил Сажин холостяком. В Одессе ему выдали ордер на небольшую комнатку на Торговой улице.

Был у комнатки даже балкончик, и можно было, сидя на нем, с высоты второго этажа наблюдать за виляющей улицы.

Когда-то комната эта составляла часть квартиры зубного врача. Он и теперь жил в этой же квартире, в оставленных ему двух комнатах, и на жильцов трех других комнат, вселенных по ордерам, смотрел как на варваров-завоевателей, как на своих личных врачей.

Сажин готовил себе пищу в общей кухне на приставе. Хлеб, восьмушку фунта масла и четверть фунта брызны он покупал в лавочке через дорогу. На присузы раз в неделю варил постыной суп. Изредка в кастрюлю попадал и кусок мяса.

В Посредрабисе дело было невпроворот. К повседневным заботам: формированию концертных бригад, трудоустройству технического персонала, организации выступлений и поездок на коллективных началах, на «марках» вместо твердых ставок, к разбору бесконечных трудовых конфликтов — прибавились еще киноэкспедиции.

Две из Ленинграда и московской экспедиции «1905 года» во главе с молодым режиссером Эйзенштейном.

Все экспедиции обращались в Посредрабис за актерами. Однако брали они на съемки не только тех, кто был зарегистрирован как артист, но и би-лтерши, контроллеры, киномехаников — всех, кто подходил по типажу. Даже сам Полещук, подрабатывая, несколько раз снимался в «групповках», которые оплачивались выше массовки. Кому повезет, получал даже маленькую роль — «эпизод», за это платили еще больше. В заработке нуждались все, и премахванные экспедиции очень оживили атмосферу в Посредрабисе.

Но дела, связанные с кино, доставляли Посредрабису и много неприятностей. Помрежи Одесской кинофабрики и приезжие московские кинематографисты требовали, чтобы Посредрабис давал им широкий выбор «натуриков» и, следовательно, брал для этого на учет людей, никакого отношения к искусству не имеющих, просто ярких, интересных по внешности, по типажным данным.

Это противоречило уставу Посредрабиса, у которого была номенклатура специальностей. Были в этой номенклатуре и киноартисты, но как можно было зачислить в киноартисты какого-нибудь грека-сапожника только потому, что у него был неимоверный нос-баклажан, глаза, как гигантские маслины, и сеть морщин, покрывающая черно-коричневое лицо и шею. Куда зачислиша мрачную портную девку с венчью пьяной рожей? Между тем киноинсайд — хоть убей — требовалась такой грек и именно такая девка. Помрежи в обход закона брали народ прямо с улицы.

Для группы Эйзенштейна людей искал кто-нибудь из его «железной пятерки» — пяти ассистентов. Они игнорировали состоявших на учете Посредрабиса профессиональных артистов. Их интересовал только типак, внешние данные человека. Поэтому они набирали чаще всего не актеров, а билетеров, костюмеров, музыкантов — народ, совсем не искушенный в актерском искусстве.

В то время, снимая немые фильмы, Эйзенштейн исповедовал им самим открытую теорию «беспереходной игры». Это означало практически, что человека снимали только в момент какого-то его состояния, скажем, испуга, ужаса, любопытства, гнева. Привести типак, натурическую в нужное для данной сцены, точней, для данного «куска», состояние было несложно. А вот прорешать сцену, сыграть ее такой человек, конечно, не смог бы. Он способен был только выполнить однозначное задание режиссера. Эйзенштейн же из таких кусков, из отдельных кадров монтировал целое — сцену, эпизод, всю картину.

Это было абсолютно ново, и никто, в том числе и ближайшие сотрудники Эйзенштейна, не мог еще предвидеть результаты его открытия. Ныне результат известен: это были съемки «Броненосца «Потемкина», картины, которая тогда, во время работы, называлась еще «1905 года».

Однажды Сажину позвонили из отделения милиции.

— Тут мы одну вашу задержали... Справка у нее, состоит будто бы у вас на учете, а на самом деле занимается спекуляцией... Нехорошо получается, товарищ Сажин, нетрудовой элемент прикрайзает... Семенчаки, понимаешь, торгует на базаре.

Подняли картотеку. Оказалось, речь идет об одной безработной билетерше, которая действительно состояла на учете Посредрабиса. Вызванная на следующий день к Сажину, она призналась, что действительно торгует семечками. Как иначе проживешь с двумя детьми. Была эта женщина с измученным, некрасивым лицом, с затравленным, недобрым взглядом Сорокина Клавдия, по виду лет сорока пяти, а на самом деле по учетной карточке было ей всего тридцать лет. Видимо, жизнь так приласкала.

Сажин прочитал карточку: на учете она состояла давно, но на работу по специальности, как билетер, направлялась только дважды и то временно — один раз на месяц в летний кинотеатр и другой раз в оперу взамен заболевшей билетерши на восемнадцать дней. Да еще на киносъемки изредка ее брали... и вот два дня назад группа Эйзенштейна, которая что-то снимала на одесской лестнице, тоже ее брали...

Жить на такие заработки было действительно невозможно.

Но празнила...

— ПРИДЯСТЕ вас снять с учета, товарищ Сорокина, — сказал Сажин.

— Как это снять? Какое вы имеете полное право снимать меня?

— На это я право имею, а вот держать на учете торговку права не имею.

— Это я торговка? Совесть есть у тебя? Мне детей кормить надо. Если воровать придется, воровать пойду, не задумаясь. У тебя, небось, своих нету. А если есть, ты на свои тысячи прокормишь...

— Товарищ Сорокина, я на вас не обижусь, но оставлять на учете не могу. Понимаете, не могу.

Он сделал отметку красным карандашом на ее карточке: «Снять с учета» — и отложил карточку в сторону.

Клавдия Сорокина, увидев это, подскочила к нему, истерически крича:

— Убийца! У детей кусок хлеба изо рта вырывавшись! Вот, вот они... — Сорокина распахнула дверь и, схватив за руки охваченных там двух десячек, заморышей лет по пяти, втащила их в кабинет. — На, убивай их, подлец! Убивай! Вот, дети, смотрите на своего палача! Плюю я на тебя! Плюю на твою потоганную рожу! Тыфу! Тыфу! Тыфу!..

Она в самом деле плакала ему в лицо, а Сажин продолжал сидеть, не отворачиваясь, не закрываясь.

В кабинет вбежали Поплыкин и посегизлы. Они оттащили женщину, но она продолжала кричать Сажину:

— Чтобы ты сдох в мухах, проклятый, чтобы все твои дети сдохли, чтобы тебя гром разразил, чтобы чумой заразился!..

Наконец женщина вместе с испуганными, плачущими детьми вытишилась из кабинета, но ее крики еще долго доносились из соседнего помещения — из «зала» и потом с улицы.

— **Н**ет, товарищ Сажин, — ответила ответственный работник окружкома партии сидящему перед ним Андриану Григорьевичу, — освободить вас мы не можем. Посредрабис внешне, может быть, выглядит этаким не очень серьезным учреждением — какие-то там не учете иногда совсем неуважаемые лица, но поймите — это огромная масса безработных, на которых могут влиять, пользуясь их недовольством, враждебные элементы. Вы отвечаете за моральное состояние этой массы. Вы опытный полиграфатор, и мне вас учить незачем. Пройдет время — посмотрим. А пока...

Однако на следующий день Сажину предстояло новое испытание. Возвратясь после обеденного перерыва, он застал у себя в кабинете бровского вида девицу в шелковом платье с глубоким вырезом.

— Вы будете товарищ Сажин? — спросила владелица умопомрачительного декольте.

— И буду и есть — буркнул Андриан Григорьевич. — Какой у вас вопрос?

Девица оглянулась и прикрыла дверь.

— У меня деликатное дело, я должна поговорить с вами тет-а-тет.

С этими словами она пододвинулась к Сажину, уперлась в него большими, твердыми грудями и подняла лицо — довольно красивое, надо признать. Сажин вспыхнул и попытался отодвинуться. Но за ним оказался шкаф. Сажин был прижат к шкафу, а груди продолжали прижимать теснить его.

— Я прошу, — шептала яркая девица, — вы должны это для меня сделать...

— Э... э... — бормотал Сажин, покрываясь испариной, — собственно, что вы хотите?..

Вдруг девица прижалась к нему всем телом и, жарко дыша в самое ухо, что-то зашептала. Комната завертелась перед Сажиным. А девица все шептала и шептала, и он, наконец, рассыпал обрывки слов:

— ...Натурачица... позицию художникам... учет... номенклатура... Понимаешь, мне нужно стать на учет... а говорят, нет такой номенклатуры... Ты должен это сделать...

Сажин погиб, и вдруг явилось спасение — раздался резкий телефонный звонок. Натурачица отскочила, и освобожденный Сажин замахал рукой.

— К Полещуку, Полещуку...

Взяв трубку телефона, он опустился в кресло.

— Сажин, ты?.. — сказала трубка, но Андриан Григорьевич не в силах был ответить: комната шла еще кротче, ноги дрожали, дыхание перехватывало.

— Алё! Сажин! Алё!..

Наконец ему удалось произнести:

— Слушаю...

— Здорово, Сажин. Это из горсовета — Толмачев. Есть дело, не заглянешь ко мне?

— Хорошо, сейчас зайду, — слабым голосом ответил Сажин.

— Ты что там — не приболел часом?

— Нет, нет, все в порядке. Сажин иду.

Оншел по улице на все еще дрожавших ногах, бедняга Сажин, никогда в жизни еще не прикоснувшийся к женщине, потрясенный открывшимся ему незадомыслом чувством.

В Посредрабис, наступило некоторое затишье. Кинокомпания разъехались. Дело шло к осени.

Сажин организовал политкружок и вывесил стенгазету, которая бичевала в сатирическом плане участников «левых» концертов. С делами Посредрабиса Андриан Григорьевич освоялся и давно уже решал их сам, не прибегая к советам Полещука.

Однажды в кабинет к Сажину вошел могучий грузчик из числа «гипажников», состоявших на учете. Поблажаем, начальник.

Комната наполнилась запахами смолы, пота и спиртного перегара.

— Что вам угодно? — спросил Сажин.

— Зачем ребенка обижаешь, начальник?

— Присядьте, пожалуйста. Какого ребенка? О чем вы говорите?

Грузчик сбросил пальцами пьяную слезу.

— Странно она у меня. Мать в тифу померла. А я каких отец? Водку хлестать да мешки таскать. Я же рабочий человек с под мешка. Не интеллигент, кажется, какой-нибудь...

Сажин непрерывно сказал:

— Извините, но у меня сейчас мало времени. Я занят. Объясните сразу ваше дело.

Грузчик громко икнул.

— Дело... Девчонка работает по ищуктузу, а ее на учет не ставят. Это как, по-вашему? Справедливо? По человечеству справедливо?

Дело стало понемногу проясняться. Видимо, речь шла о Кларе-натурачке.

— Ваша дочь натурачка, кажется? Она художница позиризует?

— Вот, вот. Платят хорошо, мы не жалуемся. Только ей надо законно, чтобы там милиция или домом...

— К сожалению, это невозможно, — сказал Сажин, — ничем не могу помочь. У нас такой статьи нет — натураччицы.

— А ты заведи статью, начальник.
— Не имею права. Понимаете? И, извините, сейчас я занят...

Грузчик налипался злобой. Широкое его лицо темнело и краснело.

— А я говорю: заведешь статью.

— Не болтайте глупостей. И оставьте меня. Я занят.

Сажин заметил, что в щели приоткрывшейся двери появилась обеспокоенная физиономия Полещука.

Грузчик обошел стол и приблизился к Сажину вплотную.

— А я говорю: заведешь. Не то пожалеешь. Крепко пожалеешь.

— Пожалуйста, не угрожайте мне.

— Милицию будешь звать? Да я из тебя баранью котлету сделаю! — И грузчик стал закатывать правый рукав сплеваки.

— Нет, — сказал Сажин, — милицию звать не буду.

Он встал, снял очки, протер стекла, положил очки аккуратно на стол, крикнул:

— Полещук! Откройте двери!

И нанес грузчику два быстрых, коротких удара левой под ложечку, правой под подбородок, и тот вылетел в открытую в этот момент Полещуком дверь.

— Убрать его отсюда к чертовой матери! — сказал Сажин.

Полещук выставил грузчика на улицу и, захлопнув дверь, вдруг, к радости находившихся в зале посетителей, сделал переднее сальто, затем заднее сальто и прошелся по Посредрабису колесом.

Это было так неожиданно, так забавно, так не вязалось с нынешней внешностью запущенного, нестриженого, неуклюжего Полещука, — все прочно забыли о том, что он циркач, что Полещук некогда был Арнольдом Мильтоном.

Ему зааплодировали. Полещук сделал цирковой «комплимент» и сказал:

— Вууля!

В начале зимы в занесенную снегом Одессу привезли кинокартину «Броненосец «Потемкин».

Картина потрясла одесситов. «Броненосец» с огромным успехом шел у нас и за границей, но, вероятно, нигде картина не смотрели с таким волнением, как в Одессе.

И то, что действие ее происходило в их городе, и то, что множество живых свидетелей событий сидели в креслах кинотеатров, и то, что в эйзенштейновском фильме жила подлинная атмосфера Одессы... Да, вероятно, нигде на свете нет и таких чувствительных зрителей, как в Одессе. Зрительные запы содрогались от рыданий, когда на экране хоронили Вакулинчука, и в ужасе кричали, когда по одесской лестнице катилась коляска с младенцем и солдаты расстреливали толпу.

В нэповской спокойной Одессе «Броненосец» взорвался, как бомба.

Картина захватила всех поголовно. В залах кинотеатров плакали не только те, кто по социальному своему положению сочувствовал революции — рядом с ними плакали и нэпманы и одесские «люди воздуха», которым, казалось бы, ни до чего и ни до кого нет дела.

Это была самая могучая сила великого искусства, заставила позднее поклониться «броненосцу» весь мир, включая и ярых противников тех идеалов, за которые боролась картина.

Чувства людей уже не зависели от них. Их вел гений.

Но самое величайшее потрясение испытали участники съемок — те самые посредрабисные кадры, что снимались в картине. Они смотрели на экран и узывали и не узнавали себя. Они вдруг стали фактом истории, их лица были лицами героев «Потемкина», героев Одессы 1905 года, героев Революции!..

Это потрясало их...

Все эти безработные маленькие актеры, рабочие сцены, кассиры, билетеры и просто типажники увидели вдруг себя и своих товарищей в каком-то новом, тревожащем, непонятном им измерении. Неужто это они, те самые одесские обыватели, что еще сегодня утром торговались на базаре, ссорились, бескончились о хлебе насыщном, бывали грубы с детьми? Неужто же это они, герои революционных событий, люди на экране, ставшие образами великого народного движения?..

Потрясенные до глубины души, с заплаканными глазами выходили они из кинотеатра и, встречая своего товарища, такого же безработного бедолагу, которого увековечил Эйзенштейн, смотрели на него удивленно-уважительно, смотрели уже не как на давних-давно известного, никем не приемлемого и довольно склончного кассира, а было на значительное существо из другого мира.

Они притихли и наутро следующего дня, встречаясь перед Посредрабисом, совсем по-иному, чем обычно, смотрели друг на друга, иначе здоровались, по-иному разговаривали.

Билетер Бродский перед тем, как войти в Посредрабис, долго стоял перед витриной, рассматривал свое изображение, разглаживая усы, снимая и снова надевая на голову изрядно пожелтевшее канотье. Выражение удивления и самоуважения не сходило с его лица: он больше не был безработным билетером Бродским — витрина отражала персонаж великой трагедии «Броненосца «Потемкин».

Но, пожалуй, больше всего был поражен этим превращением людей Сажин, просидевший в зале два сеанса подряд. Организованный, педантичный, он столкнулся с чем-то, что требовало взлета, иного масштаба мыслей и чувств.

Он видел на экране знакомых, изрядно поднадоевших вечными жалобами и просьбами людей, но то были уже не они. А может быть, именно это их истинное содержание или такими они могли стать, а то, что виделось в жизни, — шелуха, оболочки?..

Вот Клавдия Сорокина в эпизоде расстрела на одесской лестнице. Эта невзрачная женщина стала на экране прекрасной. Откуда явилась такая одухотворенность да и красота, эта таинственная красота?..

Из отдельных статических или почти неподвижных ее кадров, из состояний — вызова, гнева, ужаса, отчаяния, гибели — гений Эйзенштейна создал образ потрясающей силы. Сажин отгонял от себя мутильное воспоминание о своем жестоком поступке, но снова и снова являлась ему эта женщина с двумя маленькими детьми, которых она защищала. И в его сознании эти два образа соединились в один — геройческий облик женщины на белом поплотне экрана.

Сажин ходил в кинотеатр каждый день. Это стало для него необходимостью. И, хотя он знал теперь весь фильм кадр за кадром, каждый раз он смотрел его с таким же волнением, как и весь зрительный зал. Быть может, то, что он знал, какой именно сейчас появится кадр, еще больше накаляло его волнение и ожидание.

«Броненосец «Потемкин» был для Сажина не только великим произведением искусства — он стал

красным флагом, утверждением всего, что было свято для Сажина. Это был символ самой Революции, ворвавшейся в эпопейскую атмосферу города, освещавший дождь, грозу, которую ждала природа.

Хотя коммунист Сажин и понял необходимость нового курса партии, но, приняв, все равно не мог спокойно относиться к внешним проявлениям эпохи, к той муте, что возникла на каждом шагу.

И вдруг — «Броненосцы!..

И всякий раз, смотря картину, Сажин нетерпеливо ждал встречи с той женщиной на лестнице, что была в одно время и героиней, расстrelиваемой на экране царскими солдатами, и Владив Сорокиной, безработной билетерши из Посредабиса.

Однажды, подойдя к Полещуку, он спросил:

— У нас сохраняются карточки снятых с учета?

— Ну, а как иначе! — ответил Полещук. — Вам кто нужен?

— Они у вас в отдельном ящике? Дайте мне весь ящик.

Полещук дал ему фанерный ящичек и с недоумением посмотрел вслед.

Зайдя в кабинет, Сажин прикрыл дверь, поставил перед собой на стол ящик с учетными карточками.

Их оказалось довольно много — по тем или иным причинам снятых с учета безработных. В большинстве это были не прошедшие переквалификацию, некоторое количество просто «нежелательного элемента». Были тут и администрации, которые устраивали «левые» концерты.

Все это лежало в алфавитном порядке. Сажин вынул карточку Сорокиной. По диагонали красным цветом горели слова «Сняты с учета» и его, Сажину, подпись.

Сейчас красная эта резолюция читалась как обвинение, беспощадное обвинение ему, Сажину, в бесчеловечности.

Он прочел всеничтожение, ничего не говорящие о человеке искренние ответы на вопросы.

— Вызовите, пожалуйста, эту Сорокину, — сказал он Полещуку, возвращая ящичек и отдельно карточку Клаудии Сорокиной.

Бывший был послан, но шли дни, а Сорокина не появлялась.

Послали еще один вызов. Не пришла.

Сажин списал с карточки адрес Клавдии Сорокиной и отправился ее разыскивать. Он не пытался объяснить себе, почему так нужно, так неизвестно нужно было ему найти эту женщину. Конечно, он чувствовал себя виноватым и хотел заглянуть вину. Да, это так. Но было еще и нечто иное, чего он сам не понимал, нечто куда более важное, обязательное.

Он чувствовал, что если найдет, если она будет рядом с ним, что-то разрешится, разъяснится для него самого. Теперь не было для Сажина ничего более значительного в жизни, чем отыскать Сорокину и ее девочек.

Пересекаясь с трамваем и все более тревожась, он добрался наконец до окраинной улочки, обозначенной в учетной карте.

Кривые и косые домишко соревновались тут в нищей жизнеспособности.

Сажин указал на старую халупу, стоящую в глубине двора за развалившимся забором.

На стук в дверь никто не ответил, но из глубины двора появился старуха с топором в руке.

— Клаудия! Съехала. Давно съехала.

— Куда? Не знает?

— Нет, милый, того не знаю. Не платила за квартиру — сколько ей ни говорю, а она: тетя Даша да тетя Даша, потерпите, нету, ну, нету денег... Я вину, что нет, терпела, да всячески терпежу ведь конец бывает...

— Она, может быть, тут же в Одессе — перебралась куда-нибудь.

— Нет, милый, нет. Очень ее участковый доинимал... Куда-то она поехала доли искать. Наймусь, говорит, в горничные... А кто ее с двумя добавлениями возьмет... Ты не роди ей приходишися? Тут карточка на стеме осталась... так и висит...

Старуха провела Сажина в пристройку — теплый сараиник с крохотным, в ладонь, оконком. Земляной пол. Топчан. В углу солома, покрытая рядом.

— Здесь жила?

— Здесь, милый, здесь.

На стеме — прикрепленная булавкой цветная рожевостенская открытка: елка, веселые дети вокруг нее, и Дед Мороз с мешком подарков.

— Возьми карточку. Ежели увидишь, отдай. Повериши, я с нее даже за таблетки не взяла. Сонные таблетки я ей у провизории нашей доставала. Девочонкам она их давала и сама примет. Чтобы, значит, спать. Кушать чтобы не хотелось!..

Сажин взял открытку. На обороте не было ничего написано — чистенькая открыточка.

Попрощался. Ушел.

Никогда прежде не снились Сажину сны. Он засыпал сразу, только коснувшись головой подушки. Сразу же и наступала темнота.

А тут начало сниться. Да все одно и то же. Одно и то же. Приходит будто бы к нему та женщина — не Клава Сорокина, а та, с экрана, и вся светится, держит на руках младенца. И просит от чем-то, но слов нет, только шевелит губами и просит.

Хочет Сажин ответить ей, хорошо хочет ответить, но голос пропал, и он не может ничего сказать.

Женщина плачет. Нужно ее утешить, но — мучительное чувство — все так же нет голоса. Даже горло болит от напряжения.

И вот один из таких снов был прерван громким стуком в дверь. Наспех надев очки и завязав тесемки кальсон, Сажин открыл дверь.

Бывший квартирохозяин, а ныне сосед — зубной врач — стоял за дверью.

— Я очень извиняюсь, но вас спрашивает вот этот, не знаю, товарищ или господин...

К Сажину метнулась какая-то фигура, зажала его в железных руках:

— Здорово, Бебель-Гегель!

Так называл его только один человек на свете — Сева Туляков, командир эскадрона, друг Сева. Называл подшучивающа над его границищей с чудачеством слабостью к первоисточникам.

Зашли в комнату, то обнимаясь, то похлопывая друг друга по плечам.

— Вот ты куда спрягалась... — осматривая голые стены, сказал Туляков.

— А ты, вижу, совсем обуркузился...

Сажин разглядывал друга — тот был в хорошем сером костюме, на руке плащ. Новые коричневые ботинки...

— Да, чистый Чемберлен, — смеялся Туляков. — Махнем куда или тут у тебя в берлоге засядем?

Натянув Сажину галифе, салоги, френчи, и пошли они с другом Всееволодом Туляковым в город.

Было в воскресенье. Сажин свободен от своего Посредабиса, а Тулякову только утром явиться по делам.

Начались расспросы да воспоминания.

Всееволод рассказывал о себе. После демобилиза-

ции пошел он по прежней своей специальности — шофером. Попал в большое учреждение, водил легковой автомобиль марки «Австро-Даймлер», возил очень ответственного товарища.

Тут устанавливаются у нас дипломатические отношения с одной буржуазной страной и ответственного, что возил Туляков, назначают туда торгрядом. Он забирает с собой в качестве шоferа — Всеволода. Попав за границу, Туляков пересел на торгрядский «Бенци». Все было бы хорошо, освил Туляков новый город, освил «бенца», но одно обстоятельство не давало жить. Приходилось дежурить у торгрядства, сидя за рулем и ожидая выезда. А тамошние контрики и наши беломигранты идут мимо и бросают в советского шоferа то гнилые помидоры, то сырье яичка... Машина открыта, куда спрятаться... Отвечать нельзя. Наклоняясь, ходил голову спрятать — недостойно как-то. Сидишь, как памятник, а тебе в руки летят всякие пакости... тепет по лицу... Надумал наш торгряд, понимаешь, машину в красный цвет выкрасить, да герб на дверях хотят для пропаганды... Смешно...

Полицейский видит все это — руки за спину и по дальше, куда-нибудь за угол... Месяц такой жизни вынес, выстоял Туляков, а потом пошел к торгряду в кабинет и — на колени. «В жизни», — сказал, — на колени не становился, а теперь стою — довели. Отпустите. Не могу больше... Отпустили. Теперь диктограф. Работа мирина — тот же почтальон. А з поезде едешь — дверь на замок, пистолет с предохранителем. Все-таки человеком себя чувствуешь. Ну, а ты, ты-то как, дружи?..

Они вышли к центру города и невольно остановились у витрины большого ювелирного магазина. Бриллиантовые броши, изумрудные кулонь, жемчужные ожерелья, кольца с огромными драгоценными камнями — все светилось, переливалось в смещении дневного света и электрической подсветки.

— Что ж, — помолчав, сказал Туляков, — все правильно. Пошли.

Однако же на каждом шагу им открывалась то витрина кондитерской с тортом в человеческий рост, то кричащая афиша ночных кабаре с полуоголенной девицей, застывшей в танце.

Они заглянули в казино, где в первом зале действовала рулетка, а во втором шла — по крупной — картежная игра.

Рулетка «пти шво» была устроена в виде бегов — по кругу бежали игрушечные лошадки с номерами на спине, и, если бы не деньги на зеленом сукне стола и не выкрики «Игра сделана, ставок больше нет», все сошло бы за невинную детскую забаву.

Здесь было шумно, накурено, а во втором зале стояла напряженная тишина. Дореволюционный крупье во фраке, с набриолиненным пробором, ловко загребал лопаткой с длинной ручкой ставки проигравших и пододвигал фишку выигравшему.

В этот зал не проникало солнце, свечи в канделябрах освещали бледные лица, дрожащие руки, глаза, прикованные к зеленому столу.

Сажин и Туляков переглянулись и пошли к выходу.

— Да... — только сказал на улице Туляков. Сажин помолчал.

Каждый из них порознь давно уже видел все эти внешние приметы энха. Но теперь, когда они были вдвоем — два бойца Красной Армии, расставшиеся тогда и встретившиеся теперь, — все виделось как бы вновь, будто впервые.

Толстый энхман, проходя, толкнул Тулякова и прошел, даже не заметив этого.

— Ничего, ничего. Все правильно, — пробормотал Туляков и обратился к Сажину:

— Слыши, а не выпить нам? Что-то, кажется мне, обязательно нужно выпить...

Сажин достал из кармана френча деньги и стал пересчитывать.

— Да у меня есть, — сказал Туляков, — не надо. Однако Сажин досчитал и тогда только ответил:

— Пошли.

И они оказались в ресторане. Сели за столик. На эстраде, перекрывая разговоры, смех, стук вилок и ножей, звон бокалов, скрипка и рояль — знаменитый дуэт — играли «Красавицу». Этими музыкантами знал весь город. Они были настоящими художниками, подлинными виртуозами и могли бы сделать блестительную музыкальную карьеру, если бы не ресторан. А в ресторане... Здесь никто не мог так зажечь публику, так взвинтить настроение, как эти артисты.

Сажин знал их по Посредрабису, где они состояли на учете.

Пространство перед эстрадой было заполнено танцующими. Особенно старалась одна толстая энхманша. Вместе с партнером, томным юношей, видимо, состоящим «при ней», эта дама исполняла нечто среднее между модным чарльстоном и грузинским одесским танцем «Семь сорок».

Партиер старательно, но безуспешно приспособливался к движеньям. Энхманша прыгала, сияя и счастливо выкрикивала:

— Ай, хорошо! Ай, хорошо!

— Все правильно, — это сказал Туляков.

Официант подал ему меню.

— Во-первых, графин водки, — сказал Туляков.

— Прикажете малый или большой?

— Большой, обязательно большой.

Сажин обеспокоенно спросил:

— А сколько стоит большой?

— Да брось ты, — махнул рукой Туляков, — в общем, графин и закуски, чего там у вас есть?

— Икорки прикажете зернистой? Семужка есть, ассорти мясное, бальчик имеется...

— Значит, так, — сказал Туляков, — икру зернистую, семгу, бальчик...

Официант быстро записывал в блокнот.

— ...и прочее, — продолжал Туляков, — оставьте на кухне...

Официант с недоумением посмотрел на него.

— ...а нам несите селедки с картошкой. Договорились? Да картошки побольше. И масло.

Официант презрительно зачеркнул первоначальный заказ и исчез.

Сажин развернулся и осмотрел свою салфетку, затем стал тщательно протирать ею фужеры и рюмки.

— Послушай, Сева, — сказал он, — когда я выпил первый раз в жизни, то из-за этого женился. Интересно, что случится теперь, когда я выпью второй раз...

Туляков усмехнулся.

В зале было полно декольтированных дам — бриллианты в ушах, пальцы унизаны дорогими кольцами. На спинки кресел откинуты соболиные пальто — горностаевые боли.

Мужчины рассматривают чужих женщин, а их женщины исподтишка кокетничают с чужими мужчинами.

«Разрешите пригласить вашу даму?»

«Если она не против, пожалуйста».

Столы заставлены коньяками и шампанским в бедрехах со льдом, на посуде «Фраже» горы закусок, горят спирточки под горячими блюдами, носятся по залу лакеи в фраках.

Графин перед друзьями быстро опустел.



Туляков, мрачнея, оглядывал зал и по временам производил свое:

— Все правильно...

— Да, верно, все правильно, — сердито повторял Сажин. Он жестом подозвал официанта и протянул ему графин: — Посторони!

Музыканты лико играли, время от времени выкрикивая — и очень музикально — слова модной шуточной песенки:

Красивыя мол.
Сквозь нам не тая,
Имеет потрясающий успех.
Танцует, как чурбан,
Поет, как барабан.
И все-таки она милее всех...

Официант быстро принес второй графин.

— Давай, Севка, за Советскую власть! — Сажин налил доверху фужер и выпил до дна. Вместо дуэтов он вдруг увидел на эстраде квартет.

Сажин снял на мгновение очки, и мир превратился в вertiaющиеся светильные и темные пятна. Закружилась голова. Он снова надел очки, и пятна стали неповсюдными рожками и раскормленными телами.

Казалось, клавиши рояля вот-вот разлетятся, брызнут во все стороны под ударами пианиста.

...Моя красавица
Всем очень нравится.
Походящей нежною,
Как у слона...

Сажин вдруг встал, пошатнулся и, одернув френч, твердым шагом направился к эстраде.

— Ты куда? — испуганно крикнул Туляков, но Сажин продолжал идти между столиками — высокий, странный человек в очках. Туляков пошел было за ним, намереваясь удержать.

Но Сажин поднялся по ступенькам и поднял руку. Музыканты растерялись, нестройно смолкли.

Публика в зале, перестав жевать, с недоумением уставилась на странного человека во френче и галстуке, вдруг оказавшегося на эстраде. Постояв немного и дождавшись тишины в зале, Сажин вдруг запел во весь голос, дирижируя себе рукой:

Мы — красивые кавалеристы, и про нас
Вылинники речисты ведут рассказы...

Зал замер. Произошло нечто невероятное, неслыханное, скандальное...

На эстраду, минуя ступеньки, одним махом вскочил Туляков, встал рядом с Сажиным, и они, обнявшись, стали петь вместе:

О том, как в ночи ясные.
О том, как в дни ненастные
Мы гордо, мы смело в бой идем.

Странный человек во френче, обнимая одной рукой друга, второй размахивал, дирижируя, и пел.

Музыканты — скрипач и пианист — подхватили, медленно, и теперь буденновская кавалерийская уверенно понеслась над притихшим залом ресторана.

Вдруг какой-то низенький, кривоногий официант поставил на пол, прямо посреди прохода, блюдо, которое нес, вскочил на эстраду и, став по другой сторону, рядом с Сажиным, тоже запел:

Веди ж! Буденновый, нас смелее в бой!
Пусть гром гремит.
Пускай пожар кругом.
Мы — беззапятные герон все...

Сажин и его обнял.

Выбежал откуда-то метрдотель, бросился к эстраде.

— Господа, товарищи... прошу прекратить... Но на него не обратили внимания ни поющие, ни музыканты.

Песни долетели. Сажин, Туляков и официант спустились в зал.

Взвешенный метр набросился на официанта:

— Как вы смели! Я вас завтра же уволю!

Но маленький официант только рассмеялся.

— Я сам сейчас уйду.

— Позвольте, Лапиков, вы же обслуживаете шесть столиков...

Официант сунул ему в руку салфетку.

— Сам обслуживай. Меня нет дома.

И, прихватив по пути бутылку водки со стола, донес грузей.

Вдруг они вышли на пустынnyй Чульвар, хлебнули по очереди из бутылки и пошли дальше — странная тройка: один во френче, другой во фраке, третий в сером пиджаком костюме.

Никто пути пройденного
У нас не отберет...
Мы конница Буденного
Дивизия вперед...

Но удача Ришелевской эту конницу остановила: милиционер и без особых объяснений препроводил в отделение.

Утром Сажин измятом френче вошел в свой кабинет и, впервые не проторев склады, плюхнулся в кресло. «Свое, конечно, получу...» — думал он, — скорей всего строгача... А может быть, и выставят отсюда к чertу...»

— В общем, все правильно... — сказал Сажин вслух. Начался обычный рабочий день. Посреди рабиса. Приходили и уходили посетители.

Выйдя в зал Полещику, Сажин заметил среди актеров вчерашних музыкантов.

— Здравствуйте, Андриан Григорьевич, — сказал с уважением пианист, когда Сажин проходил мимо.

Судя по лицам окружающих, они никому из «предрабисников» ничего не рассказали о ночных происшествиях.

«Конспираторы...» — усмехнувшись подумал Сажин.

Прошел месяц. То, что случилось в ресторане, и ночь, проведенная в отделении милиции, каким-то образом прошли для Сажина без всяких последствий.

Пришло письмо от Тулякова. Он сдержано слово, данное другу, и добился у своего начальства согласия на перевод Сажина в свое ведомство.

«К сожалению, — писал он дальше, — тут как раз пришла директива о сокращении штатов, так что об оформлении нового человека нет и речи. Как ни жаль, а получается, оставаться тебе со своими артистами. Что делать, брат, что делать...»

Сунув письмо в карман своего старого френча, отправился Сажин к девяти ноль-ноль на службу.

...Старший батальонный комиссар Сажин Андриан Григорьевич погиб в бою под Одессой 21 сентября 1941 года восточнее Тилигульского лимана и похоронен в братской могиле.

Виталий Керотич



Перевод
С. УГАРНИКОГО
Е. ХРАМОВ

Читая Ленина

«...требую еще раз, чтобы был создан такой порядок, при котором *идущие ко мне, хотя бы без всяких пропусков, имели возможность, будь малейшей задержки, созвониться...* с моим секретариатом...

В. И. ЛЕНИН. Том 54, стр. 36.

А когда часовые задремлют,
принавшись щекой к прикладу,
и коридорами белыми
бродит гулкая ночь,
пропахши огнем и дымом,
приходит к Вам посетитель
с кровавым бинтом на белом
обескровленном лбу.
Пройдя через все приемные,
он открывает двери,
садится,
тяжелые руки
он на колени кладет.
И долго он Вам рассказывает
о том, как сражались хлопцы,
о том, как падали хлопцы,
землю руками обняв.
Вы слышите человека,
последним желанием которого
было —

увидеть Вас.

Бессмертие Вашем мысли
стало его бессмертьем.
И Вы, волнуясь, слышаеете
спокойный рассказ бойца.
В жилы нового века
так много влился крови —
перед глазами Вашими
сквозь гул кровавых дождей
лицо Александра Ульянова,
матери Вашей слезы...
Сколько очей погаснет,
пока рассеется ночь!
На скатерти —
крошки хлеба:
ходок приходил с Поволжья.
На скатерти —
 капли крови:
был с Украиной боец.
Они проходили охрану,

Они говорили просто:
«Нам надо увидеть Ленина».
И пропускали их.
Всех Вам принять нужно,
Всех Вам понять нужно.
Да не остановится сердце,
Вместившее целый свет!
...И когда Вы отсюда уйдете,
не выключайте света,
после себя оставьте
навеки включенным свет.
Оставьте зажженную лампу
для тех, кто войдет в эти двери,
для тех, кто сюда приходит
вот уже столько лет.
Им тоже взглянуть придется
в глаза всех визитеров,
прошедших через охрану,
пришедших из пекла борьбы.
Пора отдохнуть немного.
Идите...

Но эта пуля
живет как напоминание
о том, что не кончен бой.
И разве заснуть Вы можете,
когда в тиши коридорной
снова шаги раздаются
тех, кому нужны Вы!
Вы из-за стола встаете
и, протянувши руку,
идете навстречу пришедшему
и несете на встречу им
биенье жаркого сердца,
стали непреклонной воли,
да боль от пули, которой
ранили Вас в бую.

Алексей Дальянов



Лучшее, что было, сберегу.
Доброе, разумное прославлю.
Сердце разорвется на бегу —
Стук последний Родине оставил.
Мне б еще десяток лет прожить,
Все ее увидеть достиженья
И на бывшие поля сраженья
Камень изумрудный положить.

Вспомнить тех, кто пал в последний миг,
Кто до наших светлых дней не дожил —
Юношь на тридцать лет моложе
Нас с тобой, живых еще, живых.



Мы едем шагом. Свет луны
Струится между минными полями.
Я мог бы здесь лежать, но нет моей вины,
Что я седе, а не в холодной яме.
Из страшных мест уносят кони нас,
Все помнивших любовь и человечность.
И кажется, на землю в первый раз
Глазами звезд с улыбкой смотрят
вечность.

Пять дней тому назад закончилась война.
Пять дней в груди ни хрипа и ни стона.
Мы едем шагом. Желтая луна
Качается, что колокол без звона.

Борис Дубровин



Прижались все ко дну траншей,
Когда ракета взмыла ядруг,
Но, точно выхваченный юю,
Поднялся первым политрук.

Казалось, век мгновенью длиться,
Когда поднялся юю, сутул.
Когда кубарь в его петлице
Ракетной искрою блеснул.

До пояса врагам открыты
У содрогавшейся реки,
Был политрук подобен крику,
С которым кинулся в штыки.

Вобрав песок и шорох лодки,
И трассы хлесткой струи,
И скрип сапог, и лязг коротких
И стон поверженных в бою...

Волною медленной зализан
Траншейный юрам наискосок...
Лиши память — стреляя гильза
По шляпку втоптана в песок.



Старшина прокричал мне, стреляя:
«Не туда! С упреждением бей!»
А в глазах моих дымка седая
Осыдала, как в недрах траншей.

Под фугаской у сбитых пантов,
Слишь бомб нарастающийвой,
Вместе вздрогивал я с потрясенной,
Исковерканной взрывом землей.

И постиг я в бою на рассвете
Там, над Вислой, у мелких траншей:
Ожидание страха и смерти —
Даже смерти и страха страшней.

Баллада о красных ягодах

Земляника в земле, в землянике.
Поющий июль.
Поляна в золе, а в зените
Небесный патруль.

И вдруг головешкой горящей
Склознул «истребок»,
Блеснул парашют и, сквозь чащу
Промчавшись, прилег.

У стога, в кустах невысоких,
Крапива растет.
В расстегнутом комбинезоне
Недвижим пилот.

И крови дорожка густая,
Как нитка, плотна,
К углу подбородка стекает
От краешка рта.

Пилота тяжелого тащим
Уже не в санбат,
И капли кровинок горящих
Вдоль ягод горят.

На нижние нары в землянке
Пилота кладем.
Смоляют штабные морзянки,
Хлопочем с бинтом.

Но веки навеки разжаты,
Недвижны глаза,
И летник сквозь бревен накаты
Глядит в небеса.

Как будто бы в схватке прошедшей
Он смерти не ждет
И остервенело гашетку
По-прежнему жмет.

В землянке мы стиснуты болью,
А он — в небесах.
Тень «фонкера» с плоской консолью
Зависла в глазах...

Связики к морзянкам принкли,
Но сам я притих:
Кровавый накрап землянки
На нарах моих.

Николай ЛЕОНОВ



ЯВКА С ПОВИННОЙ

ПОВЕСТЬ

Глава шестая

На следующий день, в понедельник, около девяти утра, Лева расхаживал перед кабинетом Турилина. Корridor был пуст. Понедельник — день тяжелый, в уголовном разыске это не шутка, а печальный факт. Утренняя сводка происшествий за субботу и воскресенье, которую зачитывает дежурный в девять сорок пять, несколько подрывает у сотрудников отдела веру в доброту и высокое предназначение человека.

Ежедневно, в девять сорок, все собираются в кабинете у Турилина. Три-четыре минуты выясняют, кто отсутствует: одни ведут срочные допросы, кто-то на месте происшествия. Затем Турилин, как полководец, оглядывает оставшихся в строю и, повернувшись к дежурившему ночью, говорит: «Трощу вас». Дежурный встает и медленно, монотонно, словно читает псалтырь, сообщает о зарегистрированных за сутки преступлениях. Если дело по своему характеру и общественной опасности заслуживает внимания управления, Турилин смотрит на сотрудника, которому предстоит им заниматься, тот отвечает кивком, мол, понял; сводка читается дальше.

В понедельник в сводке записаны преступления двух дней. Люди не работали.

Лева явился сегодня на работу около восьми, написал обширную справку, где подробно изложил свое соображение по делу. Сейчас он ждал начальника, который обычно принимал сотрудников сразу, сегодня же маниновал Леву в коридоре уже около часа.

Константин Константинович прочитал справку, теперь сидел за столом и, отвечая на телефонные звонки, давал указания, выслушивал доклады, размышилял, что же ему делать с инспектором Гуровым.

В целом работа Гурова полковнику нравилась. Полученная информация обработана профессионально, рассуждения логически связанны, интересны, хотя в отношении «роверочного» телефонного звонка многовато, к примеру, фантазерства... Турилин прочитал справку до эпизода с наездницей Григорьевой.

Поведение Гурова с Григорьевой перечеркивало все его достижения. Его поступок мог очень усложнить расследование, поиски доказательств. Однако это беда поправимая. Розыск убийцы, человека расчетливого, жестокого, требует в первую очередь осторожности. Преступник, безусловно, осведомлен, что за убийство из корыстных побуждений с заранее обдуманным намерением может получить высшую меру наказания. Защищая собственную жизнь, когда теряется уже нечего, он убьет но моргнуту глазом.

Существует много профессий, где риск необходим. Люди этих профессий обязаны неукоснительно соблюдать правила безопасности. Минер не ударят кулаком по неизвестному предмету, чтобы проверить, мина ли это. Хирург не тыкнет скальпелем, в поисках аппендикса. Электрик не хватается за обнаженные провода, пробуя силу тока.

Гуров допустил серьезнейшую ошибку. Турилин не знал, как поступить, и злился. Отстранить от ведения дела? Тогда мальчишка потеряет веру в себя, всю жизнь останется исполнителем. Пропесочить и оставить? Предположим, он извлек урок, понял свою ошибку; подобный, откровенный доклад в общем-то свидетельствует об этом. Григорьева, конечно, не убивала, убийца, безусловно, мужчина. Есть преступления мужские и женские. Порой их можно спутать, чаще — нельзя. Логинова убийца мужчина. Турилин не сомневался. Однако Григорьева могла быть невольной пособницей. Она, не подозревая, что разговаривает с убийцей, расскажет о Леве Гурове, сумасшедшем «писателе». Убийца покажет: на него «выходят». Из мести, позорства, мании величия: плевать я хотел на весь уголовный розыск, — где-нибудь за той же конюшней он проглотит Леву голову и, обрывая ведущую к нему нить, зарежет Григорьева.

От этих мыслей Турилин отвлекла секретарша генерала, сообщив по селектору, что Константина Константиновича просят срочно к начальству.

Турилин обрадовался: решение можно отложить. Лева подскочил к полковнику, как только тот открыл дверь.

— Разговор наш, коллега, отложим на завтра, — сказал Турилин Гурову. — Поезжайте в прокуратуру, дождите все следователю. На подподром я вам запрещаю пока появляться. — Он щелкнул приемную генерала, ссылаясь на спину невнятное бормотание подчиненного, повернулся и добавил: — Только вы уж, коллега, пожалуйста, как-то обойдите молчанием полученную оплукуху. Разрешаю сорвать, скажете: оттолкнула и убежала. Ваше ползание по навозу не делает чести ни отделу, ни мне, его руководителю.

Лева выскочил в коридор, добрел до кабинета, плюхнулся в кресло. Главное, от дела не отстранили, осталось поправимо. Он положил карман второй эмпилляр справки. Что еще? Вспомнил вчерашний вечер, о нем он не сообщил Турилину. Лева ничего не скрывал, он несколько раз пытался изложить все события на бумаге, получался рассказ, задвое эссе, никак не деловая справка. Однако...

Вчера Лева ушел из конюшни и вернулся на подподром. В ложе ничего не изменилось. Это для Гурова прошла чуть ли не вечность, а здесь лишь два зеяда. Аня насмешливо заметила, что из-за денег мужчина так нервничал не пристал. Наташа, томно улыбнувшись, сказала: «Ничего, Анка, он привыкнет, скоро станет пай-мальчиком». Сан Саныч кинул на табло и спросил:

— Вам нравится?

Только теперь Лева вспомнил о лежавших в кармане билетах. На табло горели цифры: три и пять, чуть дальше — две тридцать четыре.

— Сколько же я выиграл? — растерянно спросил Лева.

— Четыреста шестьдесят восемь, — ответил Сан Саныч.

— Потрясающие, почти пятьсот рублей. А мне тут винтили, — Лева указал на зрителей, — Гурунот не имеет шансов, придет Титан либо Гвоздица.

— Педагоги! — Сан Саныч усмехнулся. — По стопам на бегах провели. Аnekdot. Ну, не будь на свете дураков, умных бы жилось сквернико.

— Как же вы угадали? Секрет?

— Логика и психология, — Сан Саныч развернулся перед Левой программу. — Здесь написано, что едут мастера. По радио же объявляли изменения. На Тиане вместо мастера-наездника Харкина едет наезд-

ник второй категории Кузькин, а на Гуруноте едет не Нина Григорьева, а Петр Темин, — Сан Саныч говорил тихо, проникновенно, в то же время казалось, он говорит не для профана Левы, а с трибуны появляется многочисленную квалифицированную аудиторию. — Титан — жеребец в компании сильнейший. Теоретически. Практически живой рысак с четырьмя ногами может разладиться, перетренироваться. Харкин, как мне известно, человек паршивый и лошадь, которая должна выиграть, помощнику ни отдаст. Раз Харкин не едет, значит, шансы Титана невелики. Григорьева? Гурунот впервые участвует по четвертой группе, должен ехать мастер. Нина сажает в кашалку помощника. Она знает, что Титан разладился — он и встал на третью четверти, — а Тимофеевича на Гвоздику можно взять ездой. Темину давно пора получить первую категорию. Нина отдает ему Гурунота. Пусть молодым дэрзает.

— Все просто, — Лева потер распухшую щеку.

— Очень, — согласился Сан Саныч. Глаза же его смотрели насмешливо. — По законам ипподрома — с вас причитается, дорогой новичок.

Лева засуетился, предложил пойти в ресторан. Сан Саныч брезгливо поморщился.

— Ната, ты приглашаешь нас в гости. Отметим успехи Гурунота, Григорьевой, пачана Темина и связанные с ними нашу скромную удачу.

— Рада, только у меня нет даже хлеба, — ответила Наташа.

Решим все купить по дороге, они вышли с ипподрома. Лева получил выигрыш, вместе с машинами у него теперь было больше пятисот рублей, и он чувствовал себя как-то непривычно. Страница не думать о завтрашнем дне, полковнике Турилине, Лева с радостью учелся за возможность заиться, принять приглашение «выпить по чашечке кофе и послушать приятную музыку». Впрочем, никто не приглашал. Сан Саныч ни о чем не спрашивал окружающих, не предлагал, не советовался, он сообщал им, где и как они проведут время. У него была «Волга», старая модель, но в хорошем состоянии. Проехав несколько улиц, он остановил машину и сказал:

— Командуйте, Лева.

Лева понял: его отправляют за спиртным и закуской. Он взял сидевшую рядом с ним Аию за руку и шепнул:

— Спасайтесь, я абсолютный профан, — и очень предусмотрительно сделал, так как Сан Саныч остановил машину не у гастронома, а около шикарного ресторана.

Лева знал: на людей, к которым ты обращаешься с просьбами, лучше всего действует правда. Особенно, если она просите слегка приникает и делает чуть смешным. По дороге в зеркальный вестибюль Лева быстро выложил девушке свою правду: он никогда не входил в этот ресторан, не имеет понятия, как здесь следят за разговорами. Аня назвала его прелестью, взяла уверенно под руку, провела через весь зал, усадила за свободный столик, который явно никем не обслуживался. Затем она взяла у него десять рублей и подозвала официанта. Он начал что-то объяснять, жестикулировать, Аня попожила ему в нагрудный карман десятку, и официант затих. Лева перестал удивляться, со скучающим видом осматривал зал, девушка же разделялась с официантом, как опытный следователь с воришкой, задержанным с поличным.

— Икра есть? Десять порций. Рыба? Я не про селедку спрашиваю, оставьте кету шеф-повару. Де-

сять порций. Коньяк — две бутылки, шампанского две бутылки. Шашлыки восемь...

Официант стоял, вперив глаза в потолок.

— Пять минут, — заключила девушка.

— Шашлыки жарить надо, — безнадежно сказал официант.

— Чужие принесешь, готовые, — Анна указала на соседний стол. — По мордам видно, шашлыки ждут.

— Они чисты...

— Час или два, какая разница? — перебила Анна официанта.

Пытаясь сохранить видимость достоинства, официант отошел к соседнему столу, до Лэзы донеслися обрывки разговора, официант объяснял, что шашлыки оказались на радости скверными, подавать стыдно, сейчас приготовят новые.

Лэва уже изучил зал, пересчитывал столики, занялся люстрой. Он чувствовал, дезушка смотрит на него, ему же смотреть ей в глаза очень не хотелось.

— Сколько вам лет, Левушка? — спросила Анна и, не дождаясь ответа, продолжала: — Двадцать пять, двадцать семь. Как же вам удалось сохранить невинность?

Злить Лэву на столе, в отделе это знали, знали и некоторые из его бывших клиентов.

— Хамства не люблю, — медленно сказал он, представив, что сидит не здесь, а в своем кабинете. Там ему удавалось осаживать дэвиц и покрепче, си умел смотреть им в глаза. Ему стало спокойнее, он даже улыбнулся, взглянув на Аню.

— Ого! — лишь вздохнула она.

— Не надо... — Лэва продолжал улыбаться. Людей унижать некорректно... Он встал навстречу подбежавшему официанту, принял от него огромный пакет, расплатился и, не сбираясь, пошел к дверям.

Аня секунду помедлила, затем бросилась догонять Лэву. К машине они подошли вместе.

Наташа жила в однокомнатной квартире. Лэва ужаснулся царившему беспорядку. Хозяйка ленившимися движениями переложила несколько вещей. Неубранная двуспальная тахта, разбросанные везде предметы женской одежды, пепельницы, полные окурков. Лэва выбрал кресло, на котором не валились ни лифчики, ни трусики, осторожно сел, взял с кровати книжку с глянцевитой обложкой. Кукольная блондинка томно закатывала глаза и обнажала грудь, изображала, что существа с когтями и клювом, склонившееся над ней, вот-вот задушит ее. Картинок больше Лэва не нашел, а английского не знал; книжку пришлось отложить.

Наташа исчезла: судя по дочесизшему шуму воды, находилась в ванной. Сан Саныч с Аней, пересыпавшись шутками, ловко накрывали стол. Ходили по квартире они уверенно, знали, какой ящик серванта открыть, где что взять. Аня почти не смотрела на Лэву, казалась или пыталась казаться смущенной.

Сан Саныч выглядел в домашней обстановке значительно моложе и проще, чем в ложе подицома. Исподу монументальность, солидная, так ленивяя медлительность. Он двигался быстро и легко, порой с мальчишеской порывистостью, явно хотел выглядеть ловким. Волосы носили длинные, но не битловские и красиво выющиеся, одет был хорошо, но не броско. Лэва пытался отгадать, чем он занимается в свободное от бегом времени, бесцеремонно, в упор разглядывая его, понял, почему он, сидя, выглядит старше. Вблизи можно разглядеть в шапельке седину, глаза

ное же — глаза, серьезные, глядящие чуть устало и насмешливо.

Вернулась из ванной Наташа, опустилась на стул, сбросив тапочки, поджала босые ноги. Лэва наконец понял, что все свои медленные, ленивые движения, позы и театральные повороты она скопировала с Сан Саныча. Таким он был в ложе подицома. Только у него, как выражаются книжники, что-то пропустил второй план, он действительно о чем-то напряженно думал, от этого у него не хватало энергии на движения. Наташа же казалась позеркой, плохой актрисой.

Точно угадав мысли Лэвы, Сан Саныч сказал:

— Настасья Филипповна из местных.

Лева согласно кивнул, Аня нерешительно хихикнула, Наташа, явно не знает Достоевского, томно зевнула и сказала:

— Мальчики, хочу шампанского.

— Как прикажете? — Сан Саныч заскочил, начал суетливо отрывать бутылку.

— Служить всегда рады-с, — поддержал его игру Лэва, тоже вскочил и занялся приготовлением бутербродов. — Иорка свежая, не сомневайтесь, сегодня от Елисеева.

— Семужка нэнжайшая, так и тает, — засвирепел Сан Саныч, по спасительному рецепту.

Выпив шампанского и развеселившись, Аня перестала изображать смущение, Наташа начала нормально двигаться и говорить. Включили музыку. Лэва любил и умел танцевать. Девушки приглашали его по очереди, посыпаясь над Сан Санычем, который танцевал скверно.

Около двенадцати Лэва собрался уходить. Аня подхватила свою сумку и тоже направилась к двери. Сан Саныч заявил, что, выпив, машину не водит, и остался в квартире. Не спросил разрешения, просто сказал:

— Ната, организуй раскладушку, я станусь.

Какое дело инспектору Гурову до их отношений? Почему, кто и где остается спать?

Лева отвез Аню домой на такси. Она жила в стальных перегородках, в трехэтажном неказистом доме. В машине они целовались.

Позже оншел домой пешком и думал, вспоминая, и чем дальше, тем больше накапливалось вопросов. Многое могло показаться, одно из вызвало сомнений: Лева Гуров чем-то заинтересовал Сан Саныча? Экспресс с вечеринкой умело и тонко подстроен. Почему? Лева выиграл по подсказке, выигравший угощает. Естественно. Но когда Лэва попытался изложить свои соображения на бумаге, получилась ерунда полная.

Предупрежденный звонком, следователь прокуратуры ждал Лэву в своем кабинете. На огромном стационарном столе громоздились папки с делами. Следователь, крякнув, поднялся из кресла, протянул Лэве руку. Как и в прошлый раз, Лэзини пальцы потонули в широкой, мягкой ладони. Следователю было около шестидесяти, очень крупный, полных мужчина. В кабинете все былое — стол, кресло, на сейф, а необъятный железный шкаф, даже папки на столе неправдоподобно пухлые. Следователь прошелся, разминяя затекшие ноги, отдувался, сопел, словно перед приходом Лэвы не писал, а камни ворочал.

— Ну что, господин инспектор? — Он выпил подряд два стакана воды, тут же стал вытирать плащом лицо и шею. Увидев, как Лэва достает свою справ- 33

ку, следователь запротестовал: — Ой, бумаги надоели. Словами, русскими простыми словами, покажулистя. — Лева сел в кресло для посетителей, начал было говорить, хозяин остановил: — Подожди. — Он кръгтел, долго усаживался в кресло, попытался сложить разбросанные по столу папки, потом безнадежно вздохнул: — Ну, давай...

Лева начал резво, следователь его тут же остановил:

— Стой! — Подумав, сказал: — Давай!

Весь доклад Лева своими «стой» или «давай» следователь разбил на логически законченные куски, даже точнее, чем они были разделены абзацами в справке. В интервалах следователь думал, иногда долго...

Когда Лева закончил, следователь ему подмигнул и сказал:

— А чего? Ты ничего... Он с любопытством разглядывал Леву, словно тот сию минуту вошел без стука.

Лева не любил, когда к нему обращались на «ты», но толстенный, утирающий пот следователь Лева нравился, «ты» у него звучал естественно, без упрощения и панибратства, «чего» он выговаривал вкусно, видно, нравилось ему слово. Следователь закончил осмотр Левы, повернулся в кресле, хотел подняться, лишь вздохнул и сказал:

— Шкафчики открыл, пожалуйста, сделай любезность. — Он указал на свой огромный, во всю стену, сейф-шкаф.

Ключи торчали в замке, Лева отодвинул тяжелую дверцу — пахнуло сыростью и лежалой бумагой.

— На нижней полке сверточек в газете, дай-ка его сюда, дружок.

Лева взял лежавший на нижней полке, первовзяянный шлагатом, заклеенный сургучными печатями пакет, положил на письменный стол. Следователь подвинул пакет к себе, накрыл ладонями, хитро улыбнулся.

— Даю одну попытку, отгадывай.

— Пакет принесла Григорьева, — ответил Лева. — Она прятала его в водостоке, перед этим нашла у тела Логинова.

— Ну-у, — протянул следователь, — с тобой неинтересно, — и быстро спросил: — Что в пакете?

Лева протянул руку, хотел пощупать пакет, следователь не разрешил.

— Ты его уже держал.

«Подкована», — подумал было Лева, но тут же отказался от этой мысли. Пакет тяжелее, главное, больше по объему.

— Ну, ну? — Следователь усмехнулся. — Все ты верно здесь излагал.

— Билеты тотализатора, — как бы шаря в потухах, сказал Лева.

— Верно. Сколько?

— Пятьсот, — рубанул с плеча Лева.

— Чертенок. Пятьсот сорок. — Следователь вновь достал огромный платок, вытер пот и тихо, как бы между прочим, спросил: — Когда Григорьева принесла их?

— Григорьева ждала вас сегодня в девять, у кабинета, — уверенно ответил Лева.

— Шиш! — Лева увидел шиш такого размера, какие и в мультифильмах не показывают. — Вот такто... Следователь говорил уже серьезно, без тени юмора: — Возьми, поработай немножко. — Он протянул Леву бумагу, на которой столбиками были выписаны цифры. — Номера билетов, покупали их разных кассах, но, может, кассиры что-нибудь подскажут. Они же знают завсегдатеев. — Понимаешь, что Лева ждет от него другого разговора, следователь

смилостивился. — Дружок, ты сам здесь очень хорошо, точно, главное, логично доказал: Григорьева и Логинов люди хорошие — от данной печи и плясать следует. Доказал одно, а бросился в обратную сторону. Решил, так не сворачивай, хуже нет метаться. Григорьева принесла мне данные сверточек в четверг. Спрятала она его горячка, думала, обнаружат рядом с мертвым наездником билеты тотализатора, запачкают покойного билетами с ног головы, дело ее любимое измажут, товарищей-наездников, всех. Я вам в пятницу звонил несколько раз, — перешел на «ты» следователь. — Мне сказали, вас не будет. Я и отложил до понедельника.

Лева слушал следователя, не зная, радоваться ему или огорчаться. Нина ни в чем не виновата. Все его выкладки оказались верны, кто-то играл против Гладиатора. От этого непомерно высокая выплата за фаворита. Есть билеты тотализатора, можно побеседовать с кассиром. Смогут они вспомнить, кто делал такие крупные ставки? Судя по списку, ставки делались в двадцати пяти кассах. Этим займутся братья-разбайники, Лева на ипподроме расшифроваться нельзя.

— Молодой человек! — Следователь смотрел на Леву сердито. — Я, кажется, разговариваю с вами.

— Извините, задумался — Лева улыбнулся, он видел: следователь лишь напускает на себя сердитый вид.

— Слушай, ты слушаем не Ивана Гурова сын? — спросил вдруг следователь.

«Началось», — подумал Лева, — хоть фамилию меня. Куда ни придешь, один вопрос — сын или не сын?»

— Нет, — ответил он.

— Врешь. — Следователь вновь хохотнул. — Запамятовал, сейчас вспомнил. Изана я как-то встретил, рассказывал, мол, отприск по сырской части трудится. Да ладно. Не сын ты, личность. Признаю.

Вспомнил что-то смешное, искорки забегали в глазах, следователь хмыкнулся и засопел. Лева приготоился: ясно, сейчас разыгрывать его начнет.

— Да, вспомнил, — сказал следователь. Лева даже приподнялся в кресле. — Что-то ты про зонок в кабинет рассказал? Интересно, интересно, — пытаясь сдержать улыбку, он хрюкнул, получилось ужасно смешно, тогда он расхохотался всовсю. Вобщем, как заметил Лева, старший следователь прокуратуры оказался непозволительно для своего возраста и положения смешлив.

Лева из вежливости тоже улыбнулся, потом, вспомнив известную фразу: ты мне друг, но истина дороже, сказал:

— Простите, однако под всем сказанным могу расписаться.

— Фантазер, фантазер, Оставим это.

— Простите. — Лева начал краснеть. — Это не личное наше дело. Версия, которую я готов отстывать.

— Каким образом? — Чтобы не видеть Левиного румянца и вновь не рассмеяться, следователь начал перекладывать разбросанные на столе дела.

Идея, которую собирался высказать Лева, позялась у него, когда он, ожидая Турилина, расхаживал по коридору управления. Лева методом исключения пришел к выводу, что если он звонившую девушку знает, то это может быть лишь Аня, приятельница Сан Саныча. Почему бы и не прозерпеть? Номер телефона Ани у него есть.

— Вы мне на слово поверите? — спросил Лева. Следователь отвел яростом, означавшим: «Как тебе не стыдно, старик!» — Прекрасно, нужны параллельный телефон и молодая женщина.

— Аппараты параллельные, — следователь указал на два аппарата, один на его столе, второй на тум-



бочке в углу кабинета,— в молодая женщина...— Он взглянул на часы, Лева отметил, что хозяин часто на них поглядывает, Лева понял, что пора закрываться...— Молодая женщина задергивается.— Следователь выбралась из-за стола, обшепал графин с водой, приоткрыл дверь, выглянула в коридор.— Здравствуйте, я вас жду.

— Я слышала голоса, считала, вы заняты.— Лева услышала женский голос и встала.

— Я на работе обычно занят, Нина Петровна. Прощайте, пожалуйста.

Нина была в строгом, темном костюме, в туфлях на высоких каблуках, судя по прическе, только что из парикмахерской. Увидев Леву, Нина глубоко вздохнула, будто собираясь прыгнуть с вышки, затем-то перекинула сумочку в левую руку. За спиной закашляла следователь, и Нина опомнилась.

— Пишете? Доносы пишете!— громко сказала она.— Мерзкий вы человечек!

— Сядьте, Григорьевна,— спокойно сказал следователь, от тонна его голоса даже Лева поежился.

Нина села, демонстративно отвернувшись к стене. Лева продолжал стоять, следователь начал расхаживать по кабинету, ходил и молчал, молчал и ходил. Было совершенно ясно— говорить здесь сейчас имеет право он один. Молчали минуту, две, сначала стало неприятно, затем неловко за хозяином, он явно перегибал. Когда же они помолчали минут пять, в кабинете стало страшно. После такой паузы объявляют о смерти. Нина перестала смотреть в стену и опустила голову, только тогда следователь заговорил:

— В этом кабинете доносов не писали. Когда вас, Нина Петровна, на свете не было, в те времена доносы здесь тоже не писали. Вы меня поняли?

— Простите. Вас я не хотела обидеть,— ответила Нина.

Следователь ходил по кабинету легким, стремительным шагом, человек большой, массивный, уверенный в себе. Леве казалось— пожми сейчас ему следователь руку, и ладонь у него окажется не мягкая, а железная.

— Я вас в прошлый раз пожалел, зря пожалел, оказывается. Вы понимаете, что означают эти билеты тотализатора? Убийца поставил пятьсот сорок рублей против Гладиатора. Он был уверен, что Логинов пойдет на сделку и Гладиатор проиграет. Потеряя деньги, он бросил билеты около трупа наездника. Возможно, на билетах были отпечатки его пальцев. Вы билеты собрали, и все испортили...— Это был блеф, на картонных билетиках могли оказаться сотни отпечатков, и они ничего не доказывали.— Лев Иванович Гуров— советский офицер,— следователь вновь сделал паузу.— Все должны усвоить, что значит— советский офицер. Он один из лучших сотрудников уголовного розыска, ас, можжно сказать.— Лева не знал, куда деваться, сесть, что ли? А то стоит, как памятник себе. Следователь почувствовал его состояние, взял под руку, заставил ходить рядом, не обращая внимания на Нину, своим обычным тоном спросил:— Так что у тебя за идея, дружок? Есть у нас параллельный телефон, есть молодая женщина.

Лева приходил в себя.

— Ты хочешь позовонить своей «незнакомке»? Значит, ты кого-то подозреваешь и имеешь номер телефона. Почему не рассказал раньше? Кто? Как познакомились? Какие основания подозревать? Хорошо, позже расскажешь, не давая Леве вставить ни слова, продолжал говорить следователь, подвел «советского офицера» к креслу, усадил.— Предлог

для звонка? Тема разговора? Но получится ли: вы нас проверяете, мы вас перепроверяем?

— Не получится, я продумал,— ответил Лева. Передышка, предоставленная ему следователем, вернула спокойствие. Лева во всем происходящем увидел даже комическое, когда же хозяин из-за спины Нины ему подмигнул, Лева заулыбался.— Я запишу, чтобы Нине легче говорить.

Лева записывал для Нины текст, следователь ей негромко объяснял:

— Нам нужно послушать один женский голос.— Нина кивнула, следователь хотел разговаривать ее заранее и спросил:— Как здоровье Гладиатора?

— Гриша? Спасибо, здоров.— Нина сразу оживилась.— Он вообще у нас крепыш, не жалеется, веселый, порции свою сегодня хорошо поели. Скоро в Европу едет.

— Вас возьмет?

— Возьмет.— Нина улыбнулась. Когда зашел разговор о лошадях, она преобразилась, от всей ее сдержанности не осталось и следа.

— Пожалуйста.— Лева протянул Нине лист.

Нина читала, морщилась, удивленно спросила:

— Костюм стоит рубль двадцать?

— Нет, но она вас поймет,— ответил Лева.

Вчера он смылся, как Аня говорила Наташа, что оставила продавщице комиссионного магазина свой телефон, хочет купить брючный костюм. На этом Лева и собирается сунуться. Нина перепечатала текст несколько раз, следователь поставил ей телефон на колени и сказал:

— Сядьте свободнее, легче говорить будет.

Нина послушно откинулась на спинку кресла, на-брала номер, Лева, сняв параллельную трубку, вспомнил, как вчера у него появилось ощущение, что голос Ани ему хорошо знаком. Когда они ехали в машине, Лева спросил у девушки номер телефона, она почему-то сказала, что телефона нет. Он запомнил адрес и в справочной узнал, что в доме, где Аня живет, телефон есть в одной квартире. Он решил, что у Ани, а она, видимо, сорвала.

В трубке звучали длинные гудки. Нина вопросительно взглянула на следователя, и в это время резкий женский голос ответил:

— Да. Говорите.

— Позвоните, пожалуйста, Анию,— сказала Нина.

— Я на проводе.

Лева не узнавал ни голоса Ани, ни голоса незнакомки.

— Добрый день,— читала по бумажке Нина.— Я слышала, вы интересуетесь брючным костюмом.

— Да, да. Вы от Ксюши?— Голос подобрел, и Лева узнал Анию.

— Нет, но мне сказали...— сообразила ответить Нина.

— Верно. Не имеет значения.— Аня заговорила веселее.— Что же можете предложить?

— Италия,— ответила Нина,— цвет морской волны, брюки с манжетами, карманы накладные.

— Что вы хотите?

Нина растерянно взглянула на Леву, тот, закрыв трубку рукой, подсказал:

— Сколько стоит?

— Рубль двадцать,— чуть запнувшись, ответила Нина.

— Надо взглянуть. Какой размер?

— Сорок шесть— сорок восемь.

Лева умышленно написал больший размер, чтобы удобнее было прервать разговор.

— Милочка,— разочарованно протянула Аня,— я не доляка колхоза «Красный богатырь». Сорок четьре. Это максимум.

— Сорок шестой — вполне приличный размер, — обиделась Нина. — Или вы балерина?

— Не балерина, — передразнила Аня, — но задница у меня сорок четвертого размера, и я не кормящая мать.

— Не подходит? — спросила решительно Нина.

— Сорок четыре, милочка, очень прошу...

— Ревюэр, — Нина положила трубку, но Лева ее не положил и слышал, как Аня продолжала говорить:

— Минуту, милочка. Если у вас будет сорок четырех...

Лева опустил трубку; самое обидное, что эксперимент не дал ни положительного, ни отрицательного результата. Лева и узнавал и не узнавал голос «незнакомки». Вспоминая голос Ани, он представил ее шевелящиеся губы и непроизвольно вытер ладонью рот. Черт побери, вчера она ему казалась хорошенькой, соблазнительной.

Хозяин кабинета не зря был следователем прокуратуры, он слышал только разговор Нины, но ситуация сложилась не из самых сложных; без тени улыбки он сказал:

— Не понял, Лев Иванович?

— Не понял, — согласился Лева. — Оставим как версию?

— Оставим. — Следователь повернулся к Нине. — Спасибо за помощь, Нина Петровна. А сейчас вот вам журналистки. — Он взял с журнального столика несколько экземпляров, протянул Нине. — Пойдите в коридорчик. Мы тут кое-что обсудим, затем Лев Иванович вас проводит.

— Благодарю, мне на работу надо, дорогу я найду. — Нина стояла перед следователем, независимо смотрела на него.

За последние сорок минут у следователя в третий раз изменился голос.

— Оставьте, Нина Петровна. Я вам сказал: подождите — и вы подождите. Лев Иванович вас проводит, купит по дороге цветы, я хочу, чтобы ваши со-служивцы видели, как он за вами ухаживает. В дальнейшем ни он, ни я не станем вам объяснять свои поступки. Помощь следствию не благородение, а священный долг каждого нормального советского человека. — Он четко выговаривал каждое слово, Нина стояла перед ним и выслушала все до конца. — Мы защищаем социалистический правопорядок. Жизнь человека священна, убийца должен быть выявлен и наказан. Один раз вы нам помешали, больше мешать не будете. — Следователь взял Нину под локоток, подвел к двери, открыл ее. — Сидите и ждите. Как только закрылась за Ниной дверь, следователь будто сразу потолстел и обрюзг, тяжело вздохнув, спросил:

— Понял, какие слова знаю? А ведь то не слова. — Он взялся за график, выпил два стакана подряд и извлек из кармана свой платок-полотенце. Усаживаясь в кресло, он вновь сопел, охал, морщился, в общем, страдал, словно великомученик. — Женщины — публика тяжелая, — сказал он. Лева хотел улыбнуться, но, встретив сердечный взгляд следователя, воздержался. — Ты, братец, умен, талантлив, возможно, да главного в тебе нет. Что это ты девочке так с собой держишься, позовешься? Там, в вашей оперативной обстановке, ты можешь клонуна разыгрывать, флиги-млиги разные. Коли здесь встретились, достойно обязаны себя держать. Она ведь тебя ударить сейчас собирается, ты же бровью не повел. А ты знаешь, кого бьют? Бьют лишь человека, который разрешает себя ударить.

— Не понимаю, — смущенно пробормотал Лева.

— Вижу. То и плохо, раз не понимаешь. Болтают, что у нас взгляд, манера держаться, говорить особенные. Ерунда. Здесь — он постучал себя по груди, — особенное. Тебе человек охранять себя доверил. Доверил. Вдумайся. Ты не Лена Гуров, ты — полковник Турлиин, друзья по работе, вся наука, которая на вас работает, все — ты. Так и держись. Если убежден, что нельзя тебя послушаться, убежден — хамить тебе невозможно, любыми глазами на человека гляди, он точно поймет, что ему позволено, что нет. — Без всякого перехода спросил: — Как дальше-то жить будем? Что предпримем, товарищ инспектор уголовного розыска?

Лева хотел изложить свой план, но вовремя вспомнил указание Турлиина и сказал:

— Мне Константин Константинович запретил по-ка на ипподроме появляться.

— Кости? Он такой... Испугался за тебя, значит? — Следователь снял телефонную трубку, начал набирать номер. — Сейчас с ним посоветуемся.

Лева не удивился, что следователь называет Турлиина по имени. Все старики друг друга знают. Кости, Ваня, Вася. Они вместе строили и копали, стреляли или плавали на экзаменах, или воевали в Великую Отечественную. Если один другого не вытаскивал из-под огня, значит, тот вытаскивал из иного места его брата. Все друг другу обязаны по гроб жизни. Почему-то по служебным вопросам они разговаривали всегда сугубо официально, и Лева не удивился, когда, соединившись с полковником, следователь сказал:

— Константин Константинович? Здравствуйте. Из прокуратуры города...

Глава седьмая

Нина работала на кругу. Двухлетний жеребенок, которого она водила шагом, поступил на ипподром с завода в апреле, сейчас июль, жеребенку пора участвовать в бегах, а он рысь как следует не освоил. Четверть круга пройдет, запрыгает, галопом умется ходить. Не понимает, что он рысак, да еще королевских кровей, он должен осенен по своему возрасту выигрывать, он же все балуется, даже по седьмой группе проигрывает.

Как всякая женщина, Нина мгновенно почувствовала взгляды «писателя». Ей нравились его стройная фигура, изящный костюм, нравились стеснительность, постоянный вопрос в глазах — голубых, мальчишеских наивных. Когда там, на альпее ипподрома, Лева поднял решетку, начал говорить обидные слова, она потеряла голову. К сожалению, ей и раньше приходилось драться, особенно в первые месяцы работы на ипподроме. Но те, прежние, ждали от нее удара, даже признавали ее право на физическое сопротивление, встречали его подготовленными, с шуткой или пьяной руганью защищались. Лева упал, так как не ожидал ничего подобного. Она бежала, бежала и плакала. Увернуться он не успел, но в глазах его он увидела боль и страх. Боль и страх не за себя, а за нее, Нину. Почему-то она уверена в этом, он испугался за нее. Бессонной ночью эмоции постепенно утихли, уступили место рассудку. Писатель что-то разнюхивал, выведывал за ее спиной. Кто-то из рабочников мог видеть ее у этого люка. Писатель теперь собирает материал для газеты, то есть собирается сделать то, чего Нина более всего боялась — огласки, тенденциозно, обывательской, грязной оценки случившегося. В кабинете Нине вновь захотелось поднять руку, следователь за спиной вовремя закашлял, а то бы был бы беде.

Она послушно сидела в коридоре прокуратуры и ждала. Журналы лежали у нее на коленях, она их даже не развернула. Лева все не выходил, она радовалась отсрочки, ведь необходимо подготовиться. Как теперь вести себя с ним?.. Значит, она ударила офицера, инспектора уголовного розыска, человека, который искал убийцу, старался ей, Нине, помочь. Что же теперь делать, как вести себя с ним? Инспектор уголовного розыска. Ас, сказал следователь. Но ведь в уголовном розыске работают лишь самбисты либо боксеры, на худой случай штангисты. Худенький юноша, если бы не рост, жокеем мог бы стать. Как он бандитов и убийц высекивает и арестовывает? Где холодный взгляд, тяжелые плечи, уверенная поступь? Инспектор на эстрадного гитариста похож, лишь прическа поприличнее. Нина с ужасом ждала появления Левы. Он вышел из кабинета веселый, ульбывающийся, протививая ей руку, сказал:

— Нина, я давно хотел вам предложить... — Мимо проходили какие-то люди, он наклонился к ее уху и тихонько поцеловал. — Давайте меняться: за каждую оплеуху два поцелуя?

...Вспоминания не мешали Нине работать. Она чувствовала шаг жеребенка, слышала его, колпыта ударяли ритмично. Выйдя на прямую, Нина решила пустить жеребенка врезать: надо выяснить в конце концов, почему он так сбоят на испытаниях. Жеребенок послушно принял посып, колпыта застучали чаще. Нине не нужен был скундомер, она знала: едет четверть в тридцать шесть секунд, то есть можно пройти дистанцию примерно за две минуты двадцать пять. Для двухлетки, участвующего в испытаниях по седьмой группе, просто отлично. Сколько он в таком темпе может выдержать? Миновали вторую четверть, вошли в третью, неожиданно сзади раздался стук колпят. Нинин жеребенок все держался в свои тридцать шесть, по тому, как мощно настигали их соперник, Нина определила, что тот бежит в тридцать одну. Так ровно и четко иди мог только Григорий, но он сейчас в денинике. Рысак проплыл мимо, будто Нина не ехала, а топтала на месте; жеребенок ее, желая догнать накаленного соперника, за руыг, наездница осадила его, взяла в руки, сама смотрела на уделяющегося гнедого. Она мгновенно узнала и наездницу и рысака. Ехал мастер Стенин. Только он умел в качалке сидеть, как на троне, расправив плечи и гордо откинув голову. Его гнедой жеребец Ринг бежал великолепно, еще недавно он показал две минуты двенадцать, сейчас был готов на две ноль пять.

Нина успокоила своего двухлетку, заставила шагать. Она видела гнедого Ринга лишь мгновение, но ей и этого было достаточно. Она поняла, что у Гладиатора появился достойный соперник.

У конюшни Рогозин с Левой возились с «американкой», правила у нее колеса, всовывернуло чтьчуть. Нина спасла жеребенка на погончение встретившего их Николая; даже не взглянув на Леву, о котором думала последние часы, прошла к дениникам. Гладиатор заржал.

— Выводить, Нина! — спросил подошедший Рогозин.

За последние дни он впервые называл ее по имени. Нина, оторопев, кивнула и радостно ответила:

— Выводите, выводите, Михаил Яковлевич.

Гладиатор выбежал на солнце, играя, делал вид, что пугается теми на столбе, описал вокруг конюха круг и замер. Он отлично понимал: людям необходимо полюбоваться; ему не жалко, любитеся. Он стоял свободно, и в то же время картина изогнула шею, раздувал ноздри; не двигаясь, перекатывал под лопатками мощные мышцы. Темный шелк кожки

был так тонок, что просвечивали голубые вены. Нина провела пслотенцем по крупу, смахнула опилки.

— Не воображай, грызнула. — Нина притянула жеребца к полотенцу, ласка ее рук никак не сочеталась с нарочито серьеэным тоном. — Я сейчас покажу тебе одного товарища, ты лишь взглянешь и поймешь, не зря он тебе через бабушку родственником приходится. Он с тебя спесь събьет.

Коля уже подкатил качалку, Рогозин запрятал, жеребец взял железный мундштук, будто сахарный. Нина заняла свое место, конюхи отскочили, рысак стоял. Выдержал солидную паузу — ведь необходимо напомнить, кто здесь главный. — Гладиатор медленно двинулся. Он не жеребенок, не какой-нибудь будь шаттый рысаком-трехлеток, ему не пристало бежать на круг рисью. Медленно, медленно, кажды шаг в историю, он еле сдерживался, бежать-то все-таки хочется.

Поняла Григорий, все понял, — скучу улыбнулся Рогозин. — Видел? Виталий на Ринге проехал, зацепил Нинку, зашебаршилась девочка. Хорош Ринг, спору нет, капитальный жеребец, класс, школа, все при нем. Григория же ему не обхеять.

...Когда Нина с букетом алых гвоздик сопровождала Леву, появилась у конюшни, Рогозин зиркнул из-под нависших бровей и, кек жук, уполз в темноту. Он не поздоровался, молча ушел, пока наездница переодевалась, так же молча запряг Нине жеребенка; только когда она отъехала, повернулся к Леве.

— В халехи решил запрячься? На этой дорожке тебе не проехать.

Николай увел трех жеребят на выводку. Лева скинул пиджак, засучил рукава, скватил ведро: может, воде принести? Рогозин ушел в дениник, молча начал колдовать над копытом серого жеребца по кличке Вымпел. Лева упрашо вшел в дениник, сел в углу на опилки — это в своих-то отложенных брючках. Он уже понял: молчание старого конюха — как плютно обух — не перешбешь, и решил подойти с другого конца. Лева честно, без утайки, рассказал Рогозину все. Каким образом и за что убили Логинова. Рассказал о билетах, о подкове, сознался, что одни спер он, Лева. Последний факт особенно подействовал на Рогозина, ведь подковы-то действительно пропало две, конюх перестал привязывать компресс, сел, обнял ногу лошади, прижался к ней, слушал Леву уже внимательно и смотрел на него. Служил Лева, лиши утав пр заключение экспертизы, представил дело так, будто Нина заявила в первый же день савма. Якобы сказала она: вам без помощи настоящего специалиста не разобраться. Лучше Рогозина Михаила Яковлевича на всемпподроме конюха и человека вам не найти. Михаилу Яковлевичу открыйтесь, не пожалеете, он один помесь может.

В этом месте конюх не выдержал и силым голосом пробурчал:

— Врешь, как двухлеток скачешь.

Все греки человеческие Рогозин прописывал двухлетним, поступающим с завода жеребятам. Лева уже привык, не обиделся, доказывая, что он значительно обогнал в хитрости не только жеребят, но и взрослых призовых рысаков, напомнил конюху, как он, инспектор уголовного розыска, без сомнений открылся Рогозину.

— Прими, прими, — сказал Рогозин, выходя из дениника.

Лева поплелся следом, Рогозин расхаживал у конюшни, скреб в затыльке, думал. Лева присел в стонике, не мешал. Рогозин выкатил качалку, начал снимать колесо. Лева стел помогать. Несколько минут они туттились молча, наконец Рогозин спросил:

— Что же ты хочешь, нескладеха?

Лева объяснил, что покойного мастера не знал, не может понять, почему он так странно последний заезд вел. Кто и чем мог его так рассердить? Рогозин вновь задумался. В это время подъехала Нина.

Лева заметил перемену в Рогозине, как подобрел, повеселел старый конюх, даже улыбнулся. Хотя говорил он о вещах, никакого отношения к делу не имеющих, Лева слушал внимательно. Случается, люди зазорны считают следствию помочь, сбрасывают самое главное слово случайно. Твое дело — подобрал или валяться оставил.

Ровно в шестнадцать часов Гуров вошел в кабинет Турилина.

Турилин пригласил Леву к себе, хотя вполне мог дать ему указания по телефону. Под нажимом следователя прокуратуры, полковника, разрешил Леве вернуться на подиум, но уверенности, что решение правильно, у Турилина не было. Преступник опасен, работать рядом с ним следует чрезвычайно осторожно, в крайнем случае быть готовым к применению стоянкового. Оружия Гуров, конечно, с собой не носит, правильно делает. Что ему сказать, как еще раз предупредить? Либо верить, что он готов к такой работе, либо отстранить.

— Поехжайте в редакцию! — Турилин мельком взглянул на подчиненного. — Нехорошо получается, Лева, бумажки в журнале мы получили, а очерк не пишем. Некрасиво. Сейчас главный редактор коллегию проводит, вы у дверей подождите. Вы меня поняли?

— Да, Константин Константинович, — Лева кивнул. — Показаться сотрудникам журнала. К редактору заходить?

— Естественно. Валя вас ждет.

— Вместе учились или воевали? — поднимаясь, спросил Лева.

Полковник что-то искал в ящике стола и рассеянно ответил:

— С Валькой? С Валькой мы Гамлета на пересменку... — Он поднял на Леву взгляд, резко захлопнул ящик. — Каков ваш дело, собственно? Главный редактор журнала Валентин Сергеевич Раскатов. Марш отсюда. Сыщик, видите ли, выискался.

Быть или не быть, повторял Лева по дороге в редакцию. Интересно на полковника в роли Гамлета посмотреть. Лева уже представил, как рассказывает в отделе о юношеском увлечении начальника.

В редакции стояла полная тишина. Лева подергал холдинговые никелированные ручки, заглянул в приемную, секретарша пила чай, не ожидая вопроса, сквозь:

— Родколлегия.

— Извините. — Лева прикрыл за собой дверь, давая понять, что уходить не собирается.

Он попытался представить, как журналисты знакомятся с секретаршами. В у головном разыске, когда требуется подлизаться к секретаршу, существует испытанный прием. Следует потереть глаза, зевнуть, намекнуть, мол, ночка сложилась непростая, бандит уходит, отстреливаясь. По правилам игры можно рассказывать все, кроме правды: хвастаться настоящими делами считается дурным тоном. Инспектор сочиняет, а секретарша знает, что он сочиняет. Опытный рассказчик за ерундовой байку может получить почти невозможное, к примеру ему отпечатывают справку для начальства не завтра, а до обеда. У Левы на счету несколько погон, перестрелок, даже один прыжок с самолета, но здесь он журналист, а не инспектор угрозыска.

Пока он колебался, дверь в кабинет редактора открылась, и оттуда начали медленно появляться люди. Когда Лева вошел в кабинет, он увидел на столе несколько тарелок с окурками, а за столом в клубах дыма сидели люди. Лева громко поздоровался. Широкоплечий, с большой головой и седой, почти до самых бровей шевелюрой, человек, перекрывая гул голосов, сказал:

— Здравствуйте, Лев Иванович. Мы сейчас заканчиваем.

— Как здоровье, Валентин Сергеевич? — в тон главному спросил Лева.

— Витя! — крикнул главный. — Познакомься. Лев Иванович согласился написать для нас очерк об исподнем. Жена, у тебя найдется две полосы в одиннадцатом номере?

Лева жал чьи-то руки. Кто-то его предупреждал, что две полосы ему не выбрать даже ценой жизни. Другой предлагал, лучше разрезать себя сразу, чем кромсать в последний момент по живому. Третий, ткнув Леву в бок, советовал вычеркнуть этот год из жизни, забыть его раз и навсегда. Лева держался бывальным воином и не повел бы бровью, вскочил главный на стол и затяну: «Пятнадцать человек на сундуке мертвца».

Когда все ушли, главный шире распахнул окна, ловко собрал разбросанные по столу бумаги и быстро заговорил:

— Как продвигается работа над очерком? Здорово? — Главному было за шестьдесят, и последнее слово ему шло исключительно. — Вы случайно не сынок Вани Гурова? Нет? Жаль, прекрасный парень.

Лева любил разговаривать с людьми, которым не следовало отвечать на вопросы. Главный говорил и читал какую-то статью, чиркал карандашом, вздыхал и говорил:

— Готовьте, готовьте очерк, очень интересный и нужный материал. Ничего не знаю, я Кости предупредил. Что? Писать не умеете? Удивили, старик. Чехов умел, Толстой, еще двое-трое. Достоевский не умел! Гений, а писать не умел. Очерк к первому августа, пожалуйста! — Валентин Сергеевич сделал очередную пометку на статье, отложил, взял другую. — Кости кланяйтесь, кланяйтесь, — задумчиво повторил он, читая материал.

— Спасибо. До свидания. — Лева попятился, осторожно приоткрыл дверь и выскользнул в приемную, затем в коридор.

— Старик, сигареты есть? Как тебе наш главный? Мамонт! — с гордостью сказал Витя — заведующий отделом, куда следовало принести очерк.

— Мамонт, — согласился Лева.

Вите, как и большинству сотрудников журнала, было около тридцати, и седой гравастый редактор выглядел среди них действительно мамонтом.

— Заговорил слова не дал вставить? — Витя улыбнулся нежно и покровительственно. — Только не налейся, он ничего не забудет. Когда притащишь свой опус?

— К первому августа, — ответил Лева, чувствуя, что заходит в лабиринт.

— Не подведи, отец с меня спросит. И я тебя прошу, старик, — продолжал Витя дружески, — не трогай ты этот чертова тотализатор.

В дальнем конце коридора Лева увидел Ань — девушка остановилась у первых дверей, с кем-то заговорила.

— С тотализатором вечный скандал. Одни говорят — закрыть, другие — не закрывать. Лошадки, нам нужны лошадки.

— А люди? — наблюдала за Аней, спросил Лева. — Я хотел бы рассказать о человеке, по-настоящему влюбленном в свое дело.

— Прекрасно! Только не рассказывай, а покажи нам его. Поступки, действия, словами сейчас никто не верит.

С дальнего конца коридора крикнули, Аня увидела Леву, махнула рукой и подошла.

Лева собралась познакомить Аню с Виктором, однако они прекрасно обшлись без формальностей. Пожали друг другу руки и заговорили, как старые знакомые.

Через несколько минут Лева с Аней вместе вышли из редакции.

Лева шел молча и злился, больше всего злился на себя за вчерашние пьяные поцелуи. Джеймс Бонд такой выискался. Если он не заболевает шпионажем и девочка действительно выполняет чье-то задание, она, естественно, ничего не знает. Ее, конечно, используют втемячу: сделай то, не делай это. Она ничего не знает. Кто ее мог послать? Только один из двух — либо Сан Саныч, либо конюх Николай. Конюх все больше и больше заинтересовывал Леву. Многого в его поведении не вязалось с внешней губошлопостью. Или конюх абсолютно простак, или он человек хитрый и предусмотрительный.

Следователь прокуратуры убежден, что установить преступника даже не четверть дела. Найти ты его найдешь, говорил он утром Леве, где мы доказательства искать будем? Оправдательный у нас организуется наторморт: преступник и рядом двое в колпаках с бубенчиками. Один старый и толстый, другим молодые и стройные. Колпаки у нас будут одинаковые. Лева пытался объяснить, что способен восстановить всю картину преступления до мельчайших деталей. Следователь ответил: «Дружок, картины — бесценный материал для мемуаров, а не для суда. Главчика у нас впереди. Учи, когда будешь искать преступника, не забывай о доказательствах, тащи их вместе — Он даже упрещивал Леву, уговаривал, словно маленького. — Хоть самую малость откопай, даткую хрохоту, фактик, но железный, чтобы не лопнула, не обломился. У меня хватка бульдожья, дай уцепиться, старый все встанет».

В голове все путается, рядом шагает эта девочка, которую он вчера целовал почему-то. И от нее духами режими пахнет.

— Я сдаюсь! — Анна дернула Леву за руку, остановила. — Слышишь, сдаюсь, писатель! — Она кричала, почти плакала.

Он нахмурился. Не понимая происходящего, какой-то прохожий остановился: молодая женщина покатила детскую коляски быстрее и сказала:

— Вот так они нас доводят, молоко пропадает. Лева подхватил Аню под руку, позел на другую сторону.

— В чем дело? Почему истерика? Кому ты сдаешься? — сердито спрашивал он.

— Не кричи на меня! — Анна разрыдалась. Горе ее было искренним, девушка даже забыла про тушь на ресницах. Размазывая ее по лицу скомканным платочком, Анна объяснила Леве, что решила его перемолотить, теперя сдается. Они ходят по городу уже час, она проголодалась и устала, он на нее не обращает ни малейшего внимания. Худенькая и жалкая, даже клешни поникли мятными фалдами, Анна продолжала всхлипывать, поглядывая на Леву нерешительно — то ли ей плакать дальше, то ли нет.

— Прократи истерику, или я сейчас уйду, — сказала Лева, подстянув девушку в подворотню. — Присяди себя в порядок.

В конце концов, разговаривать с ней моя работа, уговаривая себя Лева. Надо разобраться, каков она

место занимает в композиции. Что собой представляет Наташа? Насчит ее квартиры ответ будет завтра. Лева дал задание проверить обеих девиц и, конечно, Сан Саныч по всем картотекам, учетам, задержаниям в отделениях милиции.

Из подворотни появилась Анна: носик воинственного поднялся, ресницы свежо блескали, грудь вперед, клашам могут позевидать моряки всех флотов мира. Она несколько пренебрежительно взглянула на Леву и сообщила, что собирается эзити куда-нибудь перекусить.

— В ресторан с тобой не пойду, ты не умеешь себя вести, — ответил Лева, — хочешь есть, рядом кафе.

Девушка не ответила ни словом, ни взглядом, резко повернувшись, пошла прочь. Лева облегченно вздохнул и направился домой. Если девочка его разыскала из чисто амурных соображений, то все прекрасно, если ее послали нему, то в среду, на ипподроме, она станет нике травы. Возможно, ей поручили привести его в определенный ресторан или вновь к Наташе. Лева сумеет подогревать интерес компании к своей особе, пусть они ищут подходы, он может подождать. Ему суд не грозит, у него нервы в порядке. Возможно, он в среду даже не зайдет на трибуны, а ведь им надо вытерпеть сегодняшний вечер, весь завтрашний день и среду. Вот он позднее и решит, встретиться им в среду или нет. Мы станем решать, вы — ждите.

Глава восьмая

Нина медленно подходила к ипподрому, миновав проходную, постояла на углу. Она ждала Леву, хотела увидеть его пораньше. Смерть Логинова сейчас казалась давно прошедшим. Нина стеснялась себя признаться в этом. Убили ее учителя, прекрасного, такого человека, она же вспоминает о нем лишь на мгновения, тут же думает о молодом инспекторе. Он придет на конюшню, начнет неумело помогать конюкам, бродить, молчаливый, между денинками, удивленно поднимая брови, разглядывая лошадей и украдкой смотреть на нее, Нину. Инспектор смотрел влюбленно, лишь краснол порой, смущенно ульбаясь, как бы спрашивал взглядом: вы не сердитесь? Лева ей покривился сразу, как появился на конюшне, хотя в тот день Нина было не до него. Высокий, стройный, он привлекал не внешностью, был обаятелен своей непосредственностью и искренностью. Поняв, что он за нее следит, Нина словно получила удар и ответила ударом — так она привыкла, считала: в жизни иначе нельзя. Он мог там, в прокуратуре, отыграться сполна. Она бы на его месте... Нина даже зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела в конце улицы высокую, быстро приближающуюся фигуру.

— Нина! — Последние метры он пробежал. — Вы ждали меня? Я тек ред.

Он мог и не говорить, это было видно и так.

— Лева, а вы молодожен меня, — изожиданно сказала Нина, подняв голову, посмотрела ему в лицо.

— Знаю, но это пройдет, — он рассеянно улыбнулся, думая уже о чем-то своем, тут же нахмурился, отвел ее в сторону, к роскошному у забора огромному платну. — Вы только не сердитесь. Вы мне мешаете, Нина. — Он торопился, боялся, что Нина обидится и уйдет. — Я думал все время о вас, мне же следует заниматься делом. Людей нельзя убивать, их даже обижать нельзя. Мне верят, мне поручили мои товарищи, люди. Вот, — он указал Нине на иду-

щую по другой стороне улицы женщину с кошелькой,— эта гетенька, даже не зная о моем существовании, верит мне.

Нина, отлично понимая, что несправедлива к Леве, сказала:

— О чем вы, Лева? Оправдываетесь, будто должны и не отдаете. Занимайтесь своим делом, мальчик.

— Нехорошо.— Лева покраснел.— Вы же не можете во время соревнований разговаривать со мной? Я не обиделся.

Лева работал на конюшне весь день рядом с Рогозиным и Николаем. Он уже научился держать лошадь спокойно, когда ее запрягают, прогуливаться после тренировки, двуколетку ему даже мыть дозволяли. Работать — одно, думать, видеть, чувствовать — другое. Он видел, что Николай нервничает, следит, старается все время держать его в поле зрения. Пиджак Гурова висел между замшевой курткой Николая и потрепанным пиджаком Рогозина. Есть тысяча предлогов, чтобы войти в комнату и опустить руку в карман собственной куртки. Как все просто. Когда Лева держит лошадь, между ним и комнатой отдыха больше пятидесяти метров. Даже если он все бросит и побежит, Николай успеет обшарить карманы его пиджака и, взыв в свой куртке папиросы, выйти из комнаты. Как все просто. Два часа, три, четыре, пять часов Николай не может сделать такой простой вещи. Пиджак притягивает, как мощный магнит, Лева чувствует мучения Николая, но, к сожалению, помочь не может. Уже два дня Николай обсыпал его пиджак, сегодня Лева «забыла» удостоверение.

Пять часов два человека мучаются одной навязчивой идеей. Лева не выпускает из поля зрения коридор и дверь в комнату, стоит Николаю приблизиться к ней, Лева находит предлог, идет следом. Когда Лева держит лошадь, Рогозин распрягает или запрягает, Николай свободен. Но Лева обязательно становится так, чтобы видеть коридор насквозь. Николай водится у денника, смотрит на четкий силуэт писателя и проклиная его. Лева смотрит на черный провал коридора, прикинув конюха за тупость, ведь со света блончуты ничего не виляю.

Приезжала, меняя лошадей и уезжала Нина с помощниками, сосредоточенно занималась своими делами Рогозин. Долговязый парень из милиции нравился старому конюху. Надо же, ведь поплыл совсем, однако обстоятельный, думает, не принимает с места, аллюр не сбывает, есть в парне уверенность. Не понимает коню его скакки, мастера же в любом и незнакомом зазаде видно, у мастера половики особыне, класс всегда чувствуется,

Лева нервничал, Николай топтался вокруг до окна, призывая вязь боялся. Помогать ему Лева не имел права. Если конюх хоть на склону заподозрит, что инспектор подставляется, все Лезин план поплатит к инспектору. Даин кончается, сейчас Ник с помощниками вернется, лошадей обрабатывают, и все. Завтра. Завтра все начнется.

Принимая от приехавшего наездника последнюю лошадь, Лева чувствовал на себе взгляд Николая, который, стоя у второго дэнника, возился со сбруй. От комнаты Николая отдался шагов пятьдесят, Леза поставил лошадь у ворот конюшни, упрямко встал лицом к Николаю. Либо так, либо никак, помочь от меня ты не дождешься. Хотя... Леза дернулся поздороваться, лошадь пошла боком, он, пытаясь ее удержать, с силой потянул в обратную сторону, рысак разско принял настав. Рогозин успел его выпрячь, жеребенок, взвешенный грудью, скользя, взмыл вверх, развернулся, толкнулся Лезу, и Леза полетел в пыль.

— Ну, ну, балуй. — Рогозин положил ладонь жеребенку на круп, погладил, повернулся к Леве. — Вставай, чего разлагся?

— Нога...— Лева медленно поднимался, на ногу не ступал.— Подвернулся, кажется.

— Нога не голова,— философски ответил Рогозин.— Вот и думай башкой свой, жеребенка держиши, не трактор.

Жеребенок стоял рядом с Рогозиным, сердито косился на Леву. Инспектор на жеребенка смотрел с симпатией и, держанно охая, заковылял к комнате, где висел его пиджак. Николая он встретил по дороге, хотел хлопнуть коюха по плечу и спросить: «Ну как, друг? Решился наконец? Не зря же я здесь в пыли валялся, комедию выламывала!» К сожалению, в жизни порой говоришь не то, что хочется; поравнявшись с Николаем, Лева охнул, взял коюха за плечо.

— Простите, Коля,— и, опираясь на его рыхлую, влажную руку, допрыгал до комнаты отдыха.

Боясь выдать себя взглядом, Лева в лицо Николая не смотрел, устроившись на стуле, стал разуваться. Конюх суетился, принес ведро холодной воды, Лева опустил в неё якобы потянутую ногу.

Когда шаги Николая затихли где-то у выхода из кухни, Лева вскочил, снял пиджак с вешалки, достал удостоверение. Меточка, которую он приспособил заранее, отсчитывала: значит, его расчет оказался верным. Он повесил пиджак на место, сел, теперь уже оба ноги опустил в холодную воду и с искренним блаженством закрыл глаза.

И следователь прокуратуры и Турилин с настороженной остройностью выслушали Гуроу. Молодой инспектор должен был с уважением относиться к мнению старших, более опытных таэвээрий. Они, конечно, правы, Лев Гуроу — невозможный фантазер, лукавый он сам с собой, эзэнчээзэяя рассуждения и подводные черту. Ну, а если они прыззы, то почему бы и не оставить удостоверение в гидроакадемии? Ведь Леву Гуроу никто не проверяет, им никто не интересуется, никакой опасности нет.

Лева пошевелил в воде натруженными пальцами, он торжествовал свою маленьющую победу.

Лева не заметил, что Нина уже с минуту, стоя

— Нина, помните, вчера один человечек сказал, что

— Помню, — Нина бросила тяжелый шлем, рас-

стегнула на куртке «молнию», девушки знала, какая она сейчас чумазая и некрасивая, но почему-то не

стеснялась, с улыбкой смотрела на Леву.

— Толстяк делал мне рекламу.
— Я поняла.— Нина рассмеялась.

— И неверно поняли. Оказывается, я очень толковый парень, — серьезно сказал Леза, поднялся, бросив взгляд на часы.

— Вижу.— Нина даже не улыбнулась, парень, стоящий в дверях, с изумлением смотрел на нее.

Договорившись с Ниной встретиться вечером в

Добровольцами с Ниной встретились вечером в девять, Лева уехал к управлению. В отделе никого не было. Дежурный выехал на происшествие. На своем столе Лева нашел заказанные накануне справки и записку: «Не унывай, Левушка, молодость с годами проходит. Доброжелатель». Близнецы, конечно, не уехали на дачу, для них мотоциклов тридцать километров — пустяк. Когда в работе наступала затишье, Птицыны в любых погоды уезжали на дачу.

Лева перечитал записки, судя по ней, справки ничего существенного не давали, а он так на них расчитывал. На обратной стороне записки Лева увидел: «Позвони», — и крючок, означавший подпись старшего инспектора Трофима Ломакина. Стремившись

братья: Трофим написал, а близнецы перевернули бумажку,— ничего себе шуточки. Лева подвинул телефон и передумал, решил сначала все-таки прочитать справки.

Анна Васильевна Полякова, где и когда родилась, адрес, отца нет, мать работает в ателье закройщицей. Анна говорила, что мать художник, возможно, она и права, закройщик вполне может быть и художником. Анна закончила первый курс факультета журналистики, имеет две академические задолженности. Не привлекалась, не задерживалась, на учете не состоит.

Наталья Алексеевна Лихарева, по данным центрального адресного бюро, в городе не проживает. Не привлекалась, не задерживалась, не состоит. Среди студентов университета не значится, поступала прошлой осенью на филологический факультет, не прошла по конкурсу. По адресу, где проживает Лихарева, она не прописана, кооперативная квартира принадлежит супругам Скоблеевым, которые находятся в заграничной командировке. В отделении милиции известно, что квартира опланивается Крошиным Александром Александровичем, которому хозяева оставили ключи.

Лева отложил справку. Значит, Наташа в университете не прошла по конкурсу, домой возвращаться не захотела. Чем же она занимается и на какие средства живет? Да уж наверняка не ворует, людей не убивает, живет на деньги Саша Санчева. Сколько же он зарабатывает или выигрывает?

Крошин Александр Александрович, родился в Ленинграде, работает старшим инженером в СМУ. Холост... Однокомнатная кооперативная квартира... Характеризуется исключительно хорошо... оклад сто шестьдесят, заработка около двухсот рублей в месяц.

Лева перевернул справку учета о судимостях и задержаниях в органах милиции. Нет. Нет. Нет.

До встречи с Ниной еще оставалось время, Лева позовинил Ломакину.

— Я этого Крошина, кажется, знаю, — сказал Трофим, не жалуяющий всякие вступительные фразы. — Три года назад в Москве судили большую группу валищиков. Там из наших клиентов двое затеялись, я и ездил. Твой Крошин проходил по делу. Кажется, он месяц находился под арестом, затем его за неодоказанностью освободили, на суде он уже как симдептер выступил. Я запомнил, так как мой дружок из МУРа из-за него неприятности имел. Незаконный арест и прочее... Хотя мой друг не сомневался, что твой Крошин по самые уши замаран в деле был, раз не доказали... сам понимаешь... — Лева слушал, не перебивая. — Конечно, валюта — одно, мокрое дело — другое. Не вякнутся они, знаю, — продолжал Трофим, — однако чувствую, у тебя вообще ничего нет.

— Нет, — согласился Лева.

— Так я Стасу в Москву позовинил, он нам спарочку на героя составит. Почему-то он из столицы убрался. Номер уголовного дела Стас тоже пришлет, ты его в прокуратуру подсуди, пусть твой старик там график воды выпьет и запросит то дело. Вы его по-привыкли, мало ли.

— Спасибо, большое спасибо, Трофим...

— Большое пожалуйста, — буркнул Ломакин и по-весил трубку.

Лева пришел на свидание за минуту до назначенного времени, притогивался терпеливо ждать и увидел Нину, которая уже сидела на лавочке и читала журнал. Она была одета так же, как в кабинете

у следователя: строгий темный костюм и черные лакированные туфли на высоком каблуке. Сидела она чисто по-мужски, закинув ногу на ногу и облокотившись на колено. Проходивший мимо мужчины замедляли шаг, однако не останавливались, так как Нина действительно читала. У мужчины на такие взоры глаз наметанный. Лева остановился в нескользких шагах, на Нину было приятно смотреть, приятно сознавать, что эта интересная, обращающая на себя внимание девушка ждет его, Леву. Вчера в прокуратуре она пришла явно из парикмахерской, сегодня ее волосы уже потеряли искусственную зализанность, вились естественно, выгоревшими прямыми спадали на лоб, девушка отбрасывала их назад, они тут же опадали вновь. Переворачивая страницу, она мельком взглянула на часы и нахмурилась.

Лева стоял в нескользких шагах, чувствовал на лице глупую улыбку, не двигаясь, ведь если он сейчас подойдет, получится, что опоздал, а он гордился своей пунктуальностью. Наконец Нина узидала его, подхватив сумочку, легко поднялась, шагнула на австрему.

— И давно так? — Она рассмеялась.

— С обеда, — ответил Лева, беспомощно развел руками. — В вашем присутствии я катастрофически глупею.

— Левушка, давай на «ты», — она взяла его под руку, они пошли по аллее сквера. — В нашем «ты» звучит комплекс неполноценности, будто мы защищаемся, боимся, как бы нас не обидели. Не такие умы мы беззащитные, правда?

— Мы? — Лева расправил плечи и воинственно поднял голову. — Только Левушкой меня не называй.

— Я уже думала об этом. Конечно, «Левушка» слегка принимает твое мужское достоинство, — говорила Нина, улыбаясь. — Сейчас же перестань краснеть. Нет, красней. — Она рассмеялась. — Левушка, красней и вообще ни в чем не меняйся. С твоим именем накладочка получилась. Ты же не хочешь быть Львом? Естественно. Ведь придется отращивать гриву, баки, переучиваться говорить.

Если существует на свете седьмое небо, то Лева находился именно там, шагал по нему легко и уверенно, при этом не забывал держать курс в сторону своего дома.

— Извини, Левушка, но я не могу тебя превратить в льва, — болтала Нина, смеясь. — Да и зачем? Ведь льву безразлично, он даже ухом не поведет, назови его хоть таксой.

Лева согласно улыбался, находясь в состоянии блаженного покоя, он как бы из нереального далека думал об убийстве и убийце, пытаясь представить лицо матери, улыбку отца и хитрые глаза Клавы. Нина была чуточку не первой девушкой, с которой он приходил в дом. Когда-то, еще на первых курсах университета, мама удивлялась, что девушки редко заходят к нему. Отец тогда пошутил: мол, не такие уж у тебя страшные родители, прятать их не обязательно. Лева, не придавая словам никакого значения, ответил: как встречаю достойную девчонку, приведу мимо. Помселялись и забыли. Затем Лева понял, что случайно оброненная им фраза налагает на него определенную ответственность. Проходили месяцы, годы, уже неловко стало отштыкаться и прийти просто со знакомой. Идя к Нине на свидание, Лева и не думал приглашать ее в гости, а увидев в сквере на скамейке, решил сразу и бесповоротно. Только Нина о его решении не знала: перекрёсывая уже десять раз отредактированные слова, в подъезд своего дома он свернул молча.

— Куда это мы? — не останавливаясь, спросила Нина.

— Ко мне заглянем, я, между прочим, сегодня не ел. Заодно познакомишься с моими стариками. Они у меня страшно молодые. Учи, главная в доме Клава, наша судьба в ее руках.

Клава, сразу не разобрал, что Лева пришел с девушки, встретила их ворчанием, мол, двое это не один, предупредить следует. Она мигом поставила в кухне второй прибор, заявила: «Немытые за стол не сядут» — и увидела Нину.

Пока молодые люди послушно мыли руки, Клава прикрыла дверь на кухню, приборы появлялись в столовой. Лева, как и подобает инспектору уголовного розыска, сразу отметил, что тарелки не будничные, разнохарактерные, а из «пасхального» сервиса. Коримили, естественно, по первому классу. Лева хотел было объяснить, что севрюго ест далеко не каждый день, но лишь махнул рукой и принялся за еду. Клава сказала между кухней и столовой бесцеремонно, но, видимо, успела оповестить о событии, так как мать с отцом довольно долго не появлялись. Первым из своего кабинета вышел генерал, он солидно представился, попросил у Клавы стакан чая и, сев за стол, начал ухаживать за Ниной. Затем появилась мама. Она, в отличие от отца, одетого в домашнюю куртку, успела переодеться, каким-то образом оказалась в костюме, очень похожем на костюм Нины. За столом завязалась обычный разговор-знакомство: немножко о погоде, немножко о том, кто чем занимается. Мама рассказала дежурный анекдот о «своих психах», Лева молчал, полагая, что мэр сделал свое дело, теперь пусть родители выпутываются сами. Через несколько минут, повинуясь молчаливому требованию жены, генерал исчез, вернулся быстро, но уже в пиджаке. Неожиданно Клава поставила на стол запечатанный график с настойкой собственного производства. Торжественно наполнили появившиеся на столе хрустальные бокалы, генерал произнес короткую речь:

— За Веру, Надежду, Любовь, матих их Софию, рождество и воскресенье отца, сына и святого духа.

Нина добавила:

— За креценские морозы! Аминь! — тем самым покорив семью Гуровых.

Клава заметила, как Нина, лишь слегка пригубив, отставила бокал. Девушка обяснила, что ей застала выступать. Разговор полностью переключился на бега, быстро превратившись в пресс-конференцию, на которой Нина давала интервью и отвечала на вопросы. Она мгновенно уловила стиль, манеру разговора семьи. Сначала отец задавал вопросы шутливо; почтываясь, что гостья не смущается, отвечает даже задиром, при殃ляя за нее всерьез.

— Скажите, Нина, ну кому в наш век нужны лошади? — спрашивал он. — Я понимаю, для развлечения, отдыха. Но вы говорите серьезно, как о науке, производстве, требующем больших капиталовложений. Кому? Кому это сегодня надо? Повсюду та- кому делу жизни?

Нина взглянула на хозяина несколько растерянно, перевела взгляд на Леву, смутилась. Лева хотел принять на помощь, мама его опередила:

— Иван, ты считаешь, что посвящать жизнь имеет смысл только пушкам?

— Спасибо! — Нина благодарно кивнула, повернулась к генералу. — Кому нужны племенные лошади сегодня? Надеюсь, что вам, Иван Иванович, — впервые назвав генерала по имени-отчеству, Нина открыто объявила войну.

— К сожалению, Ниночка, нам они не нужны, — сдержанно ответил генерал; не желая обострять спор, он попытался сменить тему, начал было разговор о новом фильме, однако Нина прервала его:

— Простите, у наездников принято вести борьбу с столбом до столба. Я настаиваю, что и вам, военным, и вам, Иван Иванович, лично, совершенно необходимы лошади. Не лошади вообще, а племенные, выхоленные, специально вытrenированные чемпионы и рекордсмены.

Генерал поклонился, виновато улыбнулся, как бы говоря: «я-богу, не хотел, честное слово, больше не буду, а вслух промзнес:

— Интересно.

Нина начала говорить, и через несколько минут даже Клава перестала звякать посудой и бегать то и дело на кухню.

— Говорят, собака — друг человека. Возможно, не буду спорить. Но если на земле не было бы лошади, может, человек не стал бы человеком, не победил бы природу. У многих народов и племен долгое время конь стоил дороже человеческой жизни, потому что один мог спасти многих. Вспомните историю человека, и вы увидите, что он тысячелетиями не расставался с лошадью. А живопись? Ничто и никто не повторен в таком количестве раз, как лошадь.

— Человек, — вставил генерал.

— Он же творец, человек и сегодня, как и тысячи лет назад, влюблен в себя до потери сознания, — ответила Нина. — Стоило человеку отвлечься от собственной персоны, как ему приходилось отдавать должностной лошади. Полардэрства за коня! Из-за коня мужчины бросали любимых, отчий дом. Лошади выигрывали сражения, из-за них возникали войны. Они нас кормили и охраняли, спасали нашу жизнь и честь! — Нина всплеснула руками и с возмущением оглаждала всех присутствующих. — И теперь они нам не нужны? А память нам наша нужна? История наша нужна? Как мы удержимся рядом с природой, с храним доброту, свою хваленную человечность? Слушайте, — она смотрела на всех с отчаянием, — да мы перестанем быть людьми, если мы дадим умереть нашей памяти, нашему прошлому. Всю жизнь раскапывать черепки, восстанавливать цивилизации тысячелетней давности — это благородно и нужно. Охранять, беречь, совершенствовать память тысячелетней давности, которая вот тут, рядом, бегает, живет, пока еще живет. Иван Иванович! — Нина раскраснелась, в голосе ее звонели слезы. — Это ли не достойная цель жизни? А вы знаете, что благодаря энтузиастам мой сегодняшний Григорий красивее, сильнее, разве не знаменитого Буцефала? Любой наш скаковой призер даст фору воспетому Лермонтову Карагезу.

— Нина, я сдаюсь! — Генерал поднял руки. — Я сдаюсь самым...

— Подождите, товарищ генерал! — перебила его девушка. — А дети? Вы придите к нам в манеж, взгляните на детей. Больше тысячи ребятишек у нас занимаются, и десятки тысяч не могут в нам попасть. Ребенок, растущий рядом с лошадью, никогда не бывает злы, жестоким. Лошадь гуманна, люди устали от машин, от железа, они ищут природу...

— Простите, Нина, я был как-то на ипподроме, — вновь перебил генерал, мама взглянула на Леву и недвусмысленно постучала себя по голове. — Я видел, что там ищут люди.

— А вы в лечебнице для алкоголиков не были? — спросила Нина. — Может, нам все виноградники в стране вырубить?

Клава бросилась заваривать свежий чай, мама сказала, что больше не разрешит отцу сказать ни слова,



— Безусловно. Не подумайте, что я торгуюсь, Николай Тимофеевич... Об убийстве и нашем приятеле,— он поклонился Гурову,— я никому не скажу ни слова. Девочки тоже, я гарантирую. Однако, если у вас есть возможность и служебный долг вам позволяет, не сообщайте о случившемся мне на работу.

Лева следил за беседой, стараясь не выдать свою растерянность и неовсевомленность, прилагал максимум усилий, чтобы сохранить умный вид.

— Зачем бы мне писать вам на работу, да и о чем? — Следователь отодвинул кресло и поднялся, давая недвусмысленно понять, что разговор окончен.

— Деньги Николаю давай, — Крошин встал, подождал, пока хозяин кабинета протянет ему руку, прощаясь, добавил: — Такой факт можно истолковать по-разному. Спасибо, и до свидания. Лев Иванович,— он повернулся к Гурову,— я перед вами не сколько виноват, вы тут узнаете, так не срчайтесь, заглядывайте, поболтайте за лошадок.

Лева кинул; когда Крошин вышел, взял протокол и, увидев в графе «привлекался ли к судебной ответственности» запись «не привлекался»; сказал:

— Не знаю, как в остальном, но здесь он соврал.

— Не надо о людях думать плохо, дружок. — Следователь налил стакан воды, посмотрел на свет и запомнил. — Александр Александрович не скрыл, что находился под следствием, запись же в протоколе сделала я. Чтобы тебе не гадать, а мне не превращаться в рассказчика, ты все это прочти. Позже обсудим. — Он положил перед Левом три протокола и, вытирая пот, удалился из кабинета.

Суммируя прочитанное, отбросив скучные, но обязательные при допросах подробности, Лева узнал, что сегодня, в семь утра, дежурному по управлению уголовного розыска обрагтилась гражданка Лихарева Наталья Алексеевна, Дежурный Наташу выслушал, позвонил полковнику Турину, который

приказал отвести девушки в прокуратуру города к старшему следователю Николаю Тимофеевичу Зайцеву. Договорив девушку, тот пригласил к себе Анну Полякову и Александра Александровича Крошина. Лева читал протокол по порядку.

— Вчера вечером, примерно около двадцати одного часа, — рассказывала Наташа, — ко мне в кабинет, которую я временно снимаю, пришли мои знакомые: инженер Александр Крошин и конюх поддорма Николай Кунин, последний в очень возбужденном состоянии. У меня в это время находилась моя подруга, студентка университета Аня Полякова. Крошин попросил меня сварить кофе и не мешать, так как им нужно говорить. Мужчины принесли с собой бутылку коньяка, сели расположились в комнате, а мы с Аней остались на кухне, где я гладила. Дверь в комнату плотно не закрывается, а дверь на кухню мы с Аней умышленно оставили открытой, так как хотели знать, о чем будут говорить мужчины. Крошин спрашивал негромко, он обычно так разговаривает, Николай же отвечал очень громко, порой даже кричал, и я слышала все отчетливо. В основном говорил Николай, Крошин лишь его успокаивал. Из слов конюха я поняла, что он давно подозревал, что писатель, который ходит к ним на конюшню, совсем не писатель, а работник уголовного розыска. Сегодня же Николай сам увидел удостоверение писателя, где черным по белому написано, что лейтенант милиции Гуров Лев Иванович состоит на службе в управлении уголовного розыска.

Вопрос: Вы удивились словам Николая Куниной?

Ответ: Нет. Я не удивилась, больше испугалась.

Вопрос: Почему вы не удивились?

Ответ: Последнюю неделю Николай нервничал, из отдельных фраз, сказанных им Крошину, я поняла, что к смерти наездника Логинова виноват не лошадь. Логинова убили. Николай упрекал Крошина в

том, что он не смог узнать, действительно ли появившийся на конюшне парень — писатель или он из милиции. Крошин обещал Николаю выполнить его просьбу и просил меня несколько дней назад, а когда я отказалась — Аня, позвонить в головной розыск.

Вопрос: Крошин давал вам телефон?

Ответ: Нет, не давал.

Вопрос: Что было дальше?

Ответ: Я отнесла в комнату кофе. Николай и Крошин спорили, не стесняясь моего присутствия. Николай говорил о необходимости срочно скрыться и просил у Крошина денег. Тот убеждал Николая, что уходить в нелегалы, он так выразился, глупо, раз напали на след, лучше явиться с повинной. Найдут все равно, а наказание совершенно разное. Николай не соглашался, продолжал просить деньги. Крошин не давал, говорил: во-первых, у меня нет, ты мне и так много должен, во-вторых, я тебе не дам в любом случае, так как это карается по закону. Между ними началась ссора. Николай струсил и отступил. Я заявила, чтобы они немедленно оба уходили, так как я живу без прописки и не хочу попадать в историю.

Вопрос: А раньше вы не понимали, что уже попали в историю?

Ответ: Нет. Я же не знала, что Логинова убил Николай.

Вопрос: А теперь знаете?

Ответ: Да, он сам вчера вечером сказал.

Вопрос: Он говорил о каких-либо подробностях убийства?

Ответ: Нет. Затем в комнату пришла Аня. Она тоже стала уговаривать Николая явиться с повинной. Он отказывался, всячески нас оскорблял, требовал денег. У нас с Аней денег нет, а Крошин сказал: «Денег не дам, мало того, если до утра не явишься с повинной, я первый сообщу о тебе». Николай забрал начатую бутылку коньяка, обругал нас и ушел.

Вопрос: Он ушел один?

Ответ: Да. Мы трое остались. Я хотела сразу пойти в милицию, но Аня и Крошин отговаривали меня, мол, Николай одумается и явится сам, нечестно лишать человека последнего шанса. Мы договорились в десять утра собраться у меня и вместе, если Николай скроется, идти в милицию.

Вопрос: Как вы собирались узнать, скрылся Кунин или явился с повинной?

Ответ: Позвонить сначала на конюшню, узнать, на работе он или нет, затем позвонить в милицию и узнать там.

Вопрос: Во сколько часов ушел от вас Кунин?

Ответ: Точно я не помню, примерно около двадцати трех часов. Мы сидели вместе около часа, затем Крошин и Аня ушли, он собирался отвезти ее домой. Всю ночь я не могла заснуть и в пять утра пошла погулять. Я долго сидела в сквере у здания управления внутренних дел, наконец, решилась и обратилась к дежурному.

Вопрос: Почему вы не дождались десяти часов и своих приятелей?

Ответ: Я боялась, что Аня и Крошин вновь начнут меня убеждать не заявлять в милицию.

Протокол допроса Аны содержал примерно то же самое, только имелось добавление, что в субботу, пятнадцатого июня, к ней утром заехал Крошин, они вышли на улицу, зашли в будку телефон-автомата, сначала Крошин куда-то позвонил, затем объяснил Ане, как надо разговаривать и постараться узнать голос. Крошин набрал номер и передал ей трубку, она говорила, как велел Крошин, но голос

не узнала, ведь слышала она писателя лишь однажды и всего несколько слов. Согласился же она на эту проделку, так как любит розыгрыши, кроме того, ей хотелось сбить спесь с этого парня, уж больно он заносчиво держался. Да, один раз Крошин взял у нее трубку и слушал сам, но лишь пожал плечами, тоже ничего не понял. В понедельник Аня сама вызывалась сходить в редакцию журнала и узнать, работает там Лев Шатров или нет.

Протокол допроса Крошина был значительно обширнее и, кроме фактов уже известных, содержал следующее.

Знакомы Крошин и Кунин около трех лет, близких отношений никогда не поддерживали, изредка обменивались информацией о лошадях. Напподроме подобных знакомых у Крошина множество. Этой весной Николай начал ухаживать за подругой Наташи, они познакомились напподроме. В мае Николай предупредил Крошина, что явный фаворит одного из зеездов разладился и вполне может проиграть. В результате Крошин довольно крупно выиграл, и, когда в начале июня Николай попросил у Крошина взаймы двести рублей, последний не счел возможным отказать.

Он понял, деньги Николаю небходимы для игры, но спрашивая ничего не стал, считал конюхом знатоком скверным, игроком авантюристом, да и не принял выдвинувшее намерение: заочет, скажет сам. Николай молчал. Крошин не спрашивал. Десятого июня, в воскресенье, перед началом состязаний Николай забежал на трибуны, он был чем-то сильно взволнован, от него уже попахивало спиртным, оншел из ресторана, где купил бутылку коньяка. Крошин от выпивки отказался. Николай убежал на конюшню. Зеезды складывались очень интересно. Крошин о конюхе забыл. Когда начался зеезд, в котором участвовал Логинов на Гладиаторе, и Крошин увидел, как странно ведет бег старый наездник, ему показалось, что наездник с конюхом решили «пустить зеезд налево». Крошин мысленно обругал Николая: мог бы и предупредить, ведь деньги на игру получил. Когда же Логинов все-таки выиграл, Крошин посмеялся и забыл, правда, выдача за Гладиатора, которого играл весьпподром, пять рублей, несколько удивила. Двести рублей, поставленные против фаворита, не могли так поднять ставку. Значит, Николай занял не только у меня, решил Крошин, либо конюх подключил к своей ноздорчной машине кого-то еще. В воскресенье Николай на трибунах больше не появился. Крошин надеялся увидеть его теперь не скоро: проигрался парень, денег у него нет, будет скрываться. Николай приехал к Крошину домой вечером в понедельник, конюх находился в сильной степени опьянения и рассказал, что в воскресенье Григорий, так он называл Гладиатора, ударил Логинова по башке и старик окочурился: Крошин не очень верил Николаю, больше тот нервничал, однако не подумал, что конюх мог убить наездника, так как парень казался трусыватым, на убийцу никак не походил. В пятницу, четырнадцатого июня, Николай прибежал на трибуны и сообщил, что на конюшне заявила какой-то парень, выдает себя за писателя, интересно бы узнать, действительно ли писатель или нет. Значит, со смертью Логинова не все чисто, решил Крошин, конюх об этом знает и нервничает. Возможно, наездника пристукинули дружки конюха. Рассудив, что лишнее ему знать совершенно не обязательно, да же вредно, желая лишь вернуть двести рублей, Крошин обещал помочь конюху разобраться в писателе, предпринял попытку, затем решил не вязываться из-за двухсот рублей в историю. Когда вчера Николай, как ошпаренный, прилетел в ресторан «Иль-

подром», где Крошин собирался поужинать, вытащил его из-за стола и прямо на улице начал требовать деньги, говорить о побеге и признался, что наездника Логинова в ссоре по пьяни пристукал он, конюх Николай, Крошин сначала не поверил. Он решил, что конюх вновь хочет выманивать у него определенную сумму, уж очень это казалось настырным, как несерьезен был сам Николай.

В остальной части показания Александра Александровича Крошина совпадали с показаниями девушки. Лева собрал все протоколы в столку и положил перед следователем.

— Николай Тимофеевич, в вашей практике встречались случаи, когда люди брали чужое убийство на себя?

— Бывало, дружок. В моей практике все встречалось, — ответил следователь. — Если бы Кунин явился с повинной, самоговор был бы очень возможен.

— Так вы всему верите?

— Зачем всему? Девочки рассказывают правду.

— Не всю, — сказал Лева.

— Возможно, даже скорее всего, — согласился следователь. — Крошин приукрашивал свою роль в истории с попыткой подкупа Логинова. Однако прищучить его пока невозможно.

— Пока не: конюха.

— Твою задачу я сейчас определяю следующим образом... — Зазвонил телефон, следователь снял трубку, послушал и прятнулся ее Леве. — Тебя, дружок. Девочка эта, светлыняка.

— Наташа? — спросил Лева, прикрывая трубку ладонью.

— Поласковее будь, поласковее, — с удивительной для его габаритов быстротой следователь высокользнул из кресла и снял параллельную трубку.

— Слушаю, — сказал Лева.

— Простите, Лева, это Наташа. У меня к вам огромная просьба...

— Пожалуйста, Наташа, чем могу быть полезен? — Мне очень, очень нужно вас увидеть, Лев. Только, пожалуйста, очень прошу, не в вашем кабинете. Надеюсь, в наших с вами отношениях ничего не изменилось? Или теперь вы уже не имеете права звать ко мне?

Следователь кивнул, Лева изобразил замешательство.

— Не знаю, если вы приглашаете...

— Ну, конечно, буду рада, очень, очень.

Следователь спрятал трубку в ладони и сказал:

— Хорошо, зайду на дни.

— Хорошо, зайду на дни, — повторил Лева.

— Левушка, разве джентльмены так отвечают женщины? Вы должны спросить: «Наташа, когда вы желаете меня видеть?»

— Наташа, когда вы желаете меня видеть? — по-повинуюсь сигналу следователя, повторил Лев.

— Умница. Я желала вас видеть сегодня... — Наташа тихо рассмеялась. — Сан Саныч уже отправился на свои бега.

Следователь кивнул, но Лева взбунтовался и ответил:

— Сегодня меня желает видеть начальство. Давайте ваш телефон, освобожусь, позвоню... Он записал номер, поспешно распрощался и положил трубку.

— Нельзя быть настолько невыдержаным... Следователь тоже положил трубку и начал расхаживать по кабинету, паркет жалобно заскрипел. — Дезица беспокоится, очень даже понятное дело. Прописки-то нет, и не работает. Ты, дружок, соверши краивый поступок, помоги ей устроиться на работу, временная прописка получит.

— На работу ее Крошин сейчас мигом устроит, она меня за дурака...

— Очень выгодная позиция, лично я обожаю, когда меня за дурака принимают, — перебил Леву следователь. — На тебя колпак примериваются, ты его поглубже надвинь. Дураку все простиительно, человек, с дураком разговаривая, сам глупеет.

— Вы знаете, как она меня примет? — спросил Лева и покраснел. — Простите, Николай Тимофеевич, я не обязан пугаться...

— Ну-у, — перебил следователь, налил себе стакан воды, отставил. — Жидкость необходимо ограничивать. Ты девицу из себя не строй, темненькой-то ты голову заморишь. Как ее, Анна?

— Откуда вы знаете? — не выдержал Лева.

— Я такой умный, Лева, самому порой страшно становится. — Следователь выпил воду и сразу достал платок. — Я ужасно умный. — Он промокнул лицо и шею, отдуваясь, забрался в кресло. — Целую с ней, не целуйся, меня не касается. Ты человек холостой. Мне необходимо знать... — Следователь убрал отеческие нотки, Лева тоже сделал официальное лицо. — Первое. Что девицы здесь не договарили. Второе. Твоя Анна может знать, где находятся Кунин. Третье. Чего боится уважаемый Александр Александрович?

— Потому именно Анна? Почему вы решили, что Крошин боится? — спросил Лева.

— Действуйте, инспектор. Лихарева не знает, где конюх, а Аня Плякова может знать. Ясно? Крошин чего-то боится. Чего, я не знаю. Вы узнаете, инспектор. Старайтесь. Девушки в данном вопросе помочь не могут. Сам Крошин, он может помочь.

— Слушаюсь, — Лева направился к двери.

— Минуточку, — остановил его следователь, помялся и сказал: — Ты, дружок, как-то объясни Ко-стю историю с удостоверением. От него скрыться нельзя. Так уж ты сделай старикам одолжение, сам со своим начальством разберись. Договорились? Ну, спасибо.

Константин Константинович высунул доклад, переключил телефоны на секретаря, попросил соединять только с генералом и несколько минут мозгал. Лева сидел на самом краешке кресла, поджав, словно кузенчик, худые ноги, и изучал рисунок на ковре.

— Я виноват перед вами, Лева, — сказал наконец Турилин, — но если вы, коллега, не пересмотрите свою манеру работать, мы серьезно поссоримся, и я вас накажу. Да, я был не прав, когда не поверил вашей версии о телефонном звонке, проверке и прочим рассуждениям. Вы обязаны доказывать свои выводы здесь, в кабинете, а не ставить эксперименты. Мы бы взяли Кунина под наблюдение, но бегали бы сейчас высунув язык, не искали бы иголку в стоге сена. Потому тащищи должны расплакиваться за ваши ошибки! Сколько времени мы теперь истратим на его поиски? Это, знаете ли, обыватель считает, стоит милиции объявить всеобщий розыск, раз-два — и готово. И перестаньте краснеть, честные воры, вы серьезный работник, а не институтка.

Лева встал.

— Как отец покидают? — спросил Турилин и тоже встал, прошел по кабинету, остановился у окна, повернувшись к Леве спиной.

— Спасибо, — ответил Лева, — и мама здоровья. Моя знаменитые родители чувствуют себя отлично.

— Зря петушитесь, — продолжая смотреть в окно, сказал Турилин, — генерал недавно интересовался, тот ли вы Гуров. А с мамой вашей я сам сталкивался. Она лет пять назад нам очень помогла. Попросите рассказать, удовольствие получите. Сади-

тесь, Лева.—Турилин вернулся на свое место и спросил: —Как дальше жить будем?

— Я сам найду Кунину,—ответил Лева,—не улыбайтесь, пожалуйста, высушите меня.

— Какие сейчас улыбки? — искренне возмутился полковник.—Говорите, коллега, я заслуживаю внимания.

Лева изложил свой план. Турилин обдумал его и сказал:

— Предъявите ваше личное оружие.

Лева провел ладонями по пиджаку, словно не знал, здесь пистолет или нет, и развел руками. В отличие от Левы полковник, когда сердился или волновался, бледнел.

— Константин Константинович, я же на конюшне работаю, пиджак снимать приходится,—перешел в наступление Лева.—Сейчас я пистолет и без вашего напоминания взял бы.—Он враз самозабвенно, боялся, что начальник сейчас передумает, и торопливо говорил: —Убийцу ищем, я же понимаю, взрослый человек я, Константин Константинович. Я очень аккуратный и осторожный...

— Лицо задерживать Кунину я вам категорически запрещаю,—прервал Леву Турилин.—Вы меня поняли? Установите его местонахождение, остальное вас не касается.

— Обещать не могу,—ответил Лева и развел руками.—Простите, товарищ полковник, тогда от моего плана лучше отказаться.—Он начал убеждать Турилина, приготовился к длинному разговору, но полковник неожиданно сразу согласился.

Приписав столь легкую победу своему красноречию, Лева позвонил Наташе, предупредил, что скоприю придется, и, взяв из сейфа пистолет, вышел на улицу.

Как только за Левой закрылась дверь кабинета, полковник распорядился, чтобы оперативная группа из районного отделения не выпускала Гурова из поля зрения.

Глава десятая

Наступила ночь. Лева с Аней уже два часа сидели в сквере. Сопровождавшая их оперативная группа расположилась в машине, из которой пустынными улицами и сквером просматривались отлично.

Старший группы — капитан Свиридов — дремал на переднем сиденье, водитель тоже дремал. Молодые лейтенанты Люся Козлова и Виктор Болтянский на блюдали за Гуровым и Аней.

Анна в которой уже раз взяла у Левы сигарету, закурила и устало сказала:

— Да не знаю я, где он, ей-богу, не знаю.

— Не лгите, знаете? —Лева тоже мусолил сигарету, но не зажигал ее.—Я считал вас сильной, а вы трусливый, жалкий человечек. Сказали бы честно: знаю, но вам не скажу — и точка. Правду выговаривать пороху не хватает?

Задумавшая Левой операция, началась прекрасно. У Наташи он пробыл лишь несколько минут, догооворился, что будет звонить, и ушел. Он боялся, что Анна не захочет с ним встретиться, но девушка согласилась.

Два с лишним часа Лева уговаривал Анну сказать, где находится Кунин. В начале разговора он имел психологический перевес, так как с инспектором уголовного розыска девушка разговаривала впервые и терялась. Был момент, когда она уже готова была признаться, и Лева почтывал это, но, видимо, допустил ошибку, и Анна снова замкнулась. Затем прошло время, и она успокоилась. Он пони-

мал, что с каждой минутой теряет позиции, и уже готов был сдаться, когда вспомнил слова своего начальника Трофима Ломакина. Никогда не убеждай женщину логически, часто повторяй старый сибиряк. Давай на психику, на нервы, на честолюбие. Лева предпринял последнюю отчаянную атаку.

— С офицером в ресторане вы нагны и храбры. Официр вам ответить не может. А меня испугались. Нос повесили, бубните одно и то же.

Анна раздвинула сигарету ногой, резко подняла голову, посмотрела в глаза.

— Что, что? — поддразнивал Лева.—Все? Кончились порох в пороховницах? —Он встал и поклонился.—Подайте шашлычка, мадам? Шампанского? —Анна кусала губы, молчала. Лева расхохотался.—Э-э! Беззащитному хамиты! Вы мне нахамите. Вот, мол, знаю, да не скажу. Возьмите меня, франт, за руку, за дадвадать. Слабо, слабо.

— Знаю! — Анна вскочила.—Знаю и не скажу! —Она резко повернулась и пошла по аллее.

Лева смеялся ей вслед и сказал:

— И бегом! — Он не двигался с места, понимал: либо заставит ее остановиться, либо проиграл.—Страшно, аж невмоготу!

Анна остановилась и повернулась.

— Да кто тебя боится? Кто?

— Жанна д'Арк! —Лева вновь рассмеялся, но стоял, девушки не подходит.

Тогда она сделала несколько шагов, пошла обратно, к нему. Лева сел на скамейку, достал сигареты.

— Закуривайте и успокейтесь.

— Что вам от меня нужно? Что вы ко мне пристали? —Она устало вздохнула.

— Коля недавно вам позвонил?

— Позвонил, — с вызовом ответила Анна и повторила: — Позвонил. Только вам я ничего не говорила и больше ничего не скажу. Один на один, недоказуемо. Презумпция невиновности,—выпалила она скороговоркой весь свой запас юридических знаний.

Лева молчал. Он вспомнил огромного следователя прокуратуры и молчал. Сначала Анна смотрела на Леву с вызовом: на-ка, мол, выкиси. Через минуту она отвернулась, а еще позже тихо сказала:

— Ну, я пойду... —и не двинулась с места.

— Один на один вам со своей совестью оставаться сейчас не советую, так как нет у вас никакой презумпции невиновности,—медленно, подражая следователю, скучным голосом говорил Лева.—А есть вина, пока она маленькая, расти да вина будет не по дням, а по часам. Судить вас будут не по кодексу, а по совести. От совести никауда не дешевь. Будет Коля сидеть десять лет, все время вас будет судить. Коля вернется, он судить станет. Он вам любовь, а вы ему подлость и трусость. За что же вы его так? Веснушки у него, недотепа он, конечно. Он вас любит, верит, позовни, помочи искай. А вы?

Анна сидела сгорбившись, при последних словах выпрямилась, спросила:

— А мне? А мне выдать его?

— Липкое словечко подобрали.—Лева заметил, как Анна украдкой взглянула на свою ладонь, где были написаны какие-то цифры.—Позвоните: дозвать пять, тридцать четыре...

Анна отдернула руку. Последние две цифры стерлись, но Лева уверенно сказал:

— Прекратите цирк. Я могу позовнить дежурному по городу, назвать номер, через минуту установят адрес, через пять там будет оперативная группа. Вместо явки с повинной — арест. Наказание удваивается.

Анна плакала. Лева закурил. Наконец девушка поднялась, они вышли из сквера, остановились у телефонной будки.

— Что я ему скажу, ну что? — Ана всхлипнула.

— Соедините меня, я поговорю сам, — ответил Лева.

Ана послушно вошла в будку, набирая номер, всхлипывала и бормотала:

— Он не как вы, он хороший, добрый... не убивал он никого... Алло? Коля? Нет! Ана это, Ана. Позвоните, пожалуйста, очень, очень прошу... Она разрыдалась, и Лева забрал у нее трубку.

— Анютка? — услышал Лева мужской голос.

— Здравствуй, Николай, говорит инспектор уголовного розыска Гурвич. — Лева говорил громко, четко выговаривая слова. — Я мог бы просто арестовать тебя, но решил сначала поговорить.

— Анютка, за что? — пробормотал Кунин, Лева перебил его.

— При чем тут Анютка? Я знаю твой телефон, знаю, знаю адрес. Зачем тебе арест, Николай Думай, ты же мужик, черт тебя подери! — Чувствуя растерянность и нерешительность Кунина, Лева говорил жестко, не давая тому помянуться: — Оденься и выходи на улицу. Сейчас же оденься и выходи на улицу. Ты хочешь, чтобы у людей, которые тебя приютили, были неприятности? Оперативная машина в трех кварталах от вашего дома. Я хочу тебе добра, Николай. Нина Петровна, Михаил, все хотят тебе только добра. Ты понял меня?

— Все равно вы арестуете меня, — ответил Кунин, — там или здесь? Какая разница?

— Я не арестую тебя, Николай. Даю слово, что я не арестую тебя, — сказал твердо Лева. — Выходи, я тебя встречу, и мы поговорим. Ты понял?

— Хорошо. Только не у дома. Я не хочу, чтобы видели.

Лева облегченно вздохнул. Как определить место встречи, не выдав, что адрес Николая неизвестен? Лева вспомнил первые цифры номера. Двадцать пять, значит, Пролетарский район.

— Николай, подойди к зданию цирка. Тебе ведь недалеко.

— Рядом, — тяжело выдохнул Николай.

— Знаю, что рядом. Только не валяй дурака, — сказал Лева.

— Чего уж теперь. Через десять минут буду.

Лева повесил трубку и побежал. От того места, где он сейчас находился, до цирка было совсем не рядом. Назначая встречу, этого он не учел.

Аня бежала вместе с ним. Леза забыл про девушку. Она скинула туфли, размахивала ими и спрашивала:

— Куда? Куда, где он?

Машина с опергруппой двигалась следом. Капитан Свиридов проснулся, вытер ладонью широкое лицо и сказал:

— Во даст, коллега.

— Может, подвезти его? — спросил водитель.

— А мы побежим? — Свиридов усмехнулся.

Прости, возраст не тот. — Он увидел человека, который запирал «Жигули», и сказал: — Притормози, — вылез из машины, хлопнул молодого мужчины по плечу. — Здравствуйте, уголовный розыск.

— Здравствуйте, — отворачиваясь, ответил хозяин «Жигулей».

— Сделайте одолжение — Свиридов заглянул мужчине в глаза. — Смотрите, видите, двое бегут? Догоните их, подвезите, куда они попросят. И ни гу-гу. Ясно? Тогда я стану проверять, чест от вас пахнет.

Мужчина испуганно кивнул, сел за руль и рванул с места.



Анна начала отставать, когда ее обогнала машина, взвизнула тормозами и водитель громко спросил:

— Тренируетесь или куда надо? Подвезу.

Лева молча прыгнул в машину, втащил Анну и, задыхаясь, сказал:

— Цирк.

— Это уж точно,— ответил водитель.

— Повезло,— Анна откинулась на сиденье,— как нам позззо.

— Это уж точно,— повторил водитель, глядя в зеркальце на «Волгу», которая шла следом.

Когда они остановились у здания цирка и Лева полез в карман, водитель запротестовал:

— Никогда. Дружеская услуга.

— Большое спасибо,— Лева вышел из машины, помог вылезти Ане, оглянулся.

— Пожалуйста,— водитель резко развернулся и мимо «Волги» рванул назад.

Лева с Аней успели отдохнуться, когда с противоположной стороны улицы к ним направилась темная фигура. Человек попал в свет уличного фонаря, и Лева узнал Кунина. Конюх двигался медленно, еле ноги волочил. Анна хотела пойти на встречу. Лева ее остановил:

— Сам, пусть он подойдет сам.

Кунин поднялся с афиши, на которой был изображен атлет. Его богатырские плечи и театральная улыбка резко контрастировали с жалкой, по-нищей фигурой конюха.

— Пришел, богатырь! — Лева демонстративно сунул руки в карманы.

— Гришель! — Николай взглянул на Аню. — А ты...

Он не успел договорить, рядом остановилась «Волга», через секунду капитан Свиридов и лейтенант Болтнянский держали Кунина за руки.

— Что это? — Анна закрыла ладонями лицо.

— Уголовный розыск,— спокойно ответил Свиридов. — Кунин Николай Васильевич, вы задержаны.

— Стоп! — Лева стоял, подняв пистолет.

— Лейтенант Гурв, я...

— Не знаю,— резко прервал Свиридова Лева,— отойдите оба сюда.

— Дурак,— пробормотал Свиридов, но к стене отошел.

Анна, проверьте у него документы,— командовал Лева.

Аня подошла, посмотрела предъявленное ей удостоверение и прочитала:

— Капитан милиции...

— Даите сюда,— Лева взял удостоверение, проверил, вернулся Свиридову. — Извините, товарищ капитан, служба. — Он убрал пистолет и, хотя отлично все понимал, спросил: — Что произошло?

Кунин остался под охраной лейтенанта, капитан с Левой отошли в сторону.

— Выполняю приказ, я все это время сопровождал вас,— сказал капитан. — Теперь, когда убийца задержан, это уже не имеет значения. — Он внимательно смотрел Леве в лицо, чтобы не поднigивал, явно предполагая ударить по рукам и покончить дело миром.

— Я выполняю приказ полковника Турилина. Найти Кунина и склонить его к явке с повинной,— ответил Лева. — Не мешайте мне.

— Я обязан охранять вас, лейтенант Гурв...

— Выполните свое задание и не мешайте мне выполнять мое,— перебил Лева.

Капитан смотрел в глаза, но взглядом не встречался.

Как ему это удавалось, неизвестно.

— Лев Иваиович,— ухмыляясь, произнес он миролюбиво. — Убийца найден вами — задержан вами и нами. Договорились?

— Нет,— Лева отрицательно покачал головой, жестом подозвал Аню и Николая. — Ко мне обратилась студентка университета Анна Полякова и сказала, что ее звонил ее знакомый Николай Кунин. Он просил ее помочь встретиться со мной, чтобы явиться в милицию с повинной. — Он посмотрел на Аню и Николая. — Так это было или не так?

— Так. Слово в слово,— ответила Анна.

Николай продолжал смотреть себе под ноги.

Свиридов молча повернулся и направился к машине. Сев рядом с водителем, он подождал, пока сядут подчиненные, и сказал:

— Солляк, дурак герцог!

— Гурв молодец,— возразила девушка,— ему с Кунином еще работать.

— Много ты понимаешь...

— Мы понимаем, что хорошо и что плохо, тоза-риц капитан,— вмешался в разговор лейтенант.

— Домой, товарищ капитан? — спросил водитель.

— Домой? — Свиридов откашлялся. — Мы обязаны охранять этого... — он чуть было не выругался, — этого... Гурэва.

— Значит, за ними? — равнодушно спросил шофер и двинул машину вдоль тротуара, по которому шли Лева, Анна и Николай.

— Все так и напишешь,— говорил Лева,— ты меня понял?

— Понял,— ответил Кунин.

— Скажи человеку спасибо,— Анна дернула Кунина за руку.

— Спасибо,— послушно сказал Николай и махнул рукой. — Больше, меньше — какая разница

Всю ночь Гурв беседовал с Кунином, но ничего нового установить не сумел. Конюх твердил упрямое: ударил спяни, ни о каком тотализаторе понятия не имею. В чем виноват — виноват, больше добавить нечего.

Утром они вместе позавтракали в буфете управления, затем приехали в прокуратуру. Следователь попросил Леву зайти чакиса через три и отпустил его.

Теперь следователь, конечно, вытащил из Кунина все, рассуждал Лева, направляясь на исподром. Наивный, несколько растерянный взгляд, добродушная улыбка, недотела в каждом движении — неужели все притворство? Играет Кунин или он такой на самом деле? Видимо, он убил Логинова. Видимо, рассуждал Лева. Сомнения он оставил для Константина Константиновича, который терпеть не мог категоричности, пока следствие не закончено.

Можно построить две версии.

Кунин лишь изображает простачка. Цель ясна. Поняв, что на него, как говорится, вышли, он пытается свести все к непредумышленному преступлению, без заранее обдуманного намерения. Плюс явка с позицией.

Кунин действительно трусливый, беззлобный парень. Тогда провисают билеты тотализатора и более чем странный звезд Логинова перед убийством. Непомерно высокая выдача за фаворита Гладиатора. Однако, если Кунин такой, каким он выглядит, ему не придумат столь хитрой в своей простоте истории и уж тем более не взять чужой вины на себя. Все было так, как он рассказывает, а билеты и звезд — хвост другой истории, которая пока никому не известна. Убил Кунин, но Крошина выбрасывать из дела еще нельзя. В этом Лева уверен. Каким-то краем Крошин здесь замешан.

Утром, когда Лева доложил результаты, Турилин, делая строгое лицо и не скрывая при этом, что доложен, сказал: даа дня на отых, коллега. Полковник

терпеть не мог слово «отгул». Рабочий день не нормированный, переработки быть не може, и отгуливать не за что. Отдохнуть же человеку иногда надо. Сейчас Леза чувствовал себя вольготно, хотя доказо не все в проделанной работе ему нравилось. Крошин пока остался в стороне. У Лезы было такое ощущение, словно боль прошла, а гнилой зуб остался. Вот-вот она всхлопнет с новой силой, лечить зуб поздно, только удалять.

Через служебный вход на ипподром он прошел уверенно и уже через несколько шагов оказался как бы за городом. Одноэтажные длинные здания конюшни, запах сена, земли, фырканье лошадей, стук их копыт. Главное же, неторопливость и обстоятельность окружающей жизни деликатно успокаивающие. Пистолет Лева снова оставил в сейфе, и сейчас снял пиджак и набросил его на плечи. Он неизвестно почему пошел медленней, чуть вразвалочку. Вот и трансформация Григорьев. Сумрачно и прохладно. В проходе никого, из дневника доносятся уже знакомые звуки: шаги, склонение, глухой удар в деревянную перегородку. Лева просунул руку сквозь прутья, похлопал Гладиатора по шелковистому крупу, рысак повернулся, ткнулся мягкими губами, обнажил зубы.

— Балуй! — Лева шлепнул его по губам, — нет у меня сахара, Григорий.

Рысак, обиженный, отошел в угол. Лева с удивлением смотрел вдоль пустой конюшни, прошел дальше, заглядывая в дневники. Рогозин и два молодых наездника сидели в комнате Григорьевой, — она стояла, увидев Леву, перестала говорить.

— Здравствуйте, — Лева поклонился, хотел протянуть руку, но неожиданно почувствовал, что этого делать не стоит. Я помешал? — он не смотрел на Нину, обращался к Рогозину.

Старый конюх исследовал его ботинки, брюки, плечи и грудь, упрялся в глаза.

— Присаживай! Что скажешь?

— Не понимаю, — Лева развел руками, взглянул наконец на Нину и только тогда сообразил, что здесь уже известно об аресте Кунина и сейчас это событие обсуждалось.

— Ты что же, сучонок, надзирал? — Рогозин поднялся. — Ты кого в смерти Лексикона винишь, сучки?

Лева залился румянцем, Нина резко сказала:

— Михаил Яковлевич, сейчас же...

— Не надо, — перебил ее Лева, отстранил воинственно выпяченную грудь Рогозина, неторопливо повесил пиджак на спинку стула и сел. — У меня мама не собака, Михаил Яковлевич, а женщина, доктор наук, извините за нескромность.

От такого буквального толкования слов Рогозина, главное же, от укоризненного тона всем стало неудобно. Лева перехватил инициативу и продолжал:

— Кунина никто не арестовывал, даже не задерживал. Он явился с позиции сам. Я не люблю, когда мне не верят, но желающие могут с Куниным сегодня увидеться на личном.

— Серьезно? — спросила Нина обрадованно.

— В таких вопросах я не шучу, Нина Петровна, — сухо ответил Лева. — В свободное время объясняет своим сотрудникам, что с работниками милиции рекомендуется разговаривать в ином тоне. В противном случае вам придется искать не одного конюха, а дзюк.

— Испугал. — Рогозин снова поднялся. — Двухлетка, к столбу скакет.

Лева не обращал на него внимания, смотрел на Нину. Девушка молчала.

— Вы меня поняли, Нина Петровна? — Он повернулся к Рогозину: — Нехорошо, Михаил Яковлевич. Стыдно.

И столько убежденности было в словах Гуроза, что Рогозин сгущулся, махнул рукой и хотел выйти. Лева его остановил:

— А извиняться за вас Нина Петровна поручаете?

Рогозин повернулся и забормотал:

— Прости, прости, не со зла я, с обиды, — и быстро вышел.

— Вот как, бывает, ребята! — Лева сказал так, словно разговаривал с детьми. — Уж так мне скверно, слово не.

— Но мог Колька чепозека убить, — не поднимая головы, сказал Петр Темин. — Верно, Нина Петровна?

Нина ему не ответила, посмотрела внимательно на Лезу и спросила:

— Кофе сварить, Лев Иванович?

— Спасибо большое, Нина Петровна. Покрепче, пожалуйста.

Нина включила плитку, взяла кофемолку. Молодые наездники встали.

— Приборы, Нина Петровна? — спросил Темин.

— И горнички Лизы на грудь поставьте. Пять-надцать минут.

Когда ребята вышли, Нина взлохмачила Гурозу волосы. Он задергал ее руку, прижался щекой, поцеловал щершавую ладонь. Кофе пили молча. Нина смотрела на бледное лицо Лезы — его голубые глаза стали еще больше, — все хотела сказать, что пора идти умом домой и высматриваться, но не решалась. Уж очень это прозвучало бы сентиментально, да и какое она имеет право на подобные советы, он наверняка не послушается, сделает по-своему. В комнате появился Рогозин, в костюме, с влажными и тщательно причесанными волосами. Он тихонько сел и сказал:

— Переодевайся, Нинок, к Кольке пойдем. — Он кивнул Леву на дверь.

Они вышли, подождали, пока Нина переодется, и направились в прокуратуру. Лева не был уверен, что следователь разрешит свидание, и по дороге позвонил по телефону. Следователь молча выслушал его путаные объяснения и ссыпал разрешил, сказав, что Куний все еще здесь, в кабинете, они саканизывают и ждут гостей.

Увидев Рогозина и Григорьеву, Куний сначала вскочил, затем плюхнулся назад в кресло, съязвил. Следователь выбрался из-за стола, поклонился, прещедший руки, пригласил садиться. Только Лева оценил значение данного факта. Рогозин сел напротив Кунина, привычно с ног до головы оглядев его и сказал:

— Рассказывай! — Он держался как хозяин в этом большом, строгом кабинете.

Следователь не занял своего места, а продолжал стоять и взялся за графин с водой.

— Как же это, Коля? — спросила Нина. — Не верю я, ты не мог...

— Придержи, Нинок, — строго остановил ее Рогозин, нацепил свои очки в металлической оправе, наклонился к Кунину. — Ты или нет?

Куний несколько раз молча кивнул.

— Я, — выдавил он с трудом.

Рогозин снял и протер очки, покачал головой и неожиданно горячо заговорил:

— Не мог ты, Никола. Никак не мог. Их, — он кизнул на следователя, — обмануть можно. Мэзя, старого, можно. Лошадей обмануть нельзя. Они же твою доброту чуют. Уговорили тебя здесь, запугали, скажи. Я ничего не боюсь, до Центрального Комитета дойду.

Лева хотел остановить старого конюха, но следователь пригрозил ему пальцем и довольно кивнул.

— Ты не бойся, парень. Тут же ясное дело,—продолжал Рогозин,—им убийцы нанести необходимо, ты подвернулся, тебя и запягли. Мне, старому, правду скажи. Ну?

— Не надо, Михаил,—ответил Кунин.—Никто меня не запрягал. Сам я, все сам. Убить меня мало. Все вода.

Следователь взял со стола протокол допроса, протянул Рогозину.

— Может прочитать.

Старый конюх надел очки и начал медленно читать. Остановившись, смотрел на Кунина, качал головой. Прочитав лист, Рогозин протянул его Нине. Лева со следователем отошли к окну. На вопросительный взгляд Гурова следователь ответил:

— Он врать не умеет. Совершенно. Говорит только правду. Горе-то какое, горе. Ведь хороший парень, добрый.

— Хорошие и добрые люди не убивают,—сердито ответил Леза.—Нашли кого жалеть.

— Тебе не жалко?

— Нет!

— Меня профессию, Лев Иванович. Настоятельно рекомендую, меняй. Иначе разберутся в тебе и выгнют.

Следователь смотрел сердито, даже зло. Лева сначала растерялся, потом, взяв себя в руки, ответил:

— Без рекомендаций обойдусь, уважаемый Николай Тимофеевич. Я по делу вам больше не нужен!

— Вы мне такой и по делу и без дела не нужны,—переходя на «ты», сказал следователь.—Сейчас возьмите Кунина, понятых и выведите с ними к Кунину домой. Изымите у него пиджак, в котором он был в тот вечер, и найдите подкову. Он заборсил ее где-то неподалеку от своего дома. Вы мне данную подкову найдите обязательно.

— Постараюсь, Николай Тимофеевич.—Лева отшатнулся.

Следователь извлек свой огромный платок, вытер лицо и шею, тяжело шаркнувшись к столу. Рогозин закончил читать, уже не смотрел на Кунина, встал.

— Я его, мерзавца, тогда в сбруйной попонкой прикрыла, чтобы не видали пьяного. Убийца вроде спрятал. Бывайте.—Он протянул следователю корявую ладонь.

— До свидания, Михаил Яковлевич.

— Дайзайт без свиданий.

— На суде-то встретимся.—Следователь покаял Рогозину руку.

— Торьма, значит,—утвердительно сказал Рогозин.

— Торьма, конечно,—согласился следователь и обратился к Нине: — Нина Петровна, мне нужна характеристика на Кунину.

— Хорошо.—Нина встала и неожиданно протянула Кунину руку.—До свидания, Коля. Страшное ты дело сделал, не прошу у тебя.—Кунин вскочил, не решительно пожал протянутую руку.—Ты парень слабый, не свинчись там.—Она кинула на окно.—Вернемся, приходи. Я тебя на работу возьму.

Кунин плакал, все не отпускал ее руку, хватался, хватался, как утопающий. Он прощался, прощался, прощался...

— Копи жив буду, дождусь тебя.

Рогозин Кунину руки не подал.

Гуров выполнил указание следователя, взял пиджак Кунина, отыскал подкову. В научно-техническом отделе провели соответствующие экспертизы, кото-

рые обнаружили на правом рукаве пиджака замытые остатки крови. На подкове тоже нашли кровь. Уголовный розыск свою миссию выполнил, дело продолжало прокуратура. Кунина арестовали. Окнидя суда, он находился в городской тюрьме. Из Москвы прибыло теперь уже не нужное уголовное дело, по которому три года назад проходил Крошин. Дело хотели направить обратно, но полковник Туркин не разрешил, приказал Гурову со всеми материалами внимательно ознакомиться. Не сейчас, так через год мы столкнемся с этим Крошиным, считал полковник. К встрече необходимо подготовиться.

Глава одиннадцатая

Kогда Лева вернулся в группу, братья Птицыны приветствовали его стоя. Ломакин похлопал по плечу и коротко спросил:

— Дозолен?

— Нет.

— Что так? — поинтересовался Ломакин.

Лева положил на стол прибывшее из Москвы пухлое дело. Ломакин взглянул на обложку, стал копаться у себя в столе, наконец извлек оттуда конверт и молча протянул. Он был молчуном, Трофим Васильевич Ломакин. Лева прочитал письмо, которое Ломакин получил от своего товарища из Московского уголовного розыска: «Крошин сволочь, каких я в жизни не встречал. А ты мою жизнь, Трофим, знаешь. Крошин умен, хитер, хладнокровен. Если у тебя есть против него хоть что-нибудь, цепляйся и держи. Не торопись, только не торопись, иначе уйдет. Если ты его возьмешь, буду твоим должником до конца грешных дней своих. Доказательства не имею, но убежден, что у Крошина есть вилюта, ценные и деньги на сумму что-нибудь около миллиона. Если ты его «кокиплику» найдешь, Крошину петля. Мы его заберем к себе и докажем все его дела по Москве. Именно из-за этих денег и молчаливые сodelники Крошина, не дали против него показаний, видимо, рассчитывают получить свою долю после освобождения. Если деньги выплынут, конечно, все заговорят, и Крошину конец. Старайся!»

Лева вернул Ломакину письмо, покаял плечами.

— Читай, работай,—Ломакин указал на папку,—это твое дело.

— А магазином опять мы будем заниматься? — чуть ли не хором восхлинула братья Птицыны.

— Перебьетесь, — ответил Ломакин, усаживаясь за свой стол и давая понять, что разговор окончен.

Анатолий Птицын, отлишившийся от своего брата родинкой над левой бровью, подошел к Гурову, ткнул пальцем ему в грудь и произнес речь:

— Ты, Лев Гуров Синичкин, пробрался в любимчики. Ты стал пенкнисмителем, залазишь и превращаешься в обыкновенного карьериста. Когда ты станешь генералом, не забудь, что слоничики тебе повязывали бескорыстные труженики,—он указал пальцем на брата и себя.—Ты идешь к слезе по нашим хрупким костям.—Анатолий сделал шаг назад и быстро спросил: — Когда свадьба?

Лева оказался на высоте, не покраснел, даже не смущился.

— Не надо завидовать таланту. Несите свой крест достойно, — ответил он.—В отношении свадьбы вас нагло дезинформировали, так как я убежденный женоненавистник.

— За дачу ложных показаний...—Анатолий щелкнул пальцами, протянул руку. Брат вручил ему конверт. Анатолий положил конверт перед Ломаки-

ным.—Взгляни, Трофим Васильевич, какого змея взрастыл на груди своей.

Трофим вынул из конверта несколько фотографий, начал разглядывать. Лева не знал, что предпринять. Розыгрыш или нет? Пока он раздумывал, Ломакин просмотрел все фото и грустно сказал:

— Врешь, значит. И ты врешь, Лева. Нехорошо,— он специально употребил любимое выражение Гуро.

Лева не выдержал и покраснел.

Ломакин поднялся, взглянул на часы и сказал:

— Поехали, братишки.

— Конечно, нам, бездарностям, жуликов искать надо,— сказал Анатолий.

— Убийства, сложные, запутанные дела расследуют молодые таланты,— поддержал его брат.

Проходя мимо Левы, Ломакин бросил на стол конверт и посторонился:

— Нехорошо, Лева.

Когда смех и шаги за дверью стихли, Лева залунул из конверта фотографии. Смеющаяся Нина. Он, Лева, стоит потупившись, почему-то держит себя за мочку уха. Нина и Лева идут по скверу, и у него до неприличия восторженный вид.

Лева отложил карточки. Вот черти. Как они ухтирились?

Гуро до позднего вечера читал дело, по которому проходил три года назад Крошин. Когда на видишь людей, не слышишь их голоса, интонаций, а читаешь лишь сухие протоколы допросов, разобраться в ситуации весьма сложно. Ясно одно, что группа ваньчиков была задержана в Москве три года назад. Размах их операций был достаточно широк. Пятеро сознались Крошину, безусловно, был в группе, но против него никто из арестованных показаний не дал. Обыск на квартире Крошина результируя не дал. Его опознал лишь один иностранец, но очная ставка успеха не имела. Крошин все отрицал. Денег и взятки у преступников изъяты крайне мало, хотя образ их жизни доказывал, что все располагают огромными средствами. Крошин был казнечеем — только так можно объяснить поведение ваньчиков на следствии. Признае свою вину и дружно изблизи друг друга, Крошина все выгораживали. Причины? Не хотят терять «княжескую» капиталью. Главное же, арест Крошина и изъятие у него крупных, видимо, очень крупных сумм влекли за собой отлагающиеся обстоятельства, вплоть до высшей меры наказания.

Гуро сидел с звоном в кабинете до позднего вечера не только потому, что читал и перечитывал материалы. Лева с нетерпением ждал звонка следователя. Как пропадает дело Кунина? Взде билеты тотализатора в имеющихся материалах никак не вспыхиваются. Как они появились на месте преступления? Самоговор? Такие случаи встречаются: если двоим преступникам грозит неминуемый прозал, всю вину берет на себя один. Наказание одному меньше, и добыча остается у напарника. Оговаривать же себя Кунину нет никакого смысла. Да и человек он для такого дела совершенно неподходящий. Кунин говорит правду. Но если он говорит правду, при чем тут билеты? Как объяснить поведение Логинова перед смертью? Этот странный звезд и все, что говорил Гоголин?

Лева сидел, глядя на пустую стену, и думал, думал. Непрерывно шел по замкнутому кругу. Как ни пытались, вырваться из него не мог. Следователь позвонил и предложил заглянуть к нему на досуге в ближайшие тридцать минут.

Отдышавшись в коридоре, Лева вошел в знакомый кабинет.

— Маленькая неувязочка у меня произошла, решил посоветоваться,— сказал следователь.— ПРИятель-то наш, Кунин, левый оказался. Понял, какая неприятность? Друг ты мне, Левушка, но истина дороже. Ищи преступника.

— Как левша? — Лева смотрел с недоверием.— Я видел, как Кунин расписывался.

Следователь вышел из-за стола. Большой, сильный и энергичный, он начал рассказывать по кабинету, говорил коротко, рублеными фразами:

— Кунин левша, правой линией пишет. Он уверяет, что ударил Логинова левой. Удар же был на несенной правой. Кровь на правом рукаве.

— Вреш, значит, — не выдержал Лева.

— Тут, дружи, еще один моментик образовался.— Следователь заговорщики подмигнул, и, не глядя на кипы бумаг, выдернул один лист.— Прочти-ка, товарищ инспектор уголовного розыска.

Лева взял бумагу — это было заключение экспертизы: кровь на рукаве пиджака Кунина была третьей группы.

— Понял? — Следователь смотрел торжествующе.— А у Логинова вторая группа. И из подковы вторая группа. У Кунина первая группа.

— Чья же кровь на пиджаке? — Лева присел на ручку кресла.

— Ох, какой шустрый! — Следователь рассмеялся, трясясь огромным телом, чуть ли не слезы вытирая.— Убийцы это кровь, убийцы,— быстро сказал он.— Кунин-то невиновен.— Он хлопнул в ладоши.— Понял, щычик?

Следователь ликовал, он чуть ли не пел, схватил руку, накрал номер и спросил:

— Где Кунин? Уехал?

В двери тихонько постучали.

— Входи, тезка! — грозно рявкнул следователь.

Кунин застрял на пороге, пересекая себя и вошел.

— Здравствуйте! — еле выговорил он.— Меня отпустили Главное, не убивал я, не убивал.— Кунин проутянул дрожащие руки.— Все перепуталось в голове. Сны вижу, о яви не отличаю. Теперь жить можно. Просто жить и работать. Счастье-то!

— Хорош? — Следователь обошел вокруг Кунина.— Обыкновенный человече. Видал? — Он любовался конюхом, словно произведением искусства. Взял его за плечи, усадил в кресло.— Удобно? Свободно-то сидеть удобно? — поднял его, толкнул к дверям.— Марш в коридор, вызову.

Когда Кунин неслышно прикрыл за собой дверь, следователь уже серьезно сказал:

— Вот поработашь с мозгами, Лева, поймешь, что невиновность человека доказать куда как приятнее, чем самого опасного преступника изобличить. Чуть ли не сорок лет я работал, все туда и туда отправлялся. Преступники, мерзкие людишки, а на душе все одно нехорошо. Такие праздники, как сегодня, редко случаются.— Он еще раз прошелся от окна до двери, занял свое место за столом, поворочался, вновь привычно повздыхал.— Ну, дружи, праздник кончился, давай работать.— Следователь ловко выхватил из груды нужный документ, взглянул на него, бросил обратно.— Когда я выяснил, что Кунин левша и группа крови не совпадает, я решила по старинке — плясать от печки. Успокоил я конюха и подорбонько допросил. Только спрашивал я его не о том, что он делал в воскресенье, то есть в день убийства. Расспрашивал я его о понедельнике, вторнике и так далее. Меня интересовало, где он был, с кем встречалась после убийства.

Лева сидел напряженно и смотрел на пустое кресло напротив. Кто должен сесть в это кресло? Лева

догадывался, знал, но старался не думать, только слушать.

— В понедельник вечером, на следующий день после убийства,— начал свой рассказ следователь,— после допроса в этом кабинете Кунин направился, как ты думаешь, к кому?

— К Крошину и рассказал о случившемся.— Лева не сводил с кресла глаз и увидел в нем Крошина. Сан Саны сидел не развалившись, но и не напряженно, смотрел пытливо, спокойно, чуть-чуть на-смешливо улыбался.

— Пришел Кунин к Крошину, рассказал печальную историю, признался, что крепко пытался и ничего не помнит. Принял Крошин конюха нелюбезно, а выслушав, вдруг к столу пригласил и конька поставил. Выпили они, Кунину жарко стало, и Крошин любезно предложил принять ванну. Очень Кунин удивился, но хозяин чуть ли не с силком его в ванну засунул. Затем снова к столу сели, еще выпили. Кунин все уходил порывался, однако хозяин не отпускал и оставил ночевать. Поехал на Крошину?

— Абсолютно нет,— ответил Лева.

— И я так думал,— согласился следователь.— Утром выпили кофе, Кунин благодарили и прощаться начали, а Крошин ему, как бы между прочим, и сказали: не мое это дело, но ты руках у пиджака простири на всякий случай. Смотрят Кунин, а на подкладке правого рукава темные пятна, кровь вроде бы. Он оправдываться стал, хозяин его к двери ведет, слушать не хочет. Не знаю, не интересуюсь, говорит, что твое — твое, а мое — мое. Утром в среду Кунин в робе подкову обнаружил и от страха «вспомнил».

— Тут я на конюшне появился,— вставил Лева.

— Именно. Конюх к Крошину за советом, тот откращивается, ни к чему мне это. А линию свою ведет последовательно: не трусь, все обойдется, не найдут тебя. Кунин совсем ошелел от страха, начал подробности «вспоминать», а когда твое удовольствование увидел, побежал.

— Я невиновного явиться с повинной вынудил,— сказал Лева.

— Пока мы с этим обротом не разобрались, на Крошина не вышли бы.

— Как дальше жить будем? — повторил Лева любимую фразу следователя.

— Чего опасался, то и произошло. Преступник есть, а где доказательства? — Следователь пятерней потер голову. — Прежде чем огород городить, надо свои предположения для себя же фактами подкрепить. Обсудим...

Когда Лева пришел на конюшню, Рогозин раздавал лошадям «кашку», буркнул что-то и продолжал работать. Не обскуриканный столом холдымским приемом, Лева остановился и весело спросил:

— Как здоровье, Михаил Яковлевич?

Рогозин таскал ведра от денинка к денинку, не отвечал. Лева начал помогать, но конюх оттолкнул сердито.

— Не балуй! — Он разогнулся, ткнул пальцами Леву в грудь. — Лучше уйди.

Сегодня Лева ничто не могло ни смутить, ни обидеть. Он рассмеялся, схватил два полных ведра, убежал в противоположный конец конюшни, задал корм. Так он и бегал с ведрами, пока все лошади не получили своей порции. Сидя у себя в комнате, Нина составляла график тренировок. Пробегая мимо открытой двери, Лева крикнул:

— Добрый день, Нина Петровна!

Нина его не видела, но голос узнала. Радость какая-то у Левы, поняла она и стала ждать. Лева бро-

сил зевда, схватил Рогозина под руку, привел к Нине в комнату, закрыл дверь. Тяжело отдуваясь, он прислонился к косыря. Рогозин смотрел недоверчиво, Нина вопросительно.

— Колька, ваш, оборот, невиновен и уже освобожден,— Лева выглянула в коридор, вновь плотно прикрыла дверь.

— Как невиновен? Не понимаю,— Нина поморщилась, кончиками пальцев провела по лицу, словно снимала прилипшую паутину.

— Сядь, стригун, обьясни толком,— сказал Рогозин.

— Николай сам сказал, мне сказал.

— Объяснять не буду, не имею права,— ответил Лева.

Нина, не обращая внимания на присутствие конюха, обняла Леву и крепко поцеловала его.

— И за меня, Нинок,— хихикнул Рогозин.

Нина на мгновение прижалась к Леве, отстранившись, деволово сказала:

— Работать, сегодня от нас четыре лошади в при- зу.

Хмель радости прошел, и Рогозин спросил:

— А дальше? Кто за Лексеича ответ нести будет?

— Найдем, если поможете, конечно,— Лева повесила пиджак, засучив рукава, словно сейчас же собралась идти на поиск преступника.

Началась подготовка к бегам, Нина с помошниками уехала на разминку. Лева с Рогозиным остались одни. Подготовив четвертую лошадь к соревнованиям, они закурили, сели на лавочку у конюшни.

— Михаил Яковлевич,— начал Лева и с удовольствием отметил, как конюх повернулся, приготовился слушать,— вы мне рассказывали, как когда-то наездники давали деньги, заставляли специально проигрывать.

— Было,— согласился Рогозин.

— По нашим данным, убийство совершил кто-то из завсегдатаев ипподрома.— Лева лукавил, не сказал, что убийца почти найден.— Где, как и когда преступник мог встретиться с Логиновым и предложить ему сделку?

— Лексеич на такое дело не пойдет,— сразу ответил Рогозин.— Болтают о нем, все брехня, я-то знаю.— Конюх говорил об убитом наезднике, как о живом.

— Он и не пошел,— сказал Лева.— Однако последний его заезд помните? За фаворита Гладиатора пять в ординаре платили. Почему? Кто-то против него крушно играл. А мог Логинов на Гладиаторе прогройт?

— Ни в жизнь.— Рогозин даже сплюнул.

— А кто-то, Михаил Яковлевич, считал, что Логинов проиграет,— наставила Лева.— Вспомните, вы мне сами говорили, что Логинов на себя поставил, чего раньше не бывало, отдавая вам билеты, скажали... как он сказал?

Рогозин задумался, потом медленно произнес:

— «Мне сегодня полагается, жулье учить надо. И вроде того: напомним некоторым, кто мы такие есть.»

— Вот-вот. Предложили ему деньги, Михаил Яковлевич, поверьте мне, предложили,— убеждал конюх Лева.

— Лексеич бы того прохвоста вдоль спины и к чертовой матери,— возразил Рогозин.

— Так иначе было, сами видите,— не сдавался Лева.— Как, где и когда такой разговор произойти мог?

— В субботу, только в субботу,— ответил Рогозин.— Нинок ему в пятницу сказала.

— Хорошо, в субботу,— Лева кивнул.— Где и как?

— Покупали Лексеича, значит, покупали, сушки дети,— бормотал Рогозин.— По моему уму, если



такое дело было, то так...—Рогозин, глядя в землю, будто видя сквозь нее, начал рассказывать:—Зашел в субботу после работы он в ресторан выпить. Каждый день заходит, все знают. Известное дело: здрасте — здрасте, кто узнал, к столу зовет. Он налево повернулся, в дальний угол за служебный сел, на людей внимания не обращает, пиво пьет. Тут, полагаю, и подсели к нему. Один подсели, вдвоем такие дела не делают, и сказал между делом: «Слышишь, ты, мастер, завтра на Гладиаторе едешь?» Лексенчук кивнул, пиво пьет. «Может Гладиатор програть?» — тот спрашивает. Лексенчук усмехнулся, пиво пьет. «Стоя... — говорит. Лексенчук пива пьет. «Триста...» «Пятьсот...» «Тыщу!» — Рогозин неожиданно покраснел, зашептал горячо: — Ведь к Нинке-то тот подойти не посмел, знает, она его, самое малое, по морде нахлещет. К Лексенчу можно, дело в сумме, старого завсегда купите можно. — Рогозин поднялся, Лева встал рядом. — Искать будешь, помни, тот не уговоривал, не предлагал, тот покупал.

— Спасибо, Михаил Яковлевич, — искренне сказал Лева. — А в ресторане не опасно? Ведь все видят?

— И что такого? Говорят люди и говорят, о чем неизвестно.

— Как же мне такого типа найти? — лукавил Лева. — Подскажите, Михаил Яковлевич.

— Работала в ресторане в тот день... — Рогозин произвел подсчет и заключил: — ...смена Федора. Она и сегодня работает. К Федору, старшей у них, не ходи. Болтун. К Митричу обратись, моего роста и возраста, голова, как коленка, голая. Поклон от меня передай, он тебе все как есть нарисует. — Рогозин захватил скынкой азарт. — Сейчас и отправляйся, пока гостей у них нет. И еще... — он задумалась. — Ты не толкайся, на трибунах побудь, у кассы постой. В ложи загляни, тебе корифеев найти требуется, жизни их игровую понять. Иди-иди, я Нинке твой поклон передам.

В ресторане все произошло на удивление просто и быстро. В скынком деле и такое случается. Лева сел за столик, который обслуживал маленький лысый официант, заказал кофе и боржом и передал поклон от Рогозина. Гостей действительно не было, официанты спонысились без дела, и Митрич присел на свободный стул, спросил о здоровье Михаила. Завязалась беседа. Когда Лева задал свой вопрос, Митрич удивленно спросил:

— Зачем вам? Колька ведь признался?

— Признался и арестован, — подтвердил Лева. — К этому делу мой вопрос отношения не имеет. Он видел, что официант не верит, но разубеждеть не стал.

— Тот вечер хорошо помню, — сказал Митрич, стараясь скрыть любопытство. — Пришел Борис Алексеевич, как обычно, сел за служебный, — он указал на столик в углу. — Санька ему пару пива из холодильника подал. Тоже как обычно. Потом к Борису Алексеевичу, — Митрич быстро перекрестьился, — шумная компания подошла, погадали и на выход. Парень молодой подсели, как обычно.

— Какой парень? — спросил Лева.

— Наш, играющий, — ответил Митрич, пытливо разглядывая Леву. — Инженер он вроде, солидный. — Лева уже опустил руку в карман, хотел достать фотокарточку, но официант сказал: — Крошин Александр Александрович, — и надобность в опознании отпала.

— Долго разговаривали? — Лева убрал руки со стола, без всякой необходимости достал носовой платок.

— Не помню. Долго не должно. — Митрич выдернул паузу.

— Что дальше было?

— Инженер отошел, двое из оркестра подсели. У оркестра перерыв организовался.

— Потом? — Лева уже больше ничего не интересовало, но он не хотел, чтобы официант понял, что именно Леву интересует.

— Потом, потом? — Митрич разочарованно вздохнул. — Ничего не было. Дописал Борис Алексеевич свое пиво и ушел. Как обычно.

— Большое спасибо, хотя интересного я ничего и не слышал. Спасибо. — Лева расплатился и пошел на трибуны.

В кассовом зале уже толпился народ. Листая прогламки, люди бродят, словно слепые, порой натыкаются друг на друга. Веселая или Кристалл? А может быть, Пихта? Верный тоже королевских кровей. На трибунах атмосфера чисто спортивная, здесь тоже играют, но и победы и поражения принимаются весело, громкими шутками и смехом. На первом ярусе — ложи, здесь тихо, разговаривают вполголоса.

Скамеек в ложах ипподрома нет. Кое-где стоят стулья, разноцветные, колченогие, явно для своих мест не предназначенные. Занимали их игровая элита, с биноклями и секундомерами, люди спокойные, чуть-чуть усталые. Они наблюдают за окружающими, которые волнуются и кричат, смотрят на них снисходительно, как старики на игру детей. Иные же вообще не обращают ни на кого внимания, они алхимики, занятые поиском философского камня, изобретатели перпетуум-мобиле, иоги, увлеченные самосозерцанием. Когда идет заезд, они следят за летящими скачками. Любой результат воспринимают как должное, давно им известное, ни радости, ни огорчения — так должно было произойти, так и произошло. Они все знают, все предвидят, ни в чём не сомневаются. Они не спешат к кассам делать ставки, не ходят получать выигрыши, рядом всегда есть кому сбегать. Приказы даются шепотом, иногда лишь движением бровей. И побежал «человек», оглядываясь, запутавшись следы: никто не должен догадаться, как играет в этом заезде «сам». Смешно, однако за «человеком» порой действительно следят, кого-то интересует, как играет «сам». Касс много, они на разных этажах, применяются хитрейшие приемы «прроверки» и «ухода» от преследователя. Такой изобретательности могли бы позавидовать сотрудники «одной иностранной разведки». Иногда проводятся сверхсложные комбинации. Пролетая по кассовым залам, «человек» делает ставку, возвращается. Проносится шумок, слышен шепот: «Лев, играет Лемур». Люди бросаются к кассам, наконец-то они знают: теперь дело верное. За пять минут до старта «человек» неторопливо направляется в буфет, по дороге случайно останавливается у кассы и играет в том же заезде Амуницию. К ложе корифея подходят, спрашивают о здоровье, работе, детишках. Рассуждают о погоде и футболе. «Кто? Кто?» — спрашивают глаза. «Сам» снисходительно шутит, благодарит за внимание, мольбы в глазах он не видит, ведь закон тотализатора жесток: ты поставишь на «моего» победителя, тем самым отберешь у меня часть выигрыша. Может быть, проще дать деньги? Человек уносит вопрос с собой, он не ропщет, он понимает.

На кругу в это время готовится больше двадцати лошадей, одни из ближайшего заезда, иные поедут через час с лишним. Все красивые, статные, многие

в близком родстве, сродные сестры и братья, вну-
чата племянники. Знатоки не путают их.

Прошел последний заезд, корифей неторопливо направляется к кассе, лениво достает выигравшие билеты, только шушера бежит получать сразу после заезда. Ленивыми движениями он протягивает кассирше свидетельства своих знаний и опыта. В первом заезде, во втором, в третьем...

— Вы как всегда, — улыбается кассирша, называя «самого» по имени и отчеству.

— Мечта! — Он тоже называет кассиршу по имени и отчеству, оставляя мелкую купюру, которая, возможно, ему тоже нужна. Однако он «забывает» ее в кассе, так как «сама» сейчас на сцене, среди огней рампы, за ним следят восторженные глаза зрителей. Пусть их маленькая кучка, да и смотрят «тотошники» больше на деньги, которые он небрежно сует в карман, неважно, это его минута, он готов тянуть до бесконечности, сейчас он выше мастеров и наездников.

Все. Занавес опустился. Смолкли овации.

Рогозин советовал посидеть на трибунах. Лева пришел и сел. В ложе, рядом с Крошиным, Лева больше наблюдал за лошадьми. Сейчас же, расположившись недалеко от Крошина, Лева смотрел лишь на людей. Все в чуть приподнятом настроении. Кругом почти одни мужчины, если попадается женщина, то ей обязательно кто-то объясняет правила, она кивает, явно ничего не понимая. Основная ее задача сесть и не испачкать юбку.

Трибуны ровно гудят, в начале заезда затихают, когда же лошади выходят на последнюю прямую, страсти прорываются наружу. Крики одобрения и возмущения достигают апогея. После гонки, оповещившего, что первая лошадь финишировала, крики стихают, по трибунам вновь разливается ровный гул.

Лева все чаще посмотривал на Крошина. Рядом с ним сидела Наташа, Ани не было. О чем думает он, несколько дней назад убивший человека? Что делает здесь? Если предположения Левы верны, Крошин располагает огромными деньгами — тысяча рублей для него пустяк. Просто развлекается, убивает время? Изредка Крошину наклонялись через барьер какие-то люди — две-три фразы, и отходят. Почему лонку никто не занимает? Всезде полно, а Крошин с Наташей сидят вдвоем. Почему? Вбегает и выбегает из ложи маленький мужичонка, он по распоряжению Крошина делает ставки. Кажется, его зовут Валек. Почему Валек? Лева помнит, что мужичонке под пятьдесят. У него в склеротических жилках лицо и засинивающие бесцветные глаза. У него нет ни копейки, и он — Валек. У Крошина есть деньги, и он — Сан Саны. Почему все-таки в ложе, кроме Крошина и Наташи, никто не сидит? Места не нумерованные, каждый может войти, встать или сесть, там есть свободные стулья. На каменном барьере ложи, у входа, два здоровенных парня пристроились с пивом и бутербродами. Почему они сидят у входа, а не на стульях в ложе? Лева присмотрелась: парни не едят и не пьют, разложили свое хозяйство и сидят, изредка переговариваются. К кассам парни не ходят, за заездами следят равнодушно. Неужели Крошин имеет телохранителей? Как же Лева не заметил их раньше? Интересно. Лева с нетерпением ждал: может, кто-нибудь все-таки попытается занять свободные места. Наконец какой-то респектабельный мужчина с дамой хотели войти в ложу, но парни встали, преградили путь. Крошин равнодушно взглянул, вновь отвернулся. Мужчина стал что-то говорить, жестикулировать. Тогда парни взяли свои бутылки и газету с бутербродами, вошли в ложу и заняли свободные стулья. Когда мужчина с дамой отошли, парни вновь вернулись на преж-

нюю позицию. Вот так номер! Значит, завсегдатай знают, а новичков заворачивают подобным способом. В свите у Крошина четверо: два телохранителя, любовница и пятидцатилетний «мальчик» по кличке Валёк. Всех немедленно установить и прозвать, в нужный момент допросить, решил Лева. Да, были еще Аня и Кунин. Крошин теряет кадры, войско редеет. Ничего, он его быстро восполнит. Только Лева это подумал, как к ложе подошла Анна. Неужели вернулась и снова будет просиживать здесь часами? Зачем ей это надо? На Ани парни не обратили внимания, она прошла свободно. Вход сюда стоит восемьдесят копеек, для девушки это деньги. У Левы появилась интересная мысль. Он вышел на улицу, погулял и направился обратно. На контроле его остановили.

— К Сан Санычу, — сказал он уверенно.

— Пожалуйста. — Пожилая женщина вежливо улыбнулась.

Деньги сами по себе лишь символ, раскрашенная бумага. Крошин нужна власть. Как ее получить? Крошин умеет распоряжаться деньгами. Для любовницы снята квартира. У него телохранители и «мальчик» Валёк. Достаточно назвать его имя, и контролер вежливо улыбнется. А вот и он, Александр Александрович Крошин, сидит спокойный, не обращая ни на кого внимания. Это его звездные часы. Здесь он личность, победитель. Падишах крохотного государства. На работе он рядовой инженер. Внешне все очень привлично. Старенькая «Волга», скромная квартира. Одет со вкусом, но не броско, держится с достоинством, но скромно, говорит вполголоса. Власть. Он имеет власть. Пусть в микромире, пусть над людьми ничтожными. Будет больше, нужно иметь терпение, торопиться нельзя. В Москве он поротился, больше такой ошибки не повторят.

Лева начинал понимать психология Крошина.

Зачем понадобилось покупать Логинова? Деньги? Для Крошина это не деньги. Тысячи людей поставили на непобедимого фаворита. Крошин захотел, и Гладиатор должен был проиграть. И убил он, конечно, не из-за денег. Его услышали, обманули, над ним посмели издеваться. Личность он или не личность? Простить, забыть? Значит, отступить? Признать себя побежденным? У него был лишь один зритель — он сам. Именно перед собой он не мог спасаться. Признать, что ты нуль, что не можешь, вся твоя сила — сплошной блеф и самообман? Жизнь не удалась, ты ничтожество?

Лева сел в сторонке и смотрел на Крошина. Убийца. Он, внешне интеллигентный, с обаятельной улыбкой.

Неудача с Логиновым таила еще одну опасность. Вполне возможно, что старый наездник Крошина знал. Наверняка знал. Логинов расскажет о попытке подкупа, двери ипподрома закроются. Где же тогда царить?

И все равно для совершения убийства таких мотивов недостаточно, должно существовать что-то еще. Главное. Что? Что могло толкнуть Крошина на убийство?

(Окончание следует)

К 100-летию
со дня рождения
М. И. Калинина

Александр
ГОРКИН



ДРУГ И НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ

Михаил Иванович Калинин... Светлое и дорогое для каждого из нас имя. С особым чувством произносим мы его сейчас, в канун столетия со дня рождения этого замечательного человека. «Тверской крестьянин, писательский рабочий и ленинской закалки большевик», он был символом Страны Советов, свободы и братской дружбы всех ее народов.

Его называли Всесоюзным старостой, Калининчек. И в этом ярко отразилась огромная народная любовь к пламенному революционеру-ленинцу, мудрому государственному деятелю.

Характеристика, данная М. И. Калинину великим вождем революции В. И. Лениным, когда в 1919 году он рекомендовал Калинина на пост Председателя ВЦИК, была полностью подтверждена всем жизнью Михаила Ивановича. К моменту избрания на этот высокий пост он имел за плечами двадцатилетний стаж революционной и партийной работы, прошел через тюрьмы и ссылки. Он обладал, по словам Владимира Ильинича, «умением подходить к широким слоям трудящихся масс».

Около тридцати лет Калинин был Президентом Советского государства и на этом ответственном и почетном посту оправдал доверие, которое оказали ему партия и народ.

Трудно охарактеризовать даже в общих чертах многогранную деятельность М. И. Калинина как выдающегося государственного и партийного деятеля и одновременно пропагандиста, агитатора и публи-

циста, выступления которого отличались исключительной глубиной и богатством содержания, своеобразной, доступной и привлекательной формой изложения. А как передать то неповторимое обаяние личности Михаила Ивановича, ту удивительную простоту и сердечность, внимательное участие и вместе с тем справедливую строгость и требовательность, которые остались в памяти у каждого, кто с ним встречался, кто обращался к нему за помощью или советом. К сознанию и сердцу каждого находит он своим путем, умел глубоко проникнуть в мысли, понять заботы, окказать зденоносящее влияние и укрепить уверенность в своих силах. Всего себя посвятил он борьбе за победу пролетарской революции, за создание и развитие первого в мире многонационального социалистического государства рабочих и крестьян, преобразование жизни народа на основах свободы и равенства.

Последние девять лет жизни М. И. Калинина мучалась работать под его непосредственным руководством в ЦИК СССР и в Президиуме Верховного Совета СССР, близко видеть его в жизни. Память хра-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин вручает Г. К. Йукунову манильскую звезду. В центре — секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин.

Февраль 1943 г.

нит живые черты Михаила Ивановича, его доброту и сердечность, мудрые, никогда не старающиеся советы. Многие из них обращены к юношам и девушкам, к советской молодежи, которую Калинин горячо любил, был ее искренним другом и наставником. Он ценил нашу замечательную молодежь за то, что она всегда была полна революционного энтузиазма, по первому зову партии шла на ответственные, ударные участки социалистического строительства, а когда нужно, и с оружием в руках защищала завоевания своих отцов.

Помни, как выступал Калинин на собрании комсомольского актива в городе Куйбышеве, где он с некоторыми другими членами правительства и ЦК партии находился в ноябре — декабре 1941 года. Михаил Иванович говорил, что вот мы, старшее поколение, хотели создать для молодежи мирную творческую жизнь. Но фашисты напали на нашу страну, и на молодежь ложится основное бремя испытаний. Она должна быть твердой в мужественной в борьбе с врагом, защищая завоевания революции... Он говорил, как всегда, просто и вместе с тем ярко, словно беседовал с каждым по душам. Думаю, что речь его запомнилась куйбышевским комсомольцам торы поры на всю жизнь.

Никогда не забудутся, не утратят своего воспитательного значения выступления, доклады, статьи М. И. Калинина, обращенные к комсомолу, к советской молодежи. Перецитав их сегодня, вникая в содержание его речей на партийных, профсоюзных, комсомольских съездах и конференциях, на съездах Советов и на многих совещаниях, обозрив его деятельность и многогранную работу как ближайшего соратника В. И. Ленина, партийного и государственного деятеля, глубоко осознаешь, какой несомненный вклад внес он в обеспечение успехов нашего народа, как полезны его опыт и советы для настоящей и будущей работы по строительству коммунизма.

Проявляя подлинно отеческую заботу о молодежи, понимая, что будущее нашей Родины зависит от нее, ее сознательности и активности, хорошо представляя, какие трудности зачастую возникают перед каждым молодым человеком при разрешении житейских вопросов, определении своего места в обществе, на работе, М. И. Калинин уделял коммунистическому воспитанию подрастающего поколения постоянное и большое внимание.

Напомню читателям «Юности» некоторые его выступления на эту тему.

1926 год. VII съезд ВЛКСМ. Делегаты восторженно встречают вышедшего на трибуну Калинина. А когда у них наконец заш, Михаил Иванович начал речь: комсомольский съезд ЦК партии и наша Советская власть уделяют больше внимания, чем любому из других съездов. Основная причина этого состоит в том, что «в лице комсомола у нас растет главное богатство нашей страны», что «в лице комсомола мы будем иметь те отряды, которые потом будут замещать ряды старых борцов за социализм», что комсомол — это «передовой отряд пролетарской и крестьянской молодежи...»

Говоря об особенностях, своеобразных духовных качествах, присущих молодости, юношеству, Михаил Иванович подчеркнул, что первое качество, которым особенно отличается юношеский возраст, это исклю- чительная воспринимчивость, из чего необходимо сделать ряд практических выводов, например, в области проведения пропаганды и агитации среди коммунистической молодежи.

Свойственное юношескому возрасту заключается в огромном внутреннем стремлении к идеальным пе- реживанием. «У молодежи всегда есть желание само-ожерелевания; у молодежи всегда есть желание

обойти весь свет пешком, пойти в моряки, быть ка- питаном, открывать новые части света и т. д. и т. п.»... Молодежь «в своей массе необыкновенно искренна и прямая».

Остановившись на этих основных отличительных чертах молодежи, М. И. Калинин отметил их ценность для человека. «Если бы эти качества не имели сами по себе особой, исключительной ценности для человека, то, я не сомневаюсь, значительная часть юношеской душевной красоты, может быть, погибла бы». И вот мы, партия и руководители комсомольских организаций, думаем, что «не надо глу- шить эти юношеские особые свойства, наоборот, их надо беречь, их надо развивать, на почве их надо расти новый, более совершенный человек».

Затаив дыхание, слушали делегаты Всесоюзного старосты. Эта речь давала комсомолу ясные ориентиры на будущее за нового человека, в работе с миллио- нами молодых строителей социализма.

Не теряя актуальности и мысли, высказанные М. И. Калининым в речи на торжественном заседании, посвященном десятилетнему юбилею комсомола, 29 октября 1928 года.

Старшие поколения, сказал он, росли в совершен- но иных материальных и политических условиях, при иных возможностях массовой организации, массового влияния и общественного воспитания. Если раньше воспитание революционной молодежи направлялось на отрицание буржуазного мира, на подготовку не- посредственных борцов, стремящихся к разрушению этого мира, то в настоящее время перед нами стоит задача построения социалистического общества.

Разумеется, подчеркнул Калинин, во всех своих действиях, во всех областях работы комсомолец должен руководствоваться марксизмом-ленинизмом, но он должен вместе с тем участвовать в ряде отраслей деятельности, чтобы выступать непосредственным строителем социалистического общества. Поэтому «вся установка комсомольской организации в области формирования нового человека должна быть рассчитана не только на усвоение марксизма-ленинизма, но на распространение тех положительных знаний, которые необходимы в жизни для того, чтобы закрепить социализм практической работой». Первая задача, которая стоит перед комсомолом, — это воспитание уважения к положительным, практическим знаниям, задача пропаганды среди комсомольских масс уважения к труду, развитие уважения к человеку, который трудится.

«Молодежь» — сказал М. И. Калинин, — это велико- лепный, самый подвижный отряд человечества. Ведь не случайно же, что во всех революционных выступлениях застырьщиком является молодежь. Воспоми- те картины всех баррикадных боев, и вы увидите, что на боевых постах всегда впереди молодежь. Почему это происходит? Да потому, что молодежь ост- рее всех воспринимает несправедливость старого мира, потому что у молодежи много физических сил, они передвигаются через край. Молодежь отважна и смела; она не боится смерти. Старики рисковать жизнью не всегда решаются; они больше берегут свою жизнь. Молодежь, заключил он свою мысль, «является прекрасной частью человечества, и эти качества и свойства молодежи надо беречь, куль- тивировать и развивать».

В заключение Михаил Иванович сказал: под руково- дством Коммунистической партии комсомольская организация справится с трудными задачами по формированию нового человека, который должен быть не только бойцом, но и строителем нового, социалистического общества.

Ленинским комсомолом с честью оправдал это высо- кое доверие партии.



М. И. Калинин с ребятами
его родного села на бе-
регу реки Медведицы.

В октябре 1938 года вышла в свет брошюра М. И. Калинина «Славный путь комсомола». Давайте перелистаем ее страницы, пожелавшие от времени, но яркие и волнующие по своему содержанию. Очень советую это сделать.

Тепло и живо показан в ней двадцатилетний путь Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, начинаявшегося к тому времени в своих рядах шесть с половиной миллионов человек. Перед комсомолом открылись широкие перспективы и возможности для творчества и движения вперед во всех областях деятельности на пользу трудащихся. «Интернациональные задачи комсомола», — писал М. И. Калинин, — должны занимать значительное место в работе ВЛКСМ, на него ждет трудовая молодежь всего мира. Так будем же достойны занимать это почетное место ударной бригады в борьбе за победу пролетариата во всем мире.

Сущностью марксизма, отмечается в брошюре М. И. Калинина, не овладевшем простым заучиванием его формулы, в результате этого «может получиться начетчик, знаток текста, буквод и плохой марксист-ленинец». Наиболее полно марксистско-ленинское учение познается в применении его к практической политики в общественной и хозяйственной деятельности. А поэтому и «воспитание молодежи в духе ленинизма должно идти не только по линии учебы, но и по линии практической деятельности».

Особое внимание отведено роли комсомола в производстве — как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Процент молодежи комсомольского возраста в производстве очень высок. К вопросам организации труда, повышения его производительности молодежь должна подойти сплошной.

Как неустанный пропагандист новой, коммунистической морали, М. И. Калинин постоянно напоминал молодежи марксистское положение об огромной роли труда в социалистическом строительстве, рассмат-

ривал труд как непременное условие жизни человека. Именно в труде, в процессе производственной трудовой деятельности, в созидании человек может разить в себе высокие моральные качества.

В своих выступлениях, беседах и статьях он подчеркивал решающее значение для победы в коммунистическом строительстве сознательного отношения к труду, строгого соблюдения трудовой дисциплины. Работать спустя рукава, давать продукцию плохого качества, не пропылать бережливости — значит не уважать самого себя, не рассчитывать на уважение и своих товарищ. Мало лишь исполнять свои обязанности, напоминал он, надо еще и любить свою работу, стремиться полностью узнать все, что достигнуто в данной профессии. Ничто так не портит человека, как равнодушие, безразличное отношение к делу. Если нет вкуса к работе, то теряется вкус и к жизни. М. И. Калинин решительно выступал против лени, против аполитичности, формализма, сухости и скучи в каждом деле.

Обращаясь к молодым рабочим, учащимся, он высказывал пожелание, чтобы у них как можно скорее зародилась профессиональная гордость, а это самая высокая гордость. Беседая с учащимися ремесленных и железнодорожных училищ в октябре 1943 года, М. И. Калинин говорил: «Я вам прямо скажу, что человек, который выучится хорошо работать, везде будет себя хорошо чувствовать и везде с ним будут считаться и товарищи и начальство, и даже его агитация будет иметь большую вес, так как все его знают как хорошего рабочего. Перед ним будут раскрыты пути к дальнейшему продолжению: он выйдет в мастера, сможет обучиться чертежному делу, перейдет в конструкторские мастерские и т. д.. Молодым обязательно нужно привыкнуть к добровольству

Калинин завоевал непоколебимый авторитет среди трудащихся еще и тем, что сам был квалифициро-

ванным рабочим, мастером, знатоком своего дела. Посмотрите, рассказывал он, как хороший дворник выполняет свою простую работу: он сметает снег и мусор с мостовой, как художник. Видно, что он работает с душой.

Высказывания М. И. Калинина о решающем значении правильной организации труда, непрерывного повышения его производительности, воспитания в каждом советском человеке чувства ответственности за порученное дело приобретают особую актуальность сейчас, когда превращается в жизнь грандиозная программа коммунистического строительства, когда с невыбайской силой и размахом развернулось социалистическое соревнование за выполнение планов девятой пятилетки и достойную встречу XXV съезда КПСС.

Коммунистическая партия проявляет неустанные заботы о воспитании молодежи в духе уважения к труду, стремления отдать свои силы, знания и способности на благо народа. Эти качества решающей степени вырабатываются у молодежи под воздействием школы и трудового коллектива. На это Калинин неоднократно обращал внимание.

В организации и деятельности студенческих отрядов, лагерей труда и отдыха для школьников также находит широкое отражение рекомендации М. И. Калинина о необходимости сочетать учебу с практической деятельностью, развивать у молодежи способности руководить коллективом, прививая ей умение жить в коллективе.

Михаила Ивановича живо интересовали все сферы деятельности молодежи. Известно, что особое внимание он уделял совершенствованию государственного аппарата, работе Советов, их низовых звеньев — сельских, районных и городских Советов. Он заботился об этом не только, как говорится, по службе, но и по душе. Чтобы еще раз убедиться в этом, мысленно вернемся на сорок один год назад. 27 июня 1934 года Михаил Иванович, занятый огромной государственной работой, находит время и встречается с выпускниками Московского института советского строительства, которым в этом день вручали дипломы.

Напутствуя выпускников, он давал им ценные, конкретные советы: болеть за работу, волноваться за нее, избегать чиновнического подхода к делу, решать вопросы по существу, формально от них не отписываться. К каждой жалобе, говорил Калинин, надо подойти внимательно, рассмотреть ее всесторонне. Мы должны строже относиться к защите интересов трудающихся и будем наказывать за невнимательное отношение к их жалобам...

Вспоминается такой случай, характеризующий отношение М. И. Калинина к письмам и жалобам трудающихся.

Как-то в связи с особенно большим поступлением жалоб в Президиум Верховного Совета СССР среди работников аппарата возникла мысль провести некоторые формального порядка ограничения в приеме и рассмотрении заявлений граждан: не принимать к рассмотрению заявления, которые поданы, минуя местные органы, повторные жалобы, рассматривать через определенный срок, установить форму заявлений, направлять их с приложением гербовой марки и т. д.

Когда со своими предложениями мы пришли к Михаилу Ивановичу, он указал нам на всю несостоятельность и вредность этой затеи, сказал, что наши предложения исходят из удобства для аппарата, а существу дела не помогают. В том-то и сила Советского государства, подчеркнул Калинин, что гражданин может обратиться в любой орган и требовать к

себе внимательного отношения, совета, разъяснения, консультаций. Обобщение, систематизация и изучение поступающих жалоб дают возможность знать, что делается в стране, в каком районе и с каким вопросом поступает неблагополучно. Разрешение частного вопроса всегда оказывает определенное влияние на общие вопросы социалистического строительства. Как разрешается жалоба, какое отношение к заявителю в том или ином государственном учреждении, узнают многие; поэтому к разрешению любой жалобы надо подходить политически.

Вот так Михаил Иванович учил своих сотрудников, местных работников внимательнейшим образом относиться к каждой жалобе, пусть даже кажущейся незначительной. Ведь за ней стоит живой человек, верящий в справедливость Советской власти. Калинин никому не позволял подрывать эту веру небрежностью, равнодушным отношением к делу. И, конечно, сам был примером. Встречаясь с людьми было для него не одной из обязанностей главы государства, а глубокой внутренней потребностью.

Он никогда не порывал связи со своим родным селом Верхняя Троица, проводил здесь отпуск, работая в колхозе вместе с земляками, помогая матери по хозяйствству.

Систематические выезды в республики, области и районы, на заводы, в колхозы, воинские части, выступления на собраниях трудающихся, в печати, регу-



М. И. Калинин в Верхней Троице. Перед покоем.

лярный прием посетителей, внимательное рассмотрение жалоб и заявлений граждан имели исключительное значение для успешного проведения в жизнь решений партии.

Все дела, все помыслы М. И. Калинина были направлены к главной цели — укреплению связей Коммунистической партии с народом. Он всегда шел плечом к плечу с массами, вместе с ними боролся и строил новую жизнь.

За время работы на высоком государственном посту Михаил Иванович совершил сотни поездок по стране, побывал в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Кавказе. Он все время в делах, во часто в пути: в стране развернулась гигантская стройка, совершались героические дела. Калинин везде должен был побывать сам, все увидеть собственными глазами. Этому принципу он не изменяет до конца своей жизни.

В общении с трудящимися он видел источник силы и вдохновения. В годы революционной борьбы против царского самодержавия М. И. Калинин подвергся многочисленным арестам и ссылкам, много лишений испытывал он сам и его семья. Выступая 20 ноября 1935 года на заседании Президиума ЦИК СССР по случаю своего 60-летия, Михаил Иванович сказал, что у него никогда не было ощущения безвыходности положения, он всегда чувствовал поддержку народа. Вот эта вера постоянно укрепляла, за-каляла его, помогала переносить все невзгоды.

Одной из главных черт характера Михаила Ивановича была заботливость. Он с радостью передавал свой жизненный опыт, свою большие и глубокие знания молодежи, делаясь с ней тем, что приобрел годами упорного труда. Вспомним о беседе М. И. Калинина со студентами Института государственного управления; его речь — это программа деятельности для будущих специалистов. Сейчас, тридцать семь лет спустя, она так же свежа, так же интересна и важна для сегодняшней молодежи, эта простая и мудрая беседа. Калинин не получал, он учил: работу надо брать со счётом, брать то, что снесет. Но нужно нагружать себя полностью и в работе быть пунктуальным, не ловчить, а честно подходить к вопросу, решать, как лучше, не гнаться за ответственными постами.

В административной работе, советовал Михаил Иванович, следует стремиться вносить меньше личного элемента, проявлять прямой, коммунистический подход. Если вы будете честно работать и не кичиться этим, то дело у вас пойдет и народ вас полюбит. Народ в этом отношении — самый точный инструмент. Народ больше всего не любит фальшь и очень быстро ее распознает. На народ лучше всего действует честный, прямой подход.

Обратив внимание на необходимость хорошо, толково составлять документы, Калинин рекомендовал читать художественную литературу: Чехова, Гончарова, Белинского, Добролюбова... Лучше Чехова никто не пишет: коротко, скжато, ясно, прекрасный, настоящий русский живой язык. Читайте беллетристику, советовал он, — это одно из важнейших пособий для наших работников. Вы будете иметь дело с людьми, а беллетристика для общественника все равно, что физиология для медика; она учит познавать людские характеры, помогает в понимании людей, дает и общее развитие.

Главное напутствие Калинина студентам: работайте честно, по-коммунистически, не увлекайтесь дешевыми лаврами. Мы служим такой идеальной цели, как уничтожение всех видов эксплуатации, рабства, невежества, для полного освобождения людей. Что

может быть лучше этой цели? Вот вы и должны быть воодушевлены таким голетом.

Михаил Иванович обращал внимание на необходимость постоянно пополнять знания, учиться и учиться, подчеркивая, что знания приобретаются настойчивым трудом. Сам он показывал в этом пример. С юношеских лет и до последних дней своей жизни не переставал совершенствовать и углублять свои знания. Несмотря на трудности и лишения, ссылки и тюремы в довоенные годы, большую занятость делами государственного управления в советское время, он настойчиво изучал марксизм-ленинизм, изо дня в день знакомился с новинками научной и художественной литературы. Во время Великой Отечественной войны, уже частично лишившись зрения, он вновь перечитывал многие произведения основоположников марксизма-ленинизма, книги советских и зарубежных писателей. И молодежь солгалась: «Мне вот скоро 70 лет, а все равно неумолимо изо дня в день приходится следить за литературой и учиться. И никак нельзя иначе. А ведь я по-прежнему в политических позициях, легче выберусь из трудного положения. Вы поможете, значит вам труднее, и помочь могут только знания. Вы все время должны учиться. Сама жизнь повсеместно этого требует».

Вся большая и светлая жизнь Михаила Ивановича Калинина была отдана родному народу. Он прошел долгий и прекрасный путь вместе с Коммунистической партией, вместе со своей страной. И потому столетие со дня его рождения отмечается так широко и торжественно.

Он жил заботами и надеждами народа и навсегда останется в делах, подвигах, свершениях страны. Останется как высочайший образец гражданина, борца, человека, рожденного революцией. А для советской молодежи Михаил Иванович Калинин всегда будет добрым другом и мудрым наставником, примером беззаветного служения Родине.



Игорь
ЗАБЕЛИН

КНИГИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ И ПУТЕШЕСТВЕННИКАХ

Если иметь в виду не отдельные книги и не особо любимые читателями авторов, а жанр в целом, то по популярности с книгами о путешествиях и путешественниках могут соревноваться лишь научно-фантастические и приключенческие книги. Почему?.. Ответ напрашивается как сам собой: любознательность.. Да, конечно, и любознательность. Но ответы, лежащие на поверхности, далеко не всегда полно отражают глубокие, невидимые течения, а мне хотелось бы говорить о «литературе путешествий» всерьез.

Я начну свой разговор с эпизода, который мне представляется символическим и который действительно произошел в глубине Африки 20 апреля 1961 года. И я прошу читателей обратить внимание на фотографию старика в пещере, сделанную мною в тот же день.

Еще затемно мы выехали из города Мопти, что стоит на берегу реки Нигер, и направились к хорошо известному африканцам уступу Бандиагара, — достигнув высоты трехсот-четырехсот метров, он круто обрывается к лежащей перед ним саванне. Хорошо известен этот уступ и этнографам — его населают догоны, народ, который много столетий тому назад воспользовался уступом Бандиагара как крепостью и сумел освоить и заселить его. Позднее, в более спокойные времена, догоны расселились и по другим местам, но Бандиагара — сердце страны догонов, и образ жизни их мало отличается от того, который вели их предки тысячетелетие назад.

Лишь незначительные детали говорили о том, что цивилизация коснулась и догонов. По дороге мы видели людей с луками и стрелами, с изогнутыми мечами, но вождь деревни вышел к нам.. с маленьким транзистором в руках. Кроме того, он немного говорил по-французски (раньше эта территория принадлежала Франции). Догоны были очень доброжелательны, они показали нам свои жилища, пустующий «дворец» царя-огона (огонь умер, а нового можно было избрать только после первого дождя, но был сухой сезон), позволили нам отдохнуть вместе с ними в пещерах, где они занимались прядением, плетением циновок.. Во время одной из таких передышек мы спросили вождя, видел ли он когда-нибудь русских.

— Нет, месье, — ответил вождь равнодушно.

— Но вы что-нибудь знаете о Советском Союзе, о России?

— Нет, месье.

Кому-то из нас пришло в голову подарить на память вождю значок с изображением искусственного спутника Земли — в тех условиях мысль весьма оригинальная, скажем прямо.

— Что такое — искусственный спутник? — спросил вождь.

Наш товарищ принесся растолковывать ему суть дела, но вождь явно не понимал его, и тогда наш товарищ, отчаявшись, сказал, что искусственный спутник — это такая штука, которая крутится вокруг Земли потому, что ее запустили люди...

— Ха! — резко выдохнул вождь. — Гагарин!

Но будь я сам тому свидетелем, я бы, наверное, с трудом поверил, что фамилия первого в мире космонавта была произнесена в пещерах догонов на восьмой день после его полета. Но невероятное случилось: крохотный полупроводниковый приемник — единственный в догонской деревне Саига — принял имя, звучавшее в те дни на всех радиоволнах, и вождь запомнил его и теперь стал понимать, кто мы и откуда!

Так первый космический путешественник принял эстафету путешественников земных, так помог он установлению связи человека с человеком.. И сделал он это, совершая ранее невиданное, небывалое, переступив порог невозможного.

А все сказанное в последние строчках имеет самое непосредственное отношение к литературе путешествий, к многовековому читательскому интересу к книгам о путешествиях и к книгам о путешественниках.

В поисках суты

Правомерно ли по отношению к литературе путешествий понятие «жанр»? С некоторой долей условности, вероятно, правомерно. Любопытно, однако, что сама тема путешествий пронизывала и пронизывает все основные литературные жанры — и прозу, и поэзию, и даже драматургию. Многовесельные, срубленные из ливанского кедра корабли изображены на древнеегипетских фресках, и рядом с ними — невиданные в Египте животные. Пришло время, и наполненные ветром паруса появились на холстах европейских художников. Теперь, конечно, не обходится без путешествий и в киноискусстве: с помощью экрана или телескринера оно позволяет любому

из нас зримо присутствовать в самых отдаленных уголках планеты.

И еще одно довольно простое наблюдение. Сущность человека наиболее полно выражается в трудиной деятельности — едва ли кто-нибудь станет спорить с этим. Но не труду принадлежит первое место среди «вечных» тем устного или письменного творчества. Это несложно объясняется историческими причинами: не воспевать же свободным элинам труда рабов, а грубадурам — крепостных?! (Хотя, замечу, блестящий Михаил Селенинович из малого тысячеletия пашет землю, а и воин-богатырь Илья Муромец не гнался крестьянской работой.)

Певцы минувших тысячелетий и столетий отдавали явное предпочтение воинской доблести, любви и... путешествиям.

Что ж, с любовью, как вечной темой, все ясно. Да и с воинской доблестию — тоже: немирной, к сожалению, была человеческая история, и отважный even заслонил пахарей-корытцев в глазах бардов.

Но путешествия?.. Вероятно, справедливо, что истоки европейской литературы — в поэзиях Гомера. И разве не примечательно, что одна из них, «Илиада», посвящена преимущественно воинским делам, а другая, «Одиссея» — преимущественно путешествию?

Как географ, я некоторое время интересовался проблемами страноведения и однажды задумался о происхождении слова «страна». Обычное, всем известное слово. Но обратите внимание, какие слова стоят рядом с ним: стран'осты, стран'ное, стран'ствие, стран'ник; были стран'оприимцы — люди, привившие путешественников и запомнившие их рассказы; а с распространением грамотности появилась в нашем языке стран'ца (что там на следующей странице?), а потом и упоминавшиеся стран'оведение... Случайные сопадения? Я просто не приемлю такие, с позором сказать, объяснения, когда речь идет о глубинных проявлениях человеческого бытия, а тут мы как раз и встретились с таким проявлением.

«Страна» и «странное» — слова-родственники. «Страна» первоначально и обозначала странное, неизвестное, и лишь сравнительно недавно слово это распространялось на родные места. Но странное всегда манило, интересовало, если существует интерес, то всегда появляются и люди, его удовлетворяющие, — в данном случае «странники», а говоря современным языком, путешественники.

Значит, прежде всего все-таки любопытство?.. Любопытство свойственно и «меньшим братьям наших», как называл животных мудрый английский философ Фрэнсис Бэкон за триста с лишним лет до наших дней. Интерес человека к другим странам, к другим народам — это проявление его глубинной общественной сущности, его изначальной колективной природы; человек вне общества, вне контактов с другими людьми — как близкими, так и далекими, — абстракция, не имеющая реального смысла, миф. В таком смысле интерес к другим странам, другим народам — это проявление далеко не всегда осознаваемой самим человеком своей связанных с миром живущих и живущих...

Человеческие контакты... Если б они были извечно дружественными! Но было иначе, историю не подправишь, и как-то горько сознавать, что и завоеватели с мечом и странники с посохом столы несопоставимо по-разному выражали неизбежность объединения всех племен и народов в единое человечество, неизбежность их коллективного бытия в будущем!

Конечно, не все путевественники были безгрешны, во если это были истинные путешественники, а не корыстолюбцы, то все-таки большинство из них шло

с пальмовой ветвью, а не с книжкой за пазухой, и не всегда они были виноваты, что пророненные ими мирные троны заносились пылью «от шагающих сапог».

Понятны поэтому и стремления некоторых современных авторов создавать облагороженные образы путешественников или мореплавателей, которым по условиям их времени приходилось держать руку в боевой перчатке и, не раздумывая, обхватить меч.. Мне вспоминается история с поиском безвременю скончавшегося талантливого журналиста и писателя Владимира Травинского «Звезды мореплавателя», посвященной Магеллану. В рукописном варианте Магеллан был изображен у В. Травинского мечтателем, отправившимся в кругосветное плавание, чтобы создать на другом конце света республику, страну счастья и справедливости... Невеселое занятие — развенчивать столы благородный образ, но Магеллан не был и не мог быть таким мечтателем-фантазером, и Травинский, не меняя своего по-человеческого теплого отношения к первому кругосветному путешественнику, уточнил его образ, что пошло лишь на пользу книге («Молодая гвардия», 1939). Объективно экспедиция Магеллана служила, конечно же, установлению связей между народами, но создать страну справедливости путешественник мог только в мечтах, что и сделал современник Магеллана Томас Мор, совершивший «путешествие» на остров Утопия и положивший начало литературе утопического социализма, нередко использовавшей форму путевых очерков.

Когда они появились, путешественники?

В самом деле, когда?.. Вечное это занятие человека, как, например, труд, или приобретенное.. Человек всегда перемещается в пространстве, иначе и быть не может, но не всякое перемещение — путешествие.

Если один взглядом окнуть всю историю человека, то можно вполне отчетливо различить два разных по протяженности, но вполне реальных процесса. Первый из них — процесс рассеивания небольших людских групп из мест своего происхождения (скорее всего это была Восточная Африка) по всему земному шару, — процесс, который сопровождался «оттакливанием» племени от племени и, благо свободного места было много, позволял людям заселить все пригодные для жизни материки и острова. Во всяком случае, Америка первый раз была «открыта» примерно за 30—40 тысяч лет до плавания Колумба.

Второй процесс — процесс «сборивания», процесс объединения некогда рассеившихся племен. Он начался всего несколько тысячелетий назад и особенно усилився с появлением такой человеческой организации, как государство.

Период рассеивания исключал путешествия как форму взаимоотношений между людьми. Период сортирования, государственной стабилизации больших людских масс в конкретных районах сделал путешествия практически ненужными.

Но тут необходиоо существенное уточнение. Кому-кому, а Наполеону не занимать: стабильность и при жизни и после смерти. Но мне не приходилось читать, чтобы кто-нибудь назвал его путешественником. А ведь он побывал и в Азии и в Африке и закончил дни своих в Южном полушарии... В литературе (в том числе и в нашей) иногда распространяется легенда об Александре Македонском, как о жаждущем знаний молодым человеке, решившем

осмотреть и познать всю Ойкумену... Полноте! Был он гениальным военачальником, но путешественником не был. Грабеж — вот его профессиональный интерес.

А путешествие — занятие мирное. В самой основе его — надежда на добрую встречу, вера в добrotу, человечество незнакомых людей, племен, народов. Не всегда эти надежды оправдывались, потому что инстинкты и темные социальные силы долие тысячелетия затушевывали изначальное человеческое добро, но, не будь этого добра, невозможно было бы и коллективное существование (это эксплуатировало эту человеческую сущность!), невозможно было бы самопожертвование одного ради многих... И многое другое было бы невозможно — путешествия в том числе. Древнегреческий историк и географ Геродот не смог бы прийти в южноуральские степи, где тогда царили скирры, считавшиеся «дикими», но он пришел и описал страну «Скифию», и ему мы во многом обязаны знаниями о ней... И тверской купец Афанасий Никитин не совершил бы в XV веке своего «Хождения за три моря» в Индию... И Н. Н. Миклухо-Маклай не рискнул бы один поседеть на папуасов Новой Гвинеи... И сын московского банкира Василий Юнкер, который предпочел на-
капитальству путешествия по Африке, не осмелился бы жить среди племен, считавшихся «людоедскими».

Так вот, в основе этой странной профессии — путешественник! — вера человека в человека. И не будем путать с путешественниками разными там конкистадорами, грабившими и убившими как раз тех, кто принимал их с доверием.

Книги путешественников — и названных только что и неназванных, — если они были настоящие путешественники, несут в себе не только сведения о странном, но и известие о вечном — о добре.

А появлялись путешественники тогда, когда разные государства убедились в невозможности существовать изолированно, в необходимости мирных — прежде всего торговых — контактов. Стало быть, путешественник — древня, но не самая древняя человеческая профессия. Мы никогда не узнаем имени первого на Земле путешественника, и все-таки было в истории человечества и такое — первый путешественник, первое путешествие.

Нон плюс ультра

 «Нон плюс ультра» в переводе на русский означает «Не дальше», но почему эти слова вынесены в подзаголовок, станет ясно чуть позже.

Путешественники, как, впрочем, и другие смертные, порою награждались современниками или потомками чём-то вроде прозвищ. На страницах книг, посвященных землепроходцу Семену Дежневу, неизменно встречается имя другого землепроходца — отчаянного купца Федота Алексеева по прозвищу Холмогорец — значит, был он из тех мест, откуда и Ломоносов вышел. В средние века жил был монах Козма. По каким-то причинам он совершил плавание в Индию, описал свое плавание и составил карту Земли, — древние греки скорели бы от стыда, глядя на это уродливое произведение, — но все-таки он по праву получил прозвище «Индикополов». А в прошлом веке наимпристейше поименованной своими родителями человек Петр Петрович Семенов по воле какой-то царствующей особы (действительно, не помню, какой) стал Семеновым-Тян-Шанским, ибо первым из русских побывал в горах Тянь-Шаня, а книга его о путешествии буквально перевернула

представления западноевропейских ученых об этой стране. Значит, и спрavedливо и красиво получилось.

Но в истории географии известно и, казалось бы, совершенно несправедливое имя-прозвище, которое, однако, читатель обязательно встретит в любой книге, посвященной великим географическим открытиям. Значит оно так: Генрих-Мореплаватель. С Генрихом все ясно, это имя португальского принца, жившего в XV веке... А вот «Мореплаватель»?.. Дело в том, что «мореплавателем» он стал лет через четыреста после своей кончины — так прозвали его географы прошлого столетия. Сам же Генрих никаких плаваний не совершал — он работал на мысе Сан-Висенти, крайней юго-западной оконечности Европы, и прямо перед ним лежал воинству неизбранным Атлантический океан — его дали и владели мыслями Генриха. Слово «работал» не очень сочетается в нашем сознании со словом «принц», но принц Генрих действительно работал. Португальские моряки не умели пользоваться навигационными картами и тем более составлять их. Генрих создал картографическое училище, и мореходы быстро овладели картографическим искусством. Генрих заботился о кораблестроении, и при нем старые, неуклюжие барки были заменены знаменитыми каравеллами, достигшими Америки, обогнувшими земной шар. Разумеется, все это принц Генрих делал неспроста: он мечтал, чтобы его каравеллы обогнули Африку и достигли Индии. И, разумеется, неспроста я рассказываю о принце Генрихе. Он повелевал своим капитанам на первый взгляд странно: он не требовал, чтобы они немедленно покладывали дорогу в Индию. Но он требовал, чтобы каждый капитан заходил на юг дальше, чем его предшественник. И постепенно создавалась и совершенствовалась карта. И совершенствовались корабли. Принц Генрих не дожил до открытия морского пути в Индию, но его последователи, действуя так же, как он, добрались своего.

Принц Генрих создал научный метод овладения пространством — постепенность в сочетании с совершенствованием инструментария и кораблей — вот в чем суть. Но ведь так работают и современные исследователи космического пространства!. Все мы знаем, какая огромная подготовительная работа предшествовала первому кругосветному полету Гагарина и первому полету людей на Луну... И вот, оказывается, какие скромницыцы человеческого опыта таит в себе литература путешествий! И вот почему мы сегодня без всякой иронии воспринимаем прозвище принца Генриха — «Мореплаватель».

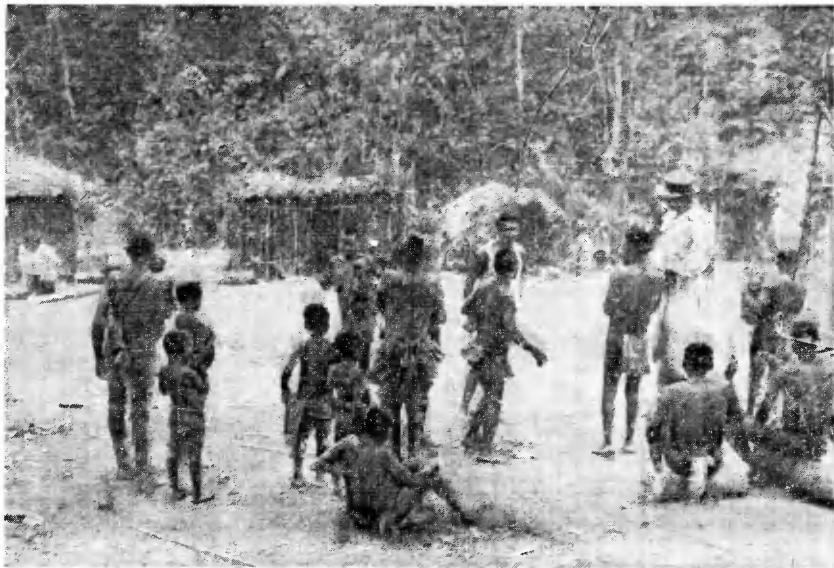
Но вернемся словами, вынесенным в подзаголовок статьи.

«Нон плюс ультра» — это название мыса на западном побережье Африки. «Не дальше» — вдумайтесь в это название и представьте себе состояние морехода, приближающегося к этому мысу...

Самое невероятное, быть может, заключается в том, что нам, современным географам, неизвестно в точности местонахождение мыса со столь угрожающим названием. Знаем, что был. Знаем, что оннылся волнами Атлантического океана, который некоторое время именовался «Португальским морем». Но где он в точности находился — бог весть! Человеческий ум, воля, отвага подвели каравеллы к мысу «Не дальше» и увели их за него — дальше! — в неизвестные моря и страны. Мыс «Нон плюс ультра» был стерп с географической карты.

Дорого это стоило, конечно. Португальский поэт Фернанду Лесос, живший в первой половине нашего века, писал так:

Португальское море — горючая соль,
Нашти слезы и горе — португальская болы
Сколько слез ты упрали из глаз матерей,
Сколько слит в глубине твоей их сыновей...



Аа, их много там спит. Так же, как в Ледовитом океане, Тихом, Индийском. Так же, как в Сибири, Африке, Америке...

Ни одно большое дело не обходится дешево человечеству, но каждое из них оставляет вечный след, каждое рушит преграды с запретительным знаком — «Не дальше!». И бесконечное количество примеров тому — в литературе путешествий.

Эффект преодоления

Внимательный читатель может обратить внимание, что в заключительных абзацах предыдущего раздела я вспоминаю слезы португальских матерей и ничего не пишу о слезах африканских женщин, — ведь экспедиции Генриха-Мореплавателя положили начало работорговле. Да, так было. За мореплавателями шли солдаты. Таково было время. И даже очень умные люди той эпохи воспевали подвиги мореплавателей-грабителей. Мечтания принца Генриха были осуществлены в конечном итоге Васко да Гамой — он завершил описание побережья Африки и с помощью арабов нашел дорогу в Индию. Первое плавание Васко да Гамы в Индию еще было первооткрывательским и с некоторыми настежками может быть отнесено к путешествиям в том смысле, в каком трактуются они в этой статье. Второе плавание было откровенно грабительским.



На снимках: Африка. Деревня нигмеев; догон в пещере.

Величайшая — после «Одиссеи» — поэма, посвященная путешествиям, — это поэма португальца Камоэнса «Лузиниады», посвященная подвигам Васко да Гамы и мужеству португальского народа.

Мне довелось побывать во многих странах Африки, расположенных на Атлантическом побережье, — от Марокко до границ Анголы. Я сам слышал восторженные рассказы местных историков о местных вождях, впервые вступивших в контакт с европейцами, иначе говоря, занявшимися продажей своих соотечественников. Случай с Таманго, описанный Приспером Мериме в однотемной новелле, — исключительный случай; работогорцам незачем было племянить местных вождей: они были нужнее им как поставщики рабов, без них не процвела бы работогорская культура.

Не знаю, насколько нужно это отступление. Вероятно, все-таки стоило сказать, что мною не забыты трагические стороны очень сложного историко-географического процесса.

А после этого «правдания» я должен напомнить, что тема моя не история, а литература путешествий.

Итак, мыс «Нон плюс ультра» стерт с географической карты!

Будь это событие по своему значению сугубо историко-научным, ему, очевидно, и не стоило бы придавать столь большое значение в статье о литературе путешествий. Но в том-то и дело, что оно поистине символично, в нем как бы запечатлена одна из удивительнейших особенностей литературы путешествий, которую я определил бы как «раскрытие души». Да, раскрытие человеческого духа, и на малейшей напыщенности нет в этом выражении, ибо свершившись одним — словно удесстеряло силы других. Я поясню свою мысль всего лишь несколькими примерами.

Колумб. Всем известно, с каким трудом он пересек Атлантический океан, известно, что матросы бунтовали, требуя повернуть каравеллы обратно.. Корабли Колумба не были, конечно, гигантами. Но управляли ими умелые и относительно многочисленные экипажи. Мы справедливо оцениваем плавания Колумба как подвиг.

...А в наши дни регулярно проводятся спортивные «бега» на яхтах-одиночках (с одним человеком на борту) по маршруту Европа — Америка.

Магеллан — жезеланная натура — едва одолел на редкость спокойный — Тихий! — океан во время своего путешествия. Его спутник, завершивший кругосветное плавание, баск Себастьян Эльякано погиб при попытке второй раз пересечь уже знакомый ему Великий океан.

...А сейчас моряки-одиночки на парусных яхтах соревнуются в скорости — кто быстрее обогнет земной шар, причем нередко без захода в какой-либо порт.

Несколько десятилетий альпинисты штурмовали высочайшую вершину мира — Эверест, и безуспешно. Но едва стало известно, что на ее взошли новозеландец Хиллари и шотландец Тенслин, как следом за ними поднялись на Эверест швейцарцы, американцы, чиниши, японцы. А в этом году по разным маршрутам на Эверест поднялись две женщины — японка Юкико Табей и тибетка Фанто. Поразительно!

Поразительно в особенности потому, что во всех этих примерах и речи не может быть о торжестве техники. В практическом плане любому современному Чичестеру было не легче, чем Магеллану.

Но и Колумб и Магелланшли в неизвестность, на пути их стояли барьеры, казавшиеся не преодолимыми; они первыми доказывали, что самые неодолимые рубежи преодолимы, первыми сметали предупредительный знак «Не дальше!».

А последователи их, как и последователи первоходителей на Эверест, уже знали, что задуманное ими человеку по силам, и потому было им неизмеримо легче. Повторяю: не физически. Но литература путешествий, сообщая о свершеннем, снимала психологические барьеры, раскрепощала дух, и потому она постоянно расширяла и расширяет возможности человеческой личности. Но разве только для путешествий важно устранение психологических барьеров?

И жаль, что литература путешествий не исследована с этой точки зрения ни литературоведами, ни психологами.

Ничто человеческое...

Да, ничто человеческое не чуждо литературе путешествий, ни одна из «вечных» тем не миновала ее, да и не могла миновать.

В вооруженном мире не всегда можно было путешествовать безоружным, как делали это Геродот, фландрец Рубрук, — босиком, в рубище, явившийся зикою в ставку монгольского хана в Центральной Азии, — как Афинский Никитин, Миклухо-Маклай.. Поэтому и воинские доблести замечательны в литературе путешествий... И товарищество, вплоть до самопожертвования. И великий труда...

И любовь, конечно. Но-моему, это недоразумение, что до сих пор не сложены поэмы о Василии и Марии Пропчиевых, участниках Великой сенерской экспедиции, погибших у берегов Гималы в 1736 году; о Григории и Александре Потаниных, совершивших несколько путешествий по Центральной Азии (из последнего совместного путешествия Александра Викторовна не вернулась); о полярном исследователе Владимире Руссанове и его молоденской супруге, парижской студентке Жольетте Жан, разделившей с ним его трагическую судьбу; об Иване и Марье Черких — из их экспедиции на Колыму не вернулся Иван Дементьевич...

О Черских я скажу несколько слов особо, потому что литература путешествий — это леготись подвигов и своеобразной преемственности в подвигах: такая преемственность была, например, в путешествиях Пржевальского и его последователей. Но на Колыме взяла старт эстафета, почти неправдоподобная по стечению обстоятельств и совпадению судеб. Впрочем, судите сами.

И. Д. Черский, будучи совсем юным человеком, принял участие в польском восстании против царского самодержавия; после подавления восстания его сослали в Сибирь, а в Сибири он очень быстро проявил себя как талантливый исследователь. По ходатайству Семенова-Тян-Шанского, который к тому времени стал важной особой, сенатором, И. Д. Черского амнистировали, и Русское географическое общество поручило ему исследование бассейна реки Колымы. И. Д. Черский тогда уже был серьезно болен туберкулезом, но незамедлительно отправился из Петербурга почти на другой край света вместе с Марфой Павловной. Смерть стала настигать его, когда он приближался к устью Колымы. Он отказался прервать путешествие. Когда он уже не мог писать — за него вела в путевом дневнике запись Марфа Павловна. Он и умер у нее на руках, не достигнув своей цели — устья Колымы.

Устье Колымы было исследовано спустя некоторое время Георгием Седовым. Он исполнил то, к чему стремился Черский. А еще несколько лет спустя, уже больной, как и Черский, и тоже склонный, что погибнет, Георгий Седов отправился к Северному полюсу. И погиб. Погиб, повторив подвиг Черского...

Когда экспедиционное судно Седова «Св. Фока» готовилось покинуть арктические берега, к месту стоянки его пришли два человека — члены экипажа полярной экспедиции Г. Л. Бруслова на шхуне «Св. Анна». Через два года после Седова Бруслов тоже побывал в устье Колымы — привел туда свое судно из Владивостока. А потом предпринял новое путешествие, но шхуну затерло во льдах и понесло на запад. Вот тогда те два человека, что пришли на стоянку судна Седова, и решили спасаться самостоятельно — в сопровождении еще нескольких человек, они покинули «Св. Анну» и пошли на юг. В той группе, которая покинула шхуну, было лишь два здоровых человека — штурман Албанов и матрос Конрад. Они и объединились, предоставив больных своей собственной судьбе. Только они вдвоем и спаслись. Все остальные участники экспедиции погибли. В 1917 году Албанов опубликовал книгу «На юг, к Земле Франца-Иосифа». Уже в последующие годы она была переиздана под названием «Подвиг штурмана В. И. Албанова». Как вы думаете, следовало ли ее так называть? — «Подвиг?».

Много сложных вопросов ставят перед читателями литература путешествий — всех и не перечислишь, конечно.

Мы, современные люди, независимо от профессии живем под зонгом, рожденным в тяжелейшие годы истории нашей страны: «Никто не забыт, ничто не забыто». И хотя этот зонг имеет точный адрес, обращен к пережитой войне, он с полным правом может быть отнесен и к литературе путешествий, к ее исторической ветви. В буквальном смысле слова тысячи имен как отечественных, так и зарубежных путешественников ввели в обиход современного читателя книги историков географии: И. П. Магадовича, Я. М. Света, А. И. Алексеева, М. И. Белова, писателя Сергея Маркова — вспомним его последнюю по времени книгу «Вечные следы» (1973).

Особенно следует подчеркнуть, что нравственный подход к оценке историко-географических событий в наши дни становится почти непрерывным даже в строго научных работах. Примером тому может служить книга Д. М. Лебедева и В. А. Есакова «Русские географические открытия и исследования» («Мысль», 1971).

А начало вот такой — по существу, а не по чину — традиции оценки географических событий положило в русской литературе М. В. Ломоносов. Анализируя результаты работ Великой северной экспедиции, он особо подчеркивал, что «главным» в этой экспедиции был не ее начальник Витус Беринг, а его помощник Алексей Чирков. И это на самом деле было так, но вся посмертная слава досталась Берингу — его именем названы море, пролив, остров, поселок, район, — а Чирков вообще мало кому известен... Так что в жизни действуют не только традиции, намеченные гениальными людьми. (В журнальной статье невозможно проанализировать сколько-нибудь подробно «проблему Беринга», и я позволю себе отослать читателей к своей книге «Встречи, которых не было» (1966), там помещен большой историко-публицистический очерк «Берега несправедливости», посвященный, в частности, и этой теме.)

Есть в нашей литературе путешествий еще один спорный вопрос, тоже сугубо нравственного характера и тоже связанный с памятью человека, заслуги которого были приписаны другому. Речь идет о первооткрывателе пролива между Азией и Америкой, который носит имя Беринга.

В 1973 году была переиздана книга «Подвиг Семена Дежнева», написанная М. И. Беловым, человеком, в общем, неплохо знающим историю русских географических открытий, но явно чуждым ломоносовской традиции в литературе путешествий.

Суть же дела в том, что Семен Дежнев самолично никакого подвига не совершил и никогда себе этого не приписывал. Он был лишь участником предприятия, которое действительно может быть охарактеризовано как подвиг — предприятия, начатого и совершенного Федором Алексеевым, по прозвищу «Холмогорец». Именно этот Холмогорец был организатором и руководителем отчаянно смелой экспедиции, которая и прошла впервые проливом между Азией и Америкой. Но Холмогорец из экспедиции не вернулся — погиб, а Дежнев остался жив и в нескользких «отписках» сообщил о плавании. Не очень задумавшиеся о правильной стороне дела историки и приспали ему все заслуги. Сейчас, пожалуй, один М. И. Белов по труду обаянной причине продолжает наставлять на неверной точке зрения. В специальной же литературе в конце концов одержала верх ломоносовская традиция (в частности, это видно и по книге Д. М. Лебедева и В. А. Есакова), и тут невольно вспоминается история первого кругосветного плавания: Магеллан погиб, и описание путешествия дал его спутник Пигафетта, но никто не называет его на этом основании первым кругосветным путешественником.

...Нельзя, рассказывая о литературе путешествий, не привести хотя бы одного примера взаимовыручки, товарищества. Я действительно ограничусь одним примером. Когда при попытке перелететь из Европы в Америку потерпел катастрофу дирижабль «Италия», на помощь его экипажу пришли советские лодки на ледоколе «Красина» — совсем недавно этот исторический эпизод был воспроизведен в фильме «Красная палатка».

Нельзя не сказать о человеческой смекалке, порою граничащей с тем, что в просторечье именуют «безумием». В конце прошлого века почти одновременно в Норвегии и России возникли две внешне противоположные идеи о путях проникновения в глубь Арктики. Ф. Нансен решил умышленно вмерзнуть на своем судне во льды и вместе с ними пронденировать через весь Северный Ледовитый океан. А в России мореплаватель С. О. Макаров предложил создать ледовзламывающее судно, способное пробриться к полюсу — ледокол. Обе идеи были встроены в буквальный смысле слова как близкие и подверглись почти всеобщему осмеянию... Обе идеи блестяще оправдали себя. Судно Нансена «Фрам» благополучно выдержало ледовые испытания и пересекло весь океан. Ныне нансеновская идея воплощается в регулярной работе советских и американских дрейфующих станций — они и сейчас, в этот момент, там — далеко от земли, и близится уже полярная ночь...

Первым ледоколом был «Ермак» — не очень уж могучий корабль, который С. О. Макаров водил в полярные моря. А совсем недавно вступил в строй советский атомный ледокол-тиган «Арктика», которому никакой лед не страшен, — вероятно, он может, если потребуется, пробиться и к полюсу.

Вообще мыслей использовать океанские течения для облегчения путешествий — очень давняя мысль. После открытия Америки использовали, например, течение, идущее от берегов Африки к Новому Свету. Плавания эти казались капитанам парусников настолько легкими, что они прозвали этот участок Атлантического океана «дамской дорогой». Недавно этой «дорогой» воспользовалась экипажем папиросного судна «Ра». А еще раньше состоялось блестяще плавание через Тихий океан на плоту «Кон-Тики», задуманное и осуществленное, как и плавание на «Ра», Туром Хейердалом. Его плот заслуженно помещен в музее рядом с «Фрамом» Ф. Нансена.

ЭПИЛОГ

Эпilogи как будто не приняты в литературных статьях. Но я позволю себе эту вольность по причине, которая мне представляется уважительной: я до сих пор не сказал о самом главном географическом открытии, о той роли, которую сыграла в этом открытии литература путешествий.

Об открытии этом, как ни странно, обычно не пишут в географических книгах, но оно действительно состоялось, и я определил его словами, сказанными в середине прошлого века выдающимся немецким путешественником Александром Гумбольдтом: странствуя по земному шару, путешественники открыли, что человечество — «это одно великое братское племя», «единое целое, существующее для достижения одной цели (свободного развития внутренней духовной силы)», и это «воззрение именно всеобщностью своего направления прямо составляет то, что возвышает и одухотворяет космическую жизнь».

Слова эти взяты мною из самого знаменитого сочинения А. Гумбольдта — «Космос». Именно этот пятитомный труд вернул людям древнегреческое слово «космос» и утвердил его современное значение; в нем Гумбольдт одним из первых заговорил о жизни как космическом явлении и увидел возвышенность и одухотворенность ее в единстве и свободном развитии (раскрепощенний!) духа.. Конечно же, Гумбольдт знал, как сложно и противоречиво все в мире. Он пережил варварские наполеоновские войны и даже выступал в роли дипломата с мирными предложениями. Он обращался с письмом-протестом к президенту Мексики, требуя защиты индейцев от произвола колонистов. Он резко осуждал рабовладельческие порядки на Кубе и, правда, более мягко, в письмах, осуждал крепостничество в России. Его слова о человечестве, как «братьском племени», конечно же, не отражали реальную ситуацию. Они — как бы проникновение в суть такого явления, как человечество, и они — как бы взгляд в неблизкое будущее, которое в последние годы жизни А. Гумбольдта уже было определено и прозвано написано «Манифестом Коммунистической партии».

В молодости А. Гумбольдт прославился путешествиями по Южной и Центральной Америке — их даже называли «вторым открытием Америки».

Подразумевалось, что первое совершил Колумб. Следом за Колумбом пришли завоеватели и воинственные переселенцы, и тут ничего не исправишь. И все-таки не будем забывать, что Колумб положил начало регулярным связям между народами разных континентов.

Гумбольдт проплыл и прошел несколько тысяч километров по самым глухим районам Америки вдвоем с товарищем, французским ботаником Э. Бонпланом. Их крохотный «интернациональный» отряд ни разу не подвергся нападению со стороны местных жителей, наоборот, им помогали, чем могли. Американские дороги вернули А. Гумбольдта в Европу, а

европейские — привели в Россию: он совершил большое путешествие и по нашей стране, вплоть до ее южных пределов, и, разумеется, всюду его встречали по-дружески. И, конечно же, не случайно написал Гумбольдт в конце своей долгой девяностолетней жизни о «великом братском племени» — человечестве.

Полет первого космонавта Юрия Гагарина не только открыл и бесконечность пресловутое «Не дальше!», но и как бы протянул реальные нити понимания, доверия между всеми народами Земли.

Литература путешествий на протяжении веков противостояла и укрепляла эти нити. Она целеустремленнее, прямолинейнее, чем какой-либо иной жанр литературы или искусства, формировалась у людей представление о человечестве как целом, о его братской единой сущности. А воплощалось это, в частности, в экспедиционной практике. Первая зимовка в Антарктиде была осуществлена англо-норвежской экспедицией. В экспедиции Амундсена к Южному полюсу принимал участие русский океанограф А. Кучин, а в трагической экспедиции Р. Скотта было даже четверо русских каюров. Ныне Антарктида — материк коллективного интернационального подвига.

Становится делом всего человечества, несмотря на существующие политические разногласия, и освоение космоса.

И когда на околосеменной орбите встретились космические корабли, впервые в истории посланные в совместный полет Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, то в той дружеской атмосфере, в которой этот полет протекал, были и частности тепла, накопленные и сбереженные для человечества литературой путешествий.



О. САВОСТЮК, Б. УСПЕНСКИЙ.

Первый снег.



М. ЧЕРЕМНЫХ.
1890—1962
Рисунки
для окон РОСТА
(1920 г.)



1) Ты сибиряк, за революцию на фронте боролись.

2) Был примером в революционной борьбе.

3) Весь фронт другой.

4) Иди и здесь быть примером тебе!

К 25-летию мастерской плаката
Московского художественного института имени В. И. Сурикова.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР НА ОТЛИЧНО!

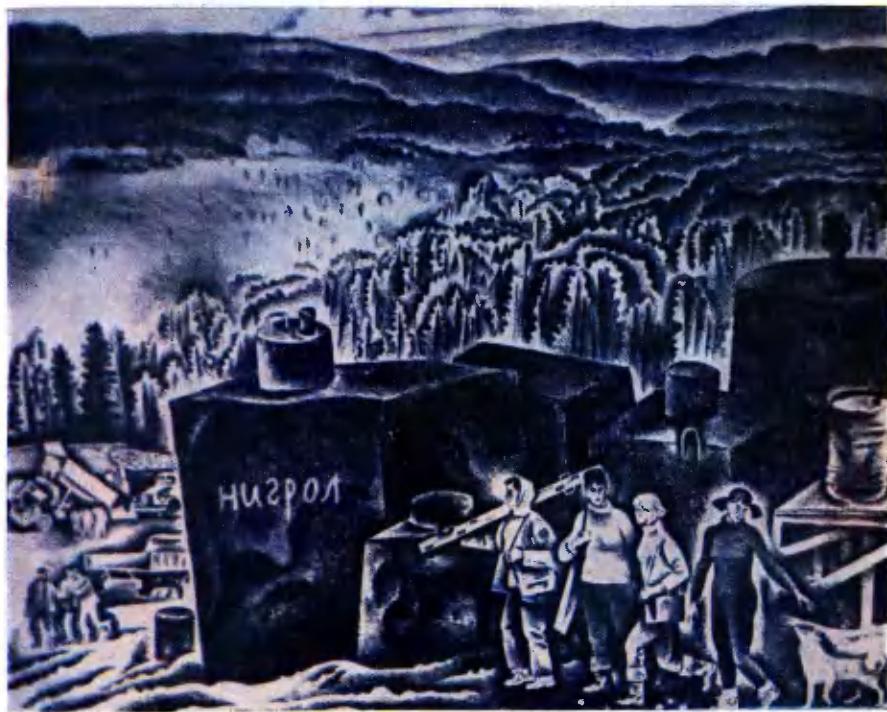


И. ОВАСАПО
Плакат



А. АХАЛЬЦЕВ.

Мост через Обь.



В. СМИРНОВ.

Утро (автолитография).



ЛЮДИ СЕГОДНЯШНей СИБИРИ

Блажий день позади и самолеты, пересекающие Урал, везут сотни людей, которые впервые увидят Сибирь, разве из книг и кинофильмов...

самую бурно растущую и быстро измениющуюся часть нашей страны. Но каждый из тех, кто приедет сюда жить и работать, не знает, сколько лет он проведет на всю жизнь, — внесет свой штрих в облик завтрашней Сибири...

Пожалуй, прежде всего

щена книга Владимира Шорора «Верен родному берегу», вышедшая в серии «Черты сегодняшней Сибири» (Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1974). «О поколение судят по героям, которых к нему приналаживают», — эти строки Олега Дмитриева могли бы поставить эпиграфом к своей книге В. Шорора, ибо рассказывает он не о стройках, а о строителях. И хотя персонажи книги в основном — строители Иркутской гидростанции, их ежедневном труде, в их чаяниях и раздумьях отразились труд, мысли и надежды людей, работавших на стройках. Это поколение, сделавшее Сибирь такой, какая она сегодня.

В том, как сибиряки жили и работали, а не только в объемах продукции и иных цифрах созданного ими, — живой пример молодым строителям текущего дня, той же Байкало-Амурской магистрали. Пример этот не в технических приемах одной из героинь книги, бетонщицы Анны Москаленко — ее рекорды наверняка уже переданы, — но в том ощущении счастья, с которым она проживает каждый свой рабочий день («перекрьты» это ощущение невозможное!). Или бригадир склонолов Владислав Сухомлинов, о котором идет речь в одном из очерков, является собой яркий пример того, что в труде заключена важнейшая возможность роста и совершенствования человеческой личности...

Полезное начинание — эта серия «Черты сегодняшней Сибири», хороший вклад в нее — книга В. Шорора.

Ю. ЛЯХОВ

СВОЯ ТЕМА

Небольшая книжка Игоря Дузеля «Берег и море» (Владивосток, 1975) посвящена одному из рыболовецких хозяйств Приморья. Внешним толчком для ее создания послужил публикация автора в составе ведущей редакции «Нового мира» в далекий колхоз, носящий то же название, что и сам журналь...

и до этого доводилось на

дальнем Востоке. Он ходил за сайдир на сейнерах во время путины матросом, успев тем самым на практике познать легкий рыбакий труд. У него же оказался определенное «преграждение» к тому кругу проблем, с которыми он столкнулся, оказавшись артеги «Нового мира».

Свою рассказ, автор ведет живо, непринужденно, избегая шаблонов, применявшихся очерковых «ходов». Он будто нарочито избрал явно неудачный «кодекс», когда-то принесший «Альбатрос» читателям яркому профессионализму. Долго и безуспешно «драгал пустыря».

Оказывается, при основательном знании дела (автору я лично приходилась его прежняя рыбачья практика) и таком плавание не помеха. Наблюдая за тем, каким молодцом показал себя кандидат в мастера, сколько привык выдержки, собранности, природного дарта для довольно пестрого по своему национальному составу Приморья (здесь живут представители множества национальностей). Он затрагивает и ряд местных экономических, хозяйственных проблем. При всем том жизнь рыбакской артели показана на изолиции от остального Приморья, а плотно вписанна в более широкую панораму края.

Вот почему, читая одну из лучших книг Игоря Дузеля «Берег и море», рыбаки-ветераны, перебивая и дополняя друг друга, воспроизводят перед очиристистами картины трудного обживания ими этих суровых берегов, борьбы с интервентами в годы гражданской войны, испытавшие ощущение, будто перед тобой оживает история края. А сами эти старики, убеленные серинами, но все еще крепкие, сохранившие былоу силу в жестых рыбакских руках, невольно заставляют вспоминать авторские сюжеты о гувернерах здесь, на тихоокеанских берегах, деревнях, которые «не просто выросли — выстали, наперекор наворнениям, осыпям, ураганам».

С. ЛАРИН

СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ

3 **На самом многим** **репликам: «Вырастеть — значит...»** — так часто отвечают мы на «вечные ребяческие «почему»». И не здравствует, что дело обстоит так, раз наоборот: ребенок не может «вырасти» до тех пор, пока не поймет, по-настоящему, исчерпывающих ответов на все свои вопросы. «Нам некогда или не доверяем молодость. Но мы словно забываем, что вся история человечества — это неизменный поток, — делится тревогой писатель Юрий Дружников в своей книге «Справа-мальчики» («Молодежный рабочий», 1974).

Видимо, каждый обращал внимание, с каким интересом ребята слушают передачи для взрослых, какими темами интересуются воспитанники детских садов. Запоминают факты, примеры, делают выводы, сравнивают с тем, как воспитывают их санинские педагоги в этих передачах? Может, желают понять, что же в конце концов, хотят от них эти, не всегда понятные взрослые? Возникает парадоксальная ситуация: первых контактов двух иностранных миров: мира взрослых и мира детей. Или, может быть, «наши» педагоги ребята пытаются приследовать к себе со стороны? Каже-ли же мы с точки зрения взрослых? Что они о нас думают?

И никто не знает, кому больше не хребтами эти передачи? К тому же не будем забывать, что наши дети — в будущем — воспитатели наших внуков. Их педагоги, согласимся с мнением Юрия Дружникова: «Разумно ли делать секреты из педагогики? Не лучше ли наоборот: открыть обычайность, основы старания, почему надо стремиться к тому же, на чьем, какое это повлечет за собой последствия».

Подстегнуты максимами, что сейчас, а совсем не позже, хотят ли получить ответы на вопросы, над разрешением которых тысячелетиями мучительно думали великие просветители и мыслители человечества. Всегда ли мы представляем интересы наших ребят? Что их волнует? О чем они спорят? В чем сомневаются? На какие вопросы стремятся получить ответ?

Проведя в одной из школ неудренный эксперимент, Юрий Дружников стал обладателем 614 вопросов, заданных старшеклассниками. Тут

были вопросы и космические: «Почему звезды собираются в галактики, а не блуждают поодинокие?» И сугубо земные: «Есть ли на берегах океана и рек какой-нибудь дракон? Очень серьезные! Очень много пишут о громадном потоке информации. Просоветите, пожалуйста, на каком языке учатся, на каком языке говорят, на каком языке пишут, на каком языке нужно и что нужно? Есть ли выход? И весьма ироничные: «Человек скоро сможет преодолеть гравитацию и начать летать в космосе со скоростью света. А как быть с перегрузами школьников?» Спорящие с родителями: «Моя папа — начальник строительства, а я — боечник с 8-летней лучшей, чем с 10-летней, потому что они не удирают в институт. Правильный ли это?» Вопросы по науке, технике, политики, этике, морали, искусству, спорту. Каждый четвертый задавал вопрос, на который можно условно ответить: «Кем быть?» Насколько сменялись мальчики! Сперва — мальчики, спрашивали девочки. Были записи сумбурные, но ни одной глупой. Сердитые, но ни одной грубой. Были негровые, но не были никакие негровые. Стrophe, но ни одной жестокой. Потому что, на наша деградации гораздо чище, чем некоторые подчас о них думают.

Юрий Дружников заставляет задуматься не только над самими ответами, но и над причинами вопросов, чтобы понять, почему же наши мальчики улучшились. Он использует вопросы для совместного поиска истины. Делает вывод, что такие встречи «Отвечают на вопросы, которые очень нужны и ребятам и учителям. Первыми, чтобы посоветоваться о том, что тело волнует, чем ты думаешь, но просто спросить: иногда тебе хочется, чтобы кто-нибудь, даже старик, на пульсе знал, что волнует твоих воспитанников».

Ал. РАЗУМИХИН

ПОЭТ ИЗ ДИВНОГОРСКА

В городе Дивногорске, Красноярского края, этого однажды Сорокина называли — это Владлен Белкин. Десять лет он строил этот прекрасный город на скалистом берегу Енисея, неподалеку от Ачинска, в которой все еще являлся самой большой в мире. Десять лет работы, лесорубом, плотником, каменщиком, и долгие вечера и ночи за пишущей машинкой. Это биогра-

фия, это судьба. Пожалуй, можно было устроиться в газету, но, по словам самого Белкина, он «человек нетороплив и чувствует себя не в своей тарелке». Да и такие, например,стихи надо иметь право написать:

Мы лес валили,
крыши крыли
и воевали
с москарями,
а выходило, вроде бы
были творцы истории живой...

Как и многие нынешние писатели, Белкин приехал в Красноярский край человека, зорким зорем. Поэтому он знает, как трудно врастает человек корнями своего в несущую, но давнюю землю. Своему другу из Смоленска он посыпает таков стихотворение: «Каждой невысказанный болелью в родном смоленском городе, ты смиришь на лыжное поле и пугаинки на стерне. А здесь на кедры и гранит, и лог, жаркими опаленными, восторженно и, отчужденной душа притягива глядит...»

Из этого стихотворения книгами Белкин взял эпиграфом строки Сергея Драffenко: «Только честность и чистота спасут нас в содеянии великих времен». И потому о всем не слыхнули у Белкина такие строчки:

Все обиды и печали,
что по злой моей
вине
неповинных

огорчали,
оседали, во мне
и когда постыдный счет
страго совести
предъявляла,
зря беспечность
обещала:
перемыслить
пройдет.
Сколько же ярнов
сточилось,
Вьюг отпело, гроз
прошел.
Ничего
не изобразилось.
Только глубже
просросло.

Да, «честность — на-
дежная сила» поэзии, и
лауреат премии красно-
ярского комсомола Влад-
лен Белкин это знает.

Вадим КОВДА

ПОЗИЦИЯ КРИТИКА

Духовное, нравственное обоснование социальной позиции — вот та ось, вокруг которой строятся размышления Ф. Кузнецова о литературе и современной действительности («За все в ответе. Нравственные

иснания в современной прозе» М., «Советский писатель», 1975). Впрочем, не только в современной. Разговор о таких понятиях как идея, смысл, нравственность, геройство, опирается на богатое наследие общественной и художественной мысли.

Открыто заявляя свою приверженность принципам «реальной критики», Ф. Кузнецов этими принципами руководствуется: и утверждении непрерывности героя, героя-человека, линейных традиций в жизни советского общества, и в определении социальных корней мещанства, в материалистическом толковании истории. Критик со средоточием на решении и таких существенных проблем, как историзм современной прозы, народное и национальное, фольклорное и классовое. Ф. Кузнецов не отделяет, не разграничивает друг от друга социологический и эстетический критерии (хотя это и является его приверженностью). Кузнецова, общественно-философской проблематике, немало вопросам художественной формы). Особенно подчеркнута этим «личинка» главы «Судьбы деревни в прозе и критике», написанная остро и темпераментно. Автор анализирует тот пласт социальной жизни деревни, вокруг которого долгие годы нипели (и продолжают нипели) споры. Произведение «деревенской прозы» Ф. Кузнецова рассматривает и других глазах, неизменно подчеркивая при этом весомый заряд социальных идей, которые содержат в себе эти книги. «Герой романов Федора Достоевского не просто крестьяне, но и крестьяне, именно так и только так мыслият они себя». Это разграничение говорят и о позиции критика в понятии «общественных моральных ценностей» (как истолковывали некоторые «деревенскую прозу»), но конкретно-исторические анализы.

«Печальность — не отъемлемое качество творческого почерка Феликса Кузнецова. Сборник соединяет под своим обложкой статьи, которые печатались в периодике. Его наблюдения, выводы, утраты привязанности к конкретным фактам литературного развития, неизменно приводят к антиутопичности. А это, согласитесь, для критика — до-столицтво немаловажное».

Валерий ГЕЙДЕКО

А. В. Луначарский: «Бороться, творить... всю жизнь»



«**И**з твоих писем я вижу, что в тебе все время происходит сильнейшее брожение. В твои годы я такого в себе не запоминаю, но это чистый плюс для тебя. Волноваться, бороться, творить и сомневаться хорошо всю жизнь, но особенно в молодости». Это отрывок из письма Анатолия Васильевича Луначарского сыну — тоже Анатолию и тоже литератору. Кстати сказать, Анатолий Луначарский съято чтил и выполнил все наказы отца: боролся, творил... Погиб он на фронте годы Великой Отечественной войны.

Хорошим наставником и добрым другом Луначарский был не только для своего сына, но и для всей советской молодежи, которую горячо любил, ценил ее увлеченностей и энтузиазм. Он забочился о молодежи, как о смене старшему поколению, стараясь, чтобы эта смена выросла здоровой, сильной, умной. Он знал, что быть наставником и другом молодого поколения строителей социализма не просто. Но он имел на это моральное право, ибо прошел большой и трудный путь профессионального революционера, государственного деятеля. Как и многие борцы за счастье народа, он проходил школу жизни, свой университет в царских тюрьмах, в ссылке. И везде не покладая рук он готовил себя к борьбе, занимался самообразованием, много читал, изучал иностранные языки.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции А. В. Луначарский в тече-

ние двенадцати лет руководил Наркомпросом, ведавшим тогда всеми вопросами советской культуры: народным образованием, высшей школой, музыкальным и изобразительным искусством, кинематографией, театром, эстрадным и цирковым искусством, изданием книг.

Его необыкновенной эрудией завидовали все. Он знал шесть европейских языков и свободно говорил на них. И недаром шла молва, что Луначарский — самый образованный министр просвещения в всей Европе.

Много внимания Анатолий Васильевич уделял воспитанию молодых строителей социализма. Всей душой, всем сердцем он был с комсомолом, с молодежью. В трудные годы разрухи и голода Луначарский в лекциях и докладах убеждал и ярко говорил о будущей счастливой жизни. Говорил так увлекательно, что молодежь забывала о недоедании, о нехватке учебников и бумаги, стремясь все свои силы и знания отдать строительству этой новой жизни.

В докладах «Ленин и молодежь», «Искусство и молодежь», «Новый человек», «О быте» и многих, многих других Анатолий Васильевич Луначарский пропагандировал ленинские взгляды на комсомол как на ближайшего помощника и преемника дел Коммунистической партии. Его речи, лекции и статьи были направлены на воспитание такого подрастающего поколения, в руки которого можно смело передать эстафету

строительства социализма. При этом Луначарский подчеркивал, что вся воспитательная работа должна эффективно воздействовать на молодежь, захватывать ее, волновать, изменять строй ее чувств и мыслей, поднимать на борьбу за победу дела партии.

Нарком просвещения делал все возможное, чтобы образцово наладить общее образование в школе и специальное в техникумах и вузах. При его непосредственном участии был разработан целый комплекс мероприятий по созданию единой трудовой политехнической школы.

Для воспитания всесторонне развитой молодежи Луначарский наряду с другими мерами рекомендовал: сделать театр по-настоящему идеальным и приблизить его к массам, широко использовать художественные и документальные фильмы, сделать клуб доступным и привлекательным для юношей и девушек, развернуть массовую физкультурную работу.

Много внимания уделял Анатолий Васильевич вопросам быта молодежи, культурного облика комсомольцев. Он смело выступал и по таким проблемам, как мораль, любовь, дружба, семейные отношения.

В своих лекциях и речах он охотно отвечал на вопросы, волновавшие молодое поколение Страны Советов, не обходил острых углов, проявляя находчивость и оструюмие. Вот один из примеров. Как-то во время своего выступления он получил записку: «Скажите, что такое любовь?» Анатолий Васильевич удивился и ответил: «Если эту записку прислали мне очень молодой человек, он, несомненно, еще узнает сам, что такое любовь. Если это написал человек пожилой, моих лет, он, как мне кажется, все-таки еще должен помнить, что такое любовь. А вот, если об этом спрашивает человек среднего возраста, мне его просто от души жаль».

Сейчас, когда отмечается 100-летие со дня рождения А. В. Луначарского, можно смело сказать, что добрые зерна, посевенные им, дали прекрасные всходы: советская молодежь благодаря повсевенной заботе партии растет просвещенной, энергичной, боевой. И среди тех, кого она всегда помнит и чтит, — Анатолий Васильевич Луначарский.

Николай ПИЯШЕВ



Владимир
ОГНЕВ

ИЗ ЧЕРНОГОРСКИХ ЗАМЕТОК

Фото автора.

Когда мы говорим об интернациональном воспитании советского молодого человека, мы вкладываем в эти слова многое: и уважение к революционным традициям братских стран, и знание исторических связей нашего государства с народами других земель в прошлом, и действенную дружбу и взаимопомощь в настоящем. В этом номере «Юности» мы публикуем заметки Владимира Огнева, в которых нашли отражение и легендарная русско-черногорская дружба, насчитывающая несколько веков, и современные общие проблемы — борьбы за мир, против фашизма, в защиту общих идеалов — прогресса, строительства коммунизма.

1. Чем различаются воспоминания о войне бывшего начальника генштаба итальянской армии Уго Кавальери и моего друга, партизана Ивановича. И почему в одной песне славится Пеко Дапчевич и маршал Тимошенко, а в Которском морском музее хранятся «зачетки» русских учеников XVIII века — Куракина, Голицына и других детей дворянских и боярских...

Xозяин «пежо» — Иванович (он так и представляется), полный мужчина с усиками, здоровается за руку и заверяет, что песни русского в Цетинье, древнюю столицу Черногории, для него большая честь. Миро Джуркович, поэт и добровольный гид, укладывает чемодан в багажник и говорит мне:

— Поехали, как сказал Гагарин! — смеется. Тронулись. Первые же реплики моих попутчиков — и оказывается: они почти знают друг друга. На следующих десяти километрах устанавливаются общие знакомые. Дорога забирает вверх. Вспыхивает еще одна подробность: наш Иванович не более чем «чемпион Черногории по авторалли».

Заневает. Миро подткгивает мне красивым тенором. Потом оба ругают черногорские песни.

— Мы не музыкальный народ. Это все чужие песни. Первая — Македонская, вторая — сербская.

Но это говорится с гордостью.

Я дышу полной грудью — какой воздух! Пахнет каким-то особым настоем трав. Дорога петляет, медленно набирая высоту между громадных скал, сужается, входит в подобие скалистого коридора, заnim резко тормозит — впереди идущая машина сигнализирует и притормаживает. Едем в один ряд. Справа вспыхивает кормча. Обращаю внимание на название — «Царев лаз». И фамилия владельца.

...Корчма полна народа. Садимся за единственный свободный столик. Рядом большая компания черногорцев. Они кончили пить и сейчас хватают друг друга за руки и страшно кричат.

— Ничего, — улыбается Миро, — это так надо. Черногорец не даст заплатить другому. Так они могут кричать часами. Девушка дважды подходила к столу, но борьба за право заплатить только нарастала с новой силой.

Девушка уходит за перегородку. Кто-то включает большой телевизор. Замолкают даже претенденты на оплату общего счета. Включается Мюнхен, Олимпиада.

Мы поглощаем пиво, Иванович — кофе. Прежде чем заснуть, он делает медной турецкой круговые движения, как колдует. Как вертит барабанку. Оказывается, «так и надо пить по-черногорски». Гуща остается на стеклах.

На экране женский бег. Мелькают ноги. Нарастает волнение в кормице. Подходит девушка со счетом. Снова «сыльшка» короткой борьбы за престиж. Дрожат руки — сильные, закатанные до локтя, волосатые, напряженные, с скжатыми бумажками... А глаза — в телевизионный экран. Девушка пытается проявить инициативу и просто отнять у ближнего к ней парни деньги, он и сам рад бы разжать кулак, да братия по трапезе не дают. Девушка уходит ни с чем.

Фрагменты из книги «Югославский дневник», которая выходит в издательстве «Советский писатель». Журнальный вариант.



Ближе всех к телевизору сидит старик с седыми усами. Он так комментирует появление на экране нашей русской могучей метательницы ядра:

— Какой же муж у нее?

Старик явно растерян. Каечет головой. Ему, черногорцу, никак нельзя представить, что муж может оказаться поменьше, чем «эта сильная баба» с тяжеленным ядром. Мир рушится, и нельзя угадать, откуда придет беда...

К немецким спортсменам отношение такое же благожелательное.

Спрашиваю Миро: осталось ли в народе чувство мести? Нет, говорит он. И не потому, что черногорцы отходчивы. А потому, что новые поколения да и он сам (новое поколение — и немцы и черногорцы) знают обо всем попнаслышке, ведь сейчас в мире большинство — люди от 20 до 30 лет!

Удивлен. Как-то никогда не думал об этом.

Если земной шар населен в основном молодежью, то надо во всем вопросах смотреть только вперед, прежде всего вперед! И то, что мы, прошлое поколение, хотим напомнить — наш опыт, наши знания о жизни, — должно быть нацелено в завтрашний день наших детей.

Тогда память наша имеет какой-то смысл.

— А потом, — продолжает Миро, — тут у нас хзяинчали итальянцы. Мы с латинянами почти родственники. И счеты старые и знаем друг друга хорошо. В общем-то народ это добрыи. Воевать они не хотели. Особо, по своей инициативе не зверствовали. Но их заставляли...

Я говорю, что читал мемуары Уго Кавальеро, начальника штаба итальянской армии в прошлую войну. Он там приводит слова Муссолини, касающиеся, правда, словенцев, но тем не менее относящиеся вообще к славянам на Балканах: «Мы считали этот район спокойным... После того как начались военные действия с Россией, жители... считающие себя славянами, стали проявлять солидарность с русскими... Я думаю, что пора перейти к решительным действиям. Надо покончить с представлением о мягкоти и сентиментальности итальянцев. Югославы никогда не будут относиться к нам хоропо».

— К нему никто хорошо не относится, — философски изрек Миро. — А итальянцев мы любим.

Борьба за соседним столом вступила, кажется, в решающую фазу. Крик стоял страшный, стол качался. Девушка держала над головой пачку денег, пытаясь на цепочки и выплюнув грудь вперед. Отнимать деньги у нее не стали. Но тот, кто, видимо, проиграл эту схватку за честь, потребовал еще три бутылки вина. Он решил отомстить победителю, как мог...

Пора было ехать. Мы понеслись с ветерком по горной дороге.

— Войну я помню, — сказал Иванович. — Мы выступили сразу, поднявшись все — старые и молодые. Сначала одно село, потом другое, жгли костры на горах — далеко было видно...

Уго Кавальеро вспоминает: «14 июля 1941 года... Разговор по телефону с Бироли об инцидентах в Черногории. Спросил у Бироли: «Кто такие эти повстанцы и сколько их?» (Ну, прямо тебе Наполе-



На снимках:

Уочка в Которе.

Острова в Боке Которской.

Марко Маринович изображает русских учеников. (Картина неизвестного художника). 1711 год.

он по Пушкину: «Черногорцы? Что такое?..» Вл. О.-
15 июля: «Приказал Бирюле отправить в Черногор-
цию одну дивизию...»

— Ну, одной дивизией дело не обошлось, — добавил Иванович. — Жертвы были большие, очень большие. У нас во многих деревнях не осталось мужчин вообще. Сражались и женщины.. Всей Югославии мы потеряли каждого десятого..

Первым прерывает молчание Миро:

— У нас, черногорцев, смерть в бою священна. Об этом род не забывает, из поколения в поколение передается память о герое.

..Известно, что немцы установили в Югославии постоянный процент: за одного убитого оккупанта — 100 заложников. Потом, когда близился час возмездия, эта цифра сокращалась. Но она оставалась на уровне 10 за одного до конца войны.. Подсчитано, что если бы сохранилось первоначальное установленное количество заложников, то при большом количестве потерь в немецких частях, расположенных в Югославии, население Сербии, например, было бы очень быстро истреблено полностью!

Жена бывшего югославского посла в Москве рассказывала мне, что в их роду (она родом из Черногории) были убиты в боях за свободу прадед, дед, отец, браты отца, ее браты, сама она сражалась в дамации, была ранена.. Похожее положение в семье ее мужа. Как тут не понять кажущуюся хвастливой привычкой черногорца перечислять свои колена родословной! Тот же Бранко или Первеник скроговорковы слышат имена предков до пятнадцатого колена: «Перо, Мично, Миро, Бранко, Сретен, Радован...» и т. д. и т. д.

..Чем выше в горы подымается дорога, тем более суровее все вокруг. Сосны, изломанные, перекрученные, почти горизонтальные, нависают над дорогой. Кое-где видны обнаженные бурье корни.. «Корнем за камень..» Эта строчка Радована Зотовича приходит на память.. (Надо будет так назвать автобиографию черногорской поэзии, которую я составляю для «Прогресса».) Дорога опять спускается вниз. До Скадарского озера она — как ни кружишься — проплывает на юго-запад, но вот слева, позади, блеснули голубые воды, закружились горы, опять показались вблизи. Солнце последний раз бросает на них прощальный луч. Выше и выше пошла дорога.

— Вон Риека Црновича, — показывает Миро. — Плохо видно? Это — знаменитое село. Здесь создана была первая в Европе государственная типография.

Едем дальше. Слева внизу открывается вид на другое село.

— Добрское.. Николай I Петрович строил дорогу на Цетинье. Она шла там, ниже, видишь остатки трассы? Но жители заупрямились. Земли здесь плодородные. Это редкость. Сказали: не будем отнимать землю. Мы ее на горбу таскали. По корзине. По пригоршне. Рассердился Николай: ну, ладно, мол, пожалеете. И велел рубить гору выше. Так дорога прошла мимо Добрского села навеки.

— А теперь?

— И теперь, как видишь, в стороне село. Но люди предпочитают быть в стороне от больной дороги.. К вин и турки после других добрались...

— Все же добрались?

— А как же!

Долго смотрю на красные черепичные крыши, мечеть, зеленые сады Добрского села. Вечерний туман

заполакивает село. Последней видна головка мечты...

— У этого села свой характер, — говорит Миро. — Тут вообще упрямые люди...

Иванович спрашивает меня, знаю ли я что-нибудь о легендарном Пеко. Пеко Данчевич. Герой гражданской войны в Испании. В оккупацию о нем ходили рассказы, похожие на сказку...

— Он разоружил сто солдат. В Бельведере! — кричит Миро.

— Пеко — наша гордость. Он тут родился, — добавляет Иванович. — О нем у нас песни поют. Сравнивают его знаем с кем? С Тимошенко!

...В Цетинье удивительный музей.. Поражает количество русских экспонатов. Давняя эта трогательная дружба имеет свою историю. О ней существует огромная литература, и мне незачем блистать тут зрудники. Кто захочет прочитать об этом, найдет немало книг и описаний.

Но меня с новой стороны удивляла эта страница истории. Как-то удалось прочитать мне сборник исторических документов, в том числе письма черногорских владык к русским царям — от Давыдо до последнего, Николая. И что же открывается нам? Никогда не подвергна сомнению искренность и истинность дружбы русского и черногорского народов, многие дальновидные деятели Черногории видели тем не менее и с горечью отмечали и аутичные и политическую игру русского царского двора и его, империи обусловленного, политического поведения.

...Я усмехаюсь про себя: почитали бы эти письма иные наши исследователи из молодых сторонников «единого потока», кто в прошлом России перестает видеть реальный, сложный, социальный организм...

Мы ехали в Котор. Дорога бежала вдоль воды, но это было не море, а так называемая Которская Бока. Что такое Бока? Это что-то вроде залива, губы, фиорда, водной протоки, которая замысловато, наподобие лабиринта, врезается с моря в глубь побережья, петляя меж гор. В Боке всегда тихая вода, но глубина тут немалая. Особенность дороги вдоль Боки Которской в том, что сначала ты видишь город, перед собой, потом он удаляется, казалось бы, навсегда, но совершенно внезапно вырастает перед тобой с другой стороны и опять начинает играть с тобою в прятки. Нигде я не видел такого стереоскопического изображения городов! Дорога выделяется здесь петлями, хитроумнее и головоломнее которых и предстаёт трудно. Какой-нибудь Тиват или какое-нибудь там Лепетан возникают сначала на том берегу, а потом ты просто подъезжаешь к ним, незаметно обхвачив залив.. На тихой глади Боки долго маячит перед тобой прекрасная церквишка, словно плывущая на клочке земли, чуть больше ее фундамента.. Потом островок поворачивается другой стороной, и ты видишь, что он продолговатой формы, что церковь еще краснее на фоне купы деревьев, но вот островок исчезает за поворотом горы, и долго его нет вообще. Уже с противоположного берега Боки церквишка показывается вновь, но теперь совсем близко, и ты видишь, что островок скalistый и отсюда, с юга, церковь неповторимо освещена на фоне ярко голубеющего залива..

Мы приехали в Котор. Поставили машину на на- бережной и пошли в старую крепость, над которой возвышалась, бросая тень, огромная гора. На ее склоне, повернутом к заливу, виделись развалины крепости. В старом городе было прохладно, узкие улочки привели нас к музею. Это, я думаю, упиль-

ный морской музей. В средневековом домике, стиснутом по фасаду другими домами, потемневшими от времени и морских ветров, на трех этажах разместились экспонаты. С темных портретов смотрят бородатые мореплаватели, капитаны которыхих судов, на стеллажах макеты — шхуны, турецкие флаги, барки пиратов, стройные, быстроходные клиперы. Тут же, на полу, — каменные и железные ядра, таинственные жерла медных пушек, цепи, якори в ракушках, фигуры Афины, украшавшие носовые части кораблей, и вдоль стен — кортики, ятаганы, стилеты, канды, грамоты волынских городов Дубровника и Котора, рукописи прошлых веков, византийские, венецианские, турецкие, австро-венгерские и русские документы, письма — от Негоша, Петра, Николая — владык черногорских — к наместникам, русскому послу, английскому консулу, турецкому адмиралу.. Остановился перед старой картиной. С трудом разобрал надпись: «Русские бояре в 16-м веке участвуют в похоронах царя Петра Великого мореходному делу у Мартиновича». Конечно, не в 16-м, а в 18-м веке. И не одни бояре, а и дворянские дети. Тем паче, что на картине художник изобразил и «инкогнитые»...

Да, в те времена тут, в Которе, была известная мореходная школа Мартиновича. На картине изображен по одну сторону стола сам Мартинович. Погружен — шестеро русских в высоких островерхих шапках, все — внимание.. Я стал расспрашивать музейных работников о следах, которые ведут от этой картины к русско-черногорским связям. Русские были в Которе и в 1806 году — почти целый год. Тут стояла русская эскадра. Об этом я знал. А раньше?

Весь на неизвестном письме к Петру Первому не давал покоя. Я нашел человека, который «знал вчера», как он выразился, содержание письма. Речь идет о письме Змаевича к брату своему, а не к Петру. Значит, это другое письмо? Нет. Это то самое. Мне неверно сказали, что его адресат — русский царь. Но о Петре там рассказано много интересного. Что именно?

Мой спутник Миро Джуркович говорит, что это может знати Бранко Баньевич или Стоевич, титографские мои друзья-писатели.

Из Котора едем на запад. Рисан. Местечко маленько, прокаленное солнцем. В 1960 году здесь открыт павильон для обозрения редчайших мозаик, обнаруженных еще в 1930 году. Город Рисан — древнее поселение. Греческое название его Ризон, римское — Ризинум. В конце второго века нашей эры на частной вилле одного из граждан Рисана были созданы преросходные мозаики неизвестного мастера, которыми вымощены четыре до сегодняшнего времени открытых зала. Три из них выполнены в стиле геометрических мотивов, один же представляет собой редчайши в мире и единственным на территории Югославии мозаичный портрет бога сна Гипноса.

Я вошел в павильон с чувством какого-то странного смущения. Мозаичный пол — голубое с белым — простирается передо мной на небольшом возвышении, окаймленном камнем. По широкому бордюру можно было ходить, осматривая рисунок. Он навел меня на размышления о содержании геометрического сюжета. В большом квадрате (он, потом повторяясь) была вписана окружность, в которую, в свою очередь, концентрическими кругами вписаны другие, меньшего диаметра. От центра к большому кругу расходились тройные волны, в меньших повторяясь

¹ Тут упомянуты князья, бояре и прочие царевы слуги: Борис Иванович Куракин, Яков Иванович Лабан, Петр Голицын, Федор Голицын, Андрей Иванович Репин, Абрам Федорович, брат царицы московской, Михаил Матушкин и т. д.

рисунок, который при желании можно было трактовать как радиально расходящиеся солнечные лучи. Между сторонами наружного квадрата и жирной чертой первой, большой окружности помещалось схематическое изображение не то земляхъя водорослей, не то рыб.. Когда я сказал об этом своем впечатлении Миро, он недоуменно покал плечами: фантазия, мол. Но я остался при своем мнении. Нежужели нельзя предположить, что геометрический орнамент тоже когда-то вырос из обобщенного изображения реалистических примет мира, окружавшего человека? Море, солнце, растительный мир или фауна Средиземноморья по-своему могли влиять и на фантазию мозаичных дел мастеров прошлого.. Что касается Гипноза, он не производил того гипнотического впечатления, которое можно было предположить, зная про уникальный характер этой мозаики. В центре концентрических вымощенных фонов возлежал пухлый детина, который облокачивался на руку, наверное, чтобы не помять два крыла, выглядывавших из-за его полноватой спины.

Возвращаясь из павильона, остановился поговорить с чистеньким седым стариком, продающим входные билеты. Здесь, в Рисане, особенно любят русских, говорят он. Старик очень хочет побывать в России.

— Так колокол есть, Царь-колокол!

Вспоминает Ивана Грозного, качает головой. Какие, мол, цари у русских.. Один страшнее другого. Отсюда и порядок у русских. Бы-альшая страна! А Царь-колокол стоит еще в Кремле? — Не снails? — беспокоятся старик. — Очень мне хочется Царь-колокол посмотреть. Это не то, что на картинке, ведь правда?

Я обещал старику, что колокол мы не громен.

Говорим с Миро о старине, национальной гордости, свободе. Он как-то не совсем понимает меня. Разве может такое быть, чтобы любовь к свободе и родине своей не соппадали? Шли на разных курсах? Он смотрит, прислушиваясь, на вершину Ловчена и говорит:

— Негош¹ умирали... Понесли его на руках черногорцы вот по тем тропам, через перевал, на Цетинье... Знаете, какие последние слова он сказал? «Любите Черногорию и свободу!»... И закрыли ему глаза.

— Здесь Негош умирал?

— Да, на обратном пути на родину стало ему плохо совсем. Он все горопил друзей, хотел в Цетинье поспеть к смерти... На родину.

2. Старый партизан Лука думает о душе и рассуждает о русской литературе

В «Фонтане» играла музыка. Светящийся ящик странно подрагивал, словно икал. Хриплый женский голос обещал блаженство, которого не было. Народу было много. За свинцутыми столиками сидели бледные иностранцы — мужчины в длинный баках и рыхлеватых шкиперских бордоках, которые казались приклеенными, женщины, почему-то все очень худые, оголенные, с гремящими, как кастанеты, браслетами.

К нам подходил, смущено наступивши, коренастый старик. Подошел, погладил усы и прогнулся, не глядя на меня, узловатую крепкую руку. Я понял, что это мой будущий хозяин.

— Устал? — сказал он. — Отдыхать надо. Такой молодой, а писатель, — почему-то удивился старый Лука, хотя Миро был тоже писатель, а выглядел яв-

но моложе меня. Очевидно, догадался я потом, русский писатель должен был, по мнению старика Луки, выглядеть намного презентабельнее, — ведь он любил русских беззаботно, и всякая подделка тут не котировалась. Но все же я был оттуда. Деваться было некуда.

Вопреки прогнозам Миро, старик вовсе не собирался затевать попойку. Он ласково потрепал меня по рукау и сказал твердо:

— У меня жена весь день ждет гости. Ему приготовлена лучшая комната на втором этаже. Там чисто и тихо. Он может писать свои книги у меня, сколько ему понравится.

Миро досстал ручку и какой-то бланк и велел Луке подписать его. Старик презрительно отодвинул бумагу и сказал:

— Или ты думаешь, что Лука будет брать деньги с русского?

Он даже поднялся и показался мне много выше, чем раньше. Он стоял, гордо и хмуро смотрел на Миро.

— Ты совсем рехнулся, видно?

Его устроили, успокоил, что денег платить не будут, если он так обижается, и старик сразу же пошел.

— Разве я каждый день вижу руса? Когда мы воевали, мы видели вас чаще. Мы — борцы, для меня большой день сегодня, большой праздник.

— Кровать была удобной, подушки забытливо взбиты, но луна в окне и разные мысли не давали мне уснуть. Я вышел на балкон. Тучи давно ушли в горы. Под луной красиво блестели листья на дереве, блестела трава, блестела чья-то роскошная машина, напоминающая ракету, блестели крыши, блеск шел откуда-то из-под земли, ночь светилась и благоухала терпкими запахами цветов, смутно белеющих в тени дома. Мне чудились шепотом произнесенные слова, я прислушивался, но шепот этот то повторялся, то смолка. Нервы были одновременно и напряжены и окутаны этим лунным туманом. Состояние такое, как будто слушаешь музыку — «освободиться невозможно, и ты уже другой, не такон, какой был до этого, и, кажется, что-то должно произойти, легкое, загадочное, оставив прошлое в таком же смутном, недосказанном тумане лет...

— Не спишь, рус?

Я вздрогнул. Во дверь сидел мой хозяин и курил трубку. Как я его не заметил!..

— Спускайся, айда, такая ночь!..

Я спустился к старику Луке. Он показал на стул рядом с собой. Стулья стояли под навесом из вьюнка, который едва начал заплетаться вокруг тонкой проволоки. Сквозь него видны были легкие обличия, просвещенные луной. Лицо Луки было в тени. Выключив трубку, он сказал:

— Иногда становится не по себе. Вот идет себе жизнь, катится под горку. Ты воевал, потом детей растил, потом камень по камню, — он кивнул на дом, — шею гну, деньги есть, это правда, а все как в дыму, когда листья жгут осенью.. Горько в горле, и глаза что-то есть... Зачем все это, — он развел руками, — если интереса прежнего нет. Говорят, старый ты, Лука, блажишь, мол.. Нет, я знаю, что не то.. Я еще могу, я еще не старый. Только скучно мне так жить. Днем, знаешь, рус, можно все делать, нужно делать. Хозяйство, конечно, люблю, не буду врать.. Только не по мне видно, копить эти динары, когда все уже, кажется, и есть. Я вот книги стал читать, много читал. Библиотека у меня, рус, можешь посмотреть днем, большая — два ишака не увезут! Русские книжки люблю. Там про совесть пишут. Наша тоже читала. Думаю. И чем больше читаю, тем больше думаю. Почему я раньше, когда молодой

¹ Великий поэт, просветитель, владыка Черногории (1811—1851).

был, торопился все, да и время, прямо сказать, не до книжек было. То батрачил, потел, то воевал, кровь лили... А ныне думают все о суты жизни. Для чего все это...— Лука показал на небо, на край крыши своего дома, на фонарь, раскачиваемый ветром, на нас с ним поочередно, потом куда-то темноту, видно, на сарай с добром, которое он нажил на эти проклятые динары свои,— все это вокруг...

Да заинтересовался мнорным настроением Луки и готов был услышать еще немало интересных признаний, полагая, что это — только начало исповеди, но жена Луки строго позвала его в дом, и он спешно откланялся на ее зов.

— Да, рус, завтра рано вставать надо, привезут новые двери, надо снять петли старые, потом договориться с шофером о брикетах угля на зиму, потому...

Лука махнул всердах рукой и, пожелав мне спокойной ночи, ушел.

3. Чудесные события, связанные с Осман-пашой, который учился в Сен-Сире, внучкой воеводы Милянова, ставшей женой американского архитектора Райта, и письмом даматинца Змаевича к своему брату, в котором он рассказывает, как Петр Великий привез его в русские адмиралы Измайлова.

Бранко Баньевич везет меня в горы. Он сидит за рулем и рассказывает о Марко Милянове. Горский воевода, писатель-самоучка, герой войны с турками, он поссорился с владыкой Черногории Николаем I и поселился на горе Медун. Гора эта знаменита тем, что на ней осталась последняя камни старинной крепости посредине албанского царя. Турки разметали, что могли, но циклические камни крепости, неизвестно как возведенной в древнюю эпоху аллиров, им были не по силам. Они могли только настроить крепость, перекройти ее внешний облик по-своему. Потом время разрушило и турецкие сооружения. А албанская основа — фундамент дома Марко Милянова осталась. Простоит века, если ничего не случится с Землей нашей в целом...

Милянов оставил книгу, о которой пишут диссертации философи и этики. Называется она «О чистоте и юнацтве». Чистота — слово, трудно поддающееся переводу. В нем — и гуманизм и человечность, как духовное состояние и духовное начало вообще. Юначество — геройизм, мужество, но тоже на народной основе. Милянову принадлежит такое, например, определение чистоты: «Герой тот, кто защищает человека от другого человека. Человек тот, кто защищает другого от себя». Мысли, достойные раздумий в 20-м веке. Может быть, особенно в 20-м!

Подъезжаем к дому Милянова. Останавливаемся прямо над краем пропасти. Задние колеса машины упираются в валун. Бранко спокойно выходит из машины и показывает мне окам — горы, горы, долина у ног; покатые склоны лесистой горы — с другой стороны. Внизу подаль — школа, в долине — зеленые домиков крестья. Далеко разбросаны звон колокольев — стадо пасется у кромки леса. Пахнет дымком.

Дом Милянова одиноко стоит на вершине. Дом крепости.

Входим в музей. Беленые стены. Вещи Милянова, портреты, фотографии, оружие, рукописи... К ним сначала. Обращаю внимание на крупный каллиграф-

фический почерк. И на то, что слова почти не разделяются между собой. Но грамотная речь; образно говорит: «Одиночество безобразно, как слепота или мост, по которому все вдруг мимо».

— Он учился грамоте только в пятьдесят два года, — улыбается Бранко. — До этого воевал, некогда было. Эти строки из его стихов.

Читано еще один стих, вернее, двустишие — о власти и человечности:

Власть — что булава на шее.
Гуманность остается и после пепла власти...

Это говорит человек, облеченный только масштабами Черногории большой властью. Он был воеводой целого пламени, «кучей». Милянов разгромил турецкое войско под Фундином в 1876 году. Турок было больше в десять раз! Николай I дал борьку под Волчьим Долом, а Милянов — под Фундином. Турок пало тысяч двенадцать, черногорцев — всего триста сорок, говорит предание. А всего участвовало в бою сорокапять тысячное турецкое войско под командой Махмуд-паша под Фундином (южный фронт) и Осман-паша и Мухтар-паша — на северном, против Николая I. Мухтар-паша пал на Волчьем Доле, судьба же Осман-паша была по-своему удивительной. О ней стоит рассказать подробнее.

Он учился военному искусству не где-нибудь — в Сен-Сире, известной французской военной школе, основанной в 1808 году, в доме, который был построен еще при Людовике XIV. Кстати, и Николай I закончил Сен-Сир примерно в те же самые годы. Может быть, этим и объясняется почти детективный в по-своему романтический поворот сюжета в их отношениях... Осман-паша попал в плен после разгрома турок. Он играл в покер в Цетинье, жил абсолютно свободно. Но однажды пришло сообщение из Турции, что его любимый сын умирает. Николай отпустил Осман-пашу под честное слово. И папа вернулся, похоронив сына. Николай отпустил его из плена. Осман-паша больше никогда не воевал с Черногорией. Романтическая эта, рыцарская легенда подтверждается историческими документами.

Рассматриваю пробитое пулами знамя черногорцев. На белом — красный квадрат и в нем крест и инициалы: «Н. І. — Николай Первый». Как же оно изрешечено! Вот что, оказывается, означали строки позади Душана Костича, которые я знал давно: «Сердце мое пронзено болью, как флаг под Фундином...»

Вот котел на верталах, в котором великий старец варил пищу, вот гусы, на которых он играл, подпевая себе в долгие зимние ночи, вот его знаменитый «белокорап» — пистолет с длинной белой, словно воли, рукояткой...

Бранко рассматривает схему сражения, говорит вслух:

— Как на Сутеске!

Восторженно находит общий принцип партизанской войны, сам удивляется неожиданному открытию.

Рассматриваю материалы первой типографии на юге Европы. До 1496 года было выпущено 8 книг. Здесь были отличные шрифты. Печать в два-три цвета. При Иване Криоревиче (XV век) печатал некто Макарий. Так и набрасывало внизу титульного листа — «Макарий из Черногории». Макарий уехал Валахию (бывшую Румынию), печатал первые книги и там. Сохраняет память и имя Божидара Вуковича. Сорок лет прожил он в Венеции, печатая книги для славян. Умирая, завещал сыну, Винченцо, перенести прах его берегам Скадарского озера, в Черногорию.

...Вспоминаю в портрет Марко Милянова. Красота его мужественна. На портретах он такой же, как

на первых дагерротипах, донесших, к счастью, облик воеводы-философа.

А вот женщина, перепоясанная патронтасами, в меховой шапке. Дочь Милянова! Милянова воевала, как солдат с турками! Крупная, сильная девушка. Стоит с длинноствольным ружьем в руке, за поясом ятаган, пистолеты... Ну и ну!

Еще больше поражен, рассматривая фотографию рядом... Мария — вицуха Марко Бolla, оказывается, женой знаменитого американского архитектора Лойда Райта, создателя теории «открытого пространства», автора великолепных небоскребов и вилл. Вот чудеса! Но и это не все. Во времена балканской войны Мария приехала из Америки, переоделась в черногорский костюм и воевала в рядах соотечественников! Кончилась война, залечила рану, оставила у очага долому с запекшейся кровью, длинный чубук, подцепила саблю и, всплакнув по-бабски, стала натягивать на себя тонкие чулки, узкую, длинную по тогдашней моде юбку в серую крупную клетку, надела шапку на пароходе греческой компании через Италию, на океанском корабле «яготе-люкс», отправилась к Lloydой Райту, в Америку...

На одном из фото — друг Милянова, Новак Милович. Черногорцы это имя помнят. Ему после Фундина русский царь спасался с бриллиантами. Вот она, красавица!.. Новак спросила: «Сколько ты зарубил в боях?» Я считал до 27, — ответил Новак, — а больше не помню...» Когда умер Новак, над ним пела тужилица. Это плакальщица значит. (Я вспоминаю книгу плачей черногорских — редчайший документ народной сковорицницы искусства — «Поле ядиково. Антология народных черногорских плачей».) Не всякий заслужил такого эпического отпевания. О Новаке плач особенно прекрасны.

...Могила Владимира Василия в Петербурге. Не каждый знает, вероятно, что похоронен он у нас, рядом с Суворовым.

Умирая, завещал Марко Милянов половину своего дома под музей черногорской славы, а остальную половину — под школу для детей крестьянских, лес же и поле обширные воевода отказал посленам-ссыдям. А себя похоронить велел на вершине Медуна...

Идем туда по кругу тропке. Я нет-нет да и хващаюсь за жесткие ветки кизила — страшная высота. Камни из-под ног ссыпаются вниз, и звук их долго слышен. У ворот ограды не сразу отпираем заржавевший замок, входим в заросший травой дворик. Могила проста — камень с крестом и имя хозяина Медуна.. Ветер здесь злой, резкий. Огромная даль... Отсюда даже дон Милянов кажется маленькой кобробочкой внизу.

— А там — Ловчен. Там — Негош...

Бранко смотрит, приспущенными, вдаль. Я ничего не вижу. Только склоняющие цепи гор, снежные шапки скальных отрогов.

Спускаемся осторожно. Говорим о свободе, о высоте, о чувстве почти орлином, когда ты знаешь, что опасность может быть только внизу, а здесь — покой и воля... Бранко говорит:

— Негон был однажды в Венеции. В соборе ему протянули для поцелуя золотую цепь от креста. Он ответил: «Черногорцы цепей не цепляют!»

Здесь издавна рождались очень смелые и вольнолюбивые люди.

Мы садимся в машину и едем по каменистой, опасной и коварной дороге.

А вот и полина с вырубкой, за ней котлован, заросший лесом. Бранко говорит, что за той вырубкой и начинается поле браны, где Милянов остановил, а потом загнал турок в ловушку. Тут была страшная сеча. Долго еще потом плыли находки кости на своем пути, скрежетал по жезлам. В черепах и костях позиончиков до сих пор обнаруживают наконечники стрел



Черногорский поэт Бранко Баньевич.

и копий, пулевые дыры... А леса пошли в рост на этом месте, как сумасшедшие.

На обратном пути в Титоград обращаю внимание Бранко на странную цепочку развалин на головокружительной высоте.

— О, это остатки большой стены. Ты ничего не слышал о ней? Она когда-то разделяла Византию и Рим. Вроде Великой Китайской. Еще кое-что можно видеть ее остатки. Как строили ее? Сам удивляюсь. Ведь она шла через хребты, пропасти разделяли ее, скалы вставали на пути...

Я думаю о том, что люди всегда стремились отородиться от мира. И что это никогда им не удавалось. Оставались дороги, мосты, но рушились стены и крепости. От крепостей оставались борты. Разве что ворота...

— Большая протяженность у этой стены?

— Была она от Приморья до Сербии, — отвечает Бранко.

И тут я вспоминаю, что хотел спросить у Бранко о письме, как-то связанном с именем Петра Великого.

— Ах, это действительно любопытное письмо! Жил в Далмации, кажется, в Которе самом, некто Змаевич, мореход. Что-то у него там вышло, он должен был бежать на север. Попал в Карлсбад, нынешние Карловы Вары. До этого он жил некоторое время и в Царграде. И вот откуда-то с дальнего севера, видимо, с берегов Северного моря, пишет он письмо брату своему после многолетнего молчания о себе. И в письме сообщает, что в Голландии познакомился тамперие с русским гигантом, который за кружкой пива стал его экзаменовать по морскому делу и уговорил ехать с собой в далекую Россию, обещая богатство и славу. И вот Змаевич достиг уже и того и другого... Он — кто бы думал? — есть тот самый адмирал Измайлов, что был с флотом русских шведов. А гигант русским оказался... сам царь Петр!. Письмо действительно найдено не так давно и не обнародовано, я полагаю, не только в России, но и у нас. Нигде, кроме Черногории. У нас оно напечатано в документах по истории Черногории. Я тебя обязательно с ним познакомлю...

Всёкие, брат, у нас с вами связи были, — продолжал Бранко. — Например, ты знаешь, что Милорадович, который стрелял в декабристов на Сенатской площади, родом из Херцегнови, где ты только что был?

Конечно, первый раз слышу.

— А ты знаешь, что Врангель, барон тот самыи похоронен в Белграде?

Тоже пе знал.

— Видишь, сколько тебе еще знать надо,— смеется Бранко.— С этим белым бароном еще вот что связано. Был такой Душан Васиљ, юноша, талантливый поэт-революционер. Он написал стихи против белогвардейцев вахши, кляймил Александра Карагеоргиевича, царя нашего, за то, что принял как родных белых. Они тогда, помнишь, из Крыма и Одессы к нам через Грецию бежали...

4. О том, как умирал Антонио Мачадо. Как молодые остаются молодыми. И почему мосты священны храмов.

Cегодня у нас еще одна поездка с Баньевичем. Он везет меня к Складарскому озеру. На террасе загородного ресторана, одиноко стоящего на берегу озера, мы совсем одни. Официант приносит обед и уходит. Мы долго любуемся тихим закатом. Место редкое по красоте. Далеко неоглядные, до горизонта — камыши. Горы голубеют мягким полукругом далеко-далеко. К ресторану идет насыпь километров пять, не меньше. Краинки дикие голуби. По мелкому озеру ходят пеликаны.

Бранко рассказывает о Черногории и ее сынах удивительные вещи. Он говорит, что знает своих предков с XV века, и, верно, все пятнадцать поколений перечислены. Говорят, что все черногорцы, как это ни покажется парадоксальным, воевали, чтобы не погибнуть. Что это — качество романтическое. Он говорит, что сейчас начался процесс открытия родины для самих черногорцев. Обнаружено 250 церквей XII—XV веков! Открыто около 50 городов, в том числе легендарный Оболонь илиорийский, о котором высказывались догадки давно и в различных письменных источниках...

Как-то разговор заходит о войне в Испании. Я узнаю, что много черногорцев воевало тогда на стороне республиканцев. Главным образом интеллигенты, те, что учились в Загребе, Белграде, Любляне.

Недавно Бранко путешествовал по югу Франции. Он написал стихи о том времени, ему повезло — он познакомился с людьми, которые прятали беженцев.

— Я приехал в местечко Колмур, неподалеку от границы с Испанией. Здесь я обнаружил бывшее местонахождение Мачадо, ведь он умер тут в январе 1939 года. Я говорил со старухой, которая видела его и говорила с ним последней... Он был очень гордый, говорила она, он отказался оставить испанцев, своих спутников, и пойти ко мне, я видела — он очень старый, с ним все говорили с большим уважением. Я знала, что это великий поэт. У меня было маленькая гостиница недалеко от лагеря, где держали испанцев. Они жили на земле, грелись у костров. Он сидел, как большая птица, закутанный в старый плащ. У него застыли руки. Все умоляли Мачадо идти ко мне в теплый дом, но он не хотел. Я предложила ему, он гордо отказался, хотя был голоден, как все. Он знал, что еды мало, что всем все равно не хватит, но отказался быть и тут исключением... Старуха рассказывала, что люди, переходя границу, говорили, что позади они жгли леса, бросали оружие и плакали. Это были большие несчастные дети. Мне было страшно жаль их. Я им сочувствовала... Так говорила она... В это время, когда мы сидели с ней на террасе ее домика, испанские самолеты все время носились в воздухе недалеко от границы, и я тогда написал стихи... «Звук, как проловолка огня, в небе. Возвращаются наши кости из ямы смерти и небытия. Звук с головой змей в небе ползет всю ночь...» Мне казалось, что я вижу все, о чем рассказывает старая француженка, продолжал Бранко. Я видел Мачадо, кото-

рый все же, уже в бреду, позволил себя перенести в дом этой доброй старухи... Тогда она, впрочем, не была старухой. Она поила его с ложечки подогретым вином. Он умер на ее коленях... Не знаю, не пускает ли француженка, во она говорит, что с Мачадо была его мать. Она умерла якобы через два дня после Мачадо. Я буду с ним — последние ее слова... Мачадо умер шестидесяти четырех лет... Может быть, и вправду, мать могла быть с ним?. Самолеты испанцев летали с Майорки. Это я помню. И звук их смылся для меня с рассказом о смерти поэта...

Мы гуляли с Бранко по дороге, обсаженной ивами. В луках заходящего солнца кони на лугу казались красными. Они ржали и, стрекоченные, переступали ногами. Пастуха не было видно нигде. Их ели комары, и они резко вскидывали красные головы.

Вдруг Бранко закричал и остановил меня. На дороге к нам ползла змея. Он схватил палку — сухую ветку, к счастью, лежавшую на дороге, и не успел я опомниться, как змея с перебитой головой дергалась в агонии... Бранко поддел ее палкой и забросил в зору.

— Ядовитая? — спросил я.

— Да. Нам повезло. Она быстрая и прыгает. Негоша сказал: «Увидишь змею — убей ее!»...

— Сколько раз увидишь, столько раз и убей...

— Да, но увидеть ее трудно и один раз.

— Ты молодец...

— Первовиц скажем, что змея была вот такая...

Бранко показывает расщепленные руки. Он поверит.

— Зачем вы с Милорадом смеетесь над ним? Он очень милый и добрый.

— Мы не смеемся над ним. Он наш друг, но Сретен не знает шуток. И бывает смешным от этого. Потом он очень доверчив...

— Это хорошая и редкая черта, — говорю я сердечно. — Твоя француженка говорила о распаханных—дети, большие дети... Я думаю, только фашисты никогда не были детьми. Мы воевали с фашистами, не только по возрасту будучи детьми, мы были наивны, хороши наивностью. Все большие, становясь старше, я люблю наивных людей, люблю видеть в человеке веру, свет в глазах...

Бранко иронически улыбался.

Я родился в 1923 году.

Бранко — в 1933-м...

Я не стал объяснять читателю, что мой дневник не бедекер, не характеристика страны, а история встреч.

Человеческая история встреч. Судеб людей, каждого из которых несет с собою прошлое и будущее.

Иво Андрич, один из крупнейших писателей Югославии, сказал о мостах: «Из всего, что возводится и строит человек, повинуясь жизненному инстинкту, на мой взгляд, нет ничего лучше и ценнее мостов. Они важнее, чем дома, священны храмов, ибо они более обиные. Они принадлежат всем и каждому, равные со всеми, нужные, поздвижные всегда на месте, где сходится максимальное число человеческих нужд, они более долговечны, чем прочие сооружения...»

И нет ничего удивительного в том, добавлю я, что эти символические мосты приводят людей не только друг к другу — к своему прошлому и общему будущему.



Юрий
ЧИШЕВСКИЙ

ШКОЛА МАСТЕРСТВА

В Суриковском институте — защита дипломных работ выпускников графического факультета. Пришла волнующая и счастливая пора для молодых художников. Возбужденные голоса дипломников, шум и гомон «боевиков» наполняют недавно отстроенный актовый зал. Всюду озаренные каким-то внутренним светом молодые лица, и, несмотря на то, что за окном идет дождь, кажется, что за окном идет ярким солнцем. Все ждут часа, когда перед Государственной комиссией предстанут дипломники-плакатисты. Где-то в боковом коридоре виновники торжества, тихо переговариваясь, готовятся продемонстрировать свои пластины с плашками. Волнуются не только они, волнуются также и те, кто в течение шести лет был для них учителями, наставниками, старшими товарищами, те, кто терпеливо пестовал своих питомцев и готовил их к сегодняшней торжественной минуте. Среди них мы видим профессоров и преподавателей Н. Пономарева, О. Савостюка, О. Асапцова.

— Для нас, руководителей мастерской плаката, сегодня двойной праздник, — говорит Олег Михайлович Савостюк. — Праздник по случаю «выпуска в свет» очаровательной группы одаренных, отличившихся подготовленных художников и праздник по случаю того, что этот выпуск совпадает с юбилеем — 25-летием нашей плакатной мастерской, основанной замечательным художником Михаилом Михайловичем Черемных.

Пока экзаменационная комиссия не приступила к своим обязанностям, О. Савостюк рассказывает о рождении мастерской, о ее творческой деятельности, о том,

как много в ее работу внес М. Черемных.

...Это было четверть века назад. В студенческой мастерской распахнулась дверь, и на пороге показалась М. Черемных. Внимательно осмотрев всех присутствующих и сказал, что отныне он будет преподавать плакат. А через несколько минут завязался увлекательный разговор о проблемах развития искусства плаката, его будущем, о поисках своей творческой индивидуальности. До позднего вечера продолжалась беседа. Михаил Михайлович обладал удивительным даром — к нему тянулись ученики, перед ним охотно раскрывалась молодежь. Делились своими замыслами, мечтами, творческими удачами и неудачами.

С тех пор у студентов мастерской плаката начался новый период, а институт с этого дня приобрел нового профессора, замечательного педагога, обладающего высокой художественной культурой. Черемных был художником, мыслителем, изобретателем, мастером на все руки. Это он в 1918 году, будучи еще молодым человеком, не имеющим технического и музыкального образования, но обладавшим незаурядным слухом и большой художественной смекой, взялся перестроить бой кремлевских курантов и заставил исполнить часовой механизм на Спасской башне играть «Интернационал». Это он в 1919 году предложил поместить в пустующих витринах магазинов красочные агитационные рисунки и называть их «Окна РОСТА». Такой вид наглядной агитации сразу оценил Владимир Маяковский и, увлекшись интересным и очень

важным начинанием, отдал ему часть своей кипучей энергии, поэтическое вдохновение, дар художника.

Вспоминая об этом периоде, Маяковский писал: «Моя работа в РОСТА началась так: я увидел первый вывешенный 2-х метровый плакат. Немедленно обратился к заву РОСТА т. Керженцеву, который свел меня с М. М. Черемных...». Так Маяковский и Черемных рука об руку стали создавать первые агитационные плакаты. Можно считать, что с того времени начал зарождаться новый жанр в советском изобразительном искусстве, еще только набиравшем силы.

Это новое искусство, говорившее языком плаката, впитало в себя наследие мастеров мировой живописи и в первую очередь мастеров древнего русского искусства и русского народного лубка... Оно смело вышло на улицы, чтобы служить широким народным массам.

Черемных стремился передать ученикам весь свой богатый опыт и знания, — продолжает О. Савостюк. — Помнится, как во время занятий в мастерской профессор часто подсаживался к одному из рисующих студентов и, исправляя работу, винил будущему художнику, что не ремесленнический, не пассивный, а только активный, творческий подход к рисунку с натуры прокладывает путь к подлинному мастерству. Он советовал, какими средствами надо создавать герояческий образ, в каких случаях необходимо применять наиболее выразительные приемы, такие, как гротеск, метафора, гиперболизация. Обращаясь к молодежи, Черемных говорил: «Вы, молодые, должны остро подмечать новые явления в окружающей вас жизни, вам это доступней, чем старшему поколению». Старый мастер старалась приучить молодых художников к обостренному, образному мышлению в творчестве и в особенности в работе над плакатом, так как считал, что работа над плакатом значительно больше способствует концентрации образной мысли, нежели в других областях изобразительного искусства. И вместе с тем он утверждал, что молодой человек, отдавая свое дарование созданию плаката, не должен замыкаться в избранном жанре, он обязательно должен заниматься живописью, ибо живопись является родоначальницей всех видов изобразительного искусства.



После защиты
дипломных работ.
Июль 1975 г.

Фото С. ВАСИНА.

Говоря о бережном сохранении и развитии традиций и заветов своего любимого учителя, О. Савостюк подчеркивает, что тесные связи с жизнью, со всем новым, что возникает в советском обществе, являются непреложным залогом в методике преподавания в институте.

— Примеров тому много,— рассказывает он.— Вот хотя бы летние поездки студентов на стройки пятилетки. Да вы сами помните поездки наших учеников по командировкам «Юности» на строительство подешевой железной дороги в Тюменской области и интересные выставки, родившиеся в результате этих поездок. Одним словом, мы никогда не забываем девиз Михаила Михайловича Черемных: «Давайте делать прекрасное!»

...Мы идем в зал, где начинается защита дипломных работ. За столом Государственная комиссия—известные мастера советской графики: О. Верейский, А. Каневский, Е. Кибрек, И. Кузминский, Д. Шамаринов, профессора и преподаватели института. На стенах — работы дипломанта А. Курманаевского. Плакаты посвящены 30-летию Великой Победы советского народа в Отечественной войне. Молодой художник сумел найти об разные символы, раскрывающие тему беззаветного солдатского подвига, величие всенародного торжества.

Затем на стенах появляются плакаты Т. Завьяловой. Одна из ее работ посвящена борьбе за мир, другая — советскому спорту, две последних — оригинальные театр-

альные афиши, удачно гармонирующие со стилистикой драматургического произведения.

Все новые и новые работы на стенах. Они получают высокие оценки членов комиссии, которые говорят о том, что все десять выпускников старались в меру своего таланта создать новые образы, рожденные жизненными наблюдениями.

Наибольшее одобрение получили политические и театральные плакаты А. Петрушшина. Успех этот не случаен: летом 1975 года он получил вторую премию на Всесоюзном конкурсе политического плаката на тему «Советский человек — активный строитель коммунистического общества».

Искусствовед А. Новиков, рецензирующий дипломные работы, рассказал о том, какое большое влияние оказывают выпускники пластики мастерской, работая в издательствах, на улучшение художественного качества советского плаката. Он также поделился своими впечатлениями о недавней поездке в Париж в связи с экспозицией советского политического плаката в Лувре.

— Нас радует,— сказал А. Новиков,— что коллекция советского политического плаката получила высокую оценку за рубежом, радует и то, что в этой коллекции большой удельный вес заняли работы выпускников пластики мастерской Суриковского института.

А потом тепло и сердечно поздравил выпускников руководитель мастерской профессор Н. Пономарев, высказавший много добрых

пожеланий дипломникам юбилейного 25-го выпуска.

Государственная комиссия закончила свою работу. Гости и студенты покидают актовый зал под глубоким впечатлением от показанных работ. Невольно приходят на память экспозиции наших московских и всесоюзных выставочных залов, где можно было встретить много знакомых имен художников молодого, среднего и старшего поколений, тех, кто окончил в свое время пластику мастерскую. Вспоминаются яркие плакаты И. Овасанова, А. Непомнящего, А. Якушина, В. Каракашева, М. Лукьянова; интересные автографы В. Смирнова, И. Большаковой; острые штиховые рисунки Р. Варзигулянца; яркие живописные полотна О. Савостюка, Б. Успенского, В. Владыкина. Из этого далеко не полного перечня можно сделать вывод, что бывшие выпускники и нынешние преподаватели пластики мастерской с успехом выступают в различных жанрах советского изобразительного искусства.

Работы пластиков-суриковцев мы частично показываем на страницах нашей вкладки и обложке. На первой странице воспроизведены рисунки для «Окон РОСТА» основателя мастерской профессора М. М. Черемных. На следующих датах репродукции плакатов, живописных и графических работ художников последних выпускников Суриковского института, выступавших на художественных выставках нынешнего года.

Григорий Шоженян



Беседы с сыном

I

Знаешь ли ты,
что летают обычные люди.
Сонный швейцар
и садовник с веселую лейкой.
Что полосатые зебры
и пони с коротенькой челкой
ночью беседуют
о длиноносики жирафах.
Веришь ли ты,
что деревья и мыслят и помнят.
Что неспроста
даже глупый слоненок
красным песком обсыпается
после купанья.
Знаешь ли ты,
как в неволе тоскуют тарпаны
и наслаждаются
полной свободой дельфины.
Слушал ли Баха небесного
вечные « страсти ».
Слышишь ли ночью,
как гулко стучит
в Миссолунгской долине
Байрона сердце —
он грекам его завещал
после смерти.
Мир полон звуков,
непрочитанных книг
и открытый.
Помни все это.
И не забудь,
что летают обычные люди.

II

Однажды зимой,
а точней, в середине зимы,
когда не хватало тепла
моему маленькому сыну,
когда не хватило ему синевы —
мы к морю уехали.
Сыну понравились горы.
Я вырезал палки из бука,
запасся едой и питьем,
и горной тропой,
не широкой, но узкой,

мы начали с сыном
свой первый подъем
к вершине,
которую не было видно.
Он шел, отступаясь,
На еще не окрепших ногах.
Шел, падал и плакал,
шел, падал и плакал.
Я строго прикрикнул:
— Что все это значит!!
Мужчины не плакут, — сказал я.
Мужчины не устают.
Мужчины не плакут...
Все было у нас.
Горе раннее долго стояло в дверях,
чайки резко смелясь,
гуси горько кричали,
а путь его был только начат.
Но... — Мужчины не плакут —
металось, как эхо в горах.
Мужчины не устают.
Мужчины не плакут.

⊗

Топчи, топчи свой след, Авдей,
мужая и скорбя.
По веточки,
по щепоточке
растаскивай себя.
Души, души
и хмель, и хворь,
и женский всплеск,
и плен,
кистей коричневым кольцом,
венцом набухших вен.
Мучительством немых ночей,
слепящим светом дня,
живым огнем
гаси огонь
Антонова огня.
А что осталось
за рекой —
забудь и не зови.
До берега подать рукой.
Плыви, Авдей, плыви.

⊕

— Что вы сказали!
— У меня роман...
— Роман!!
— А что ж!..
— Роман, подобный грому!!
— А может, он сродни аэродрому,
с которого уходят на таран!
А может, в подень вспыхнувший пожар
в бору, звянящем от сухого зноя!
Никто не знает, что это такое.
Но неземной плывет воздушный шар,
Плынет легко и плавно над паромом,
над колокольней,
облаком
и громом,
над завистью,
неверием,
щеткой,
пронизанный щемящей высотой...
Да, у меня роман с моей женой.
И кажется таинственное двери,
смешное и нелепое потери,
когда ее дыханье за спиной.

Круги

Скажи, зачем ты предала круги!
Все стало явным и невыносимым.
Вонзился дятла стук
в призыв гусиный,
и кто-то крикнул:
— Цапля без ноги!
Скажи, зачем ты предала круги?
Не я ль поверил,
что все три разлома
земной коры
сожились у окон дома,
где ты так просто предала круги!
Теперь казнись, юли, притворствуя, лги!
И звон, и звук
тобой разъяты:
в квадратном море
трутся волны квадраты.
Скажи, зачем ты предала круги!..

Семен Данилов



Перевод
с якутского
И. ФОНЯКОВ

Людмила Щиахина



Самолету

Я люблю твой полет, самолет,
Алюминиевый спутник прогресса!
Над полями, над кромкою леса,
Над землей, где арктический лед
И копюючи туманов завеса,
Так привычен и точен полет!
Я люблю эту страсть — улетать!
В белизне облаков, как зимою,
Холодеющий воздух глотать.
В немзведанных далах плутать.
Отдаленно парить над землею
И всегда приземлены ждать.
Я люблю это чувство разлуки.
Новизну, Перемену пейзажа.
И какуюто ветрею-юсть даже
В мимолетном прощании рук.
Я тоскую по жизни такой!
Под раскаты небесного грома!
И на плоскости аэродрома
Мне завиден недолгий покой.
Самолет, я ловлю твои тень.
Я лицо подставляю зениту
И смотрю высоко и открыто,
Как тобой начинается день.

Дороги

По зеленои планете, прекрасной и трудной,
Пролегают дороги сквозь тунды и прери.
Вот и я выхоку на большак многолюдный,
Преображаю в кровинку великой артерии.
То лечу я — участник неслыханных гонок,
Как стрела из легенды, со временем сбывающейся,
То, бывает, грушу, как грустна олененок,
От родного стада случайню отбившийся.
Но всегда, отовсюду я снова и снова
Прилечу повидаться с пенатами кровными.
После шумного мира — большого, цветного —
О, какими они вдруг покажутся скромными!
Глухи. Равнина. Лишь белые горы теснятся
У черты горизонта. Но как бы то ни было,
Здесь — и только! — мне сны мои лучше снятся,
На любимой земле, где родиться мне выпало!
Улыбаюсь аласу, очажному дыму,
Невысоким кустам, что к озерам склоняются...
Все дороги ведут к ним, как в древности —
к Риму,
Все дороги земные от них начинаются!

Молодости

В шумной столице, в любом захолустье
Жизнь не игра, как ее ни крои.
Вот почему я с улыбкой и грустью
Слушаю легкие песни твои.
Песни! Что может быть в мире чудесней?
Только от века во все времена
Счастье у жизни не выпросишь песней —
Требует горького пота она.
К трудным выстоли ее от подножья
Не воспаришь, ик взбежишь налегке,
Будут и холод и грязь бездорожья,
Будет поклана в походном мешке.
Знаю, что многое будет по силам
И по плечу, несомненно, тебе,
Но поклонись для начала могилам
Павших за счастье в суровой борьбе!
Выдержишь ты — за тебя не боюсь я,
Всюду, где надо, пробьешь колеса.
Знаю! И все же с улыбкой и грустью
Слушаю легкие песни твои.

Разве я
неправа?



Еще в младших классах нам говорили, что в нашей стране полностью ликвидирована неграмотность. Это, конечно, правильно. У нас давно все умеют читать и писать. Более того, словарный запас у людей очень-очень большой. Но вот что странно: некоторые взрослые не знают, когда certaine слова нужно употреблять, и поэтому получаются довольно грустные вещи. Когда в одной кинокомедии герой корчит из себя образованного и говорит о своих чувствах к девчушке: «У меня в голове такой водевиль, ах, мерси!», — то это смешно, когда учителя труда совершенно серьезно заявят, что «на двух следующих уроках мы будем заниматься экспертом мусора со школьного двора», то это уже совсем не смешно. Тем более, когда мы все засмеялись, думая, что он пошутит, учитель сказал, что мы «герниозно» невостребованные люди, и пожаловался на нас классному руководителю. А один знакомый моих родителей, когда я ему об этом рассказала, заметил, что «человека надо судить по его труду». «Дорогая «Юность!» Разве хороший труд может быть оправданием элементарной неграмотности? Я считала, считаю и буду считать, что это не так. В наше время, когда у людей такие возможности для учебы, быть неграмотным просто неприлично. Разве я неправа? Объясни мне, пожалуйста!»

С уважением

СТРЕЛЬЦОВА Лариса, ученица 10-го класса.

Москва.

СТЫДНО БЫТЬ МИТРОФАНУШКОЙ

Столовая научной библиотеки. У людей, которых бывают здесь, — высшее образование. У многих — ученые звания и степени. К буфету подходит молодой человек, с иголочки одетый, по моде причесанный, холеный. Жизнерадостно осеняется у тех, кто стоит в очереди:

— Кто крайний?

Получив ответ, замечает знакомого и говорит:

— Уже покушал? А, я еще не питался. Чего не звонишь? Ну, будь! Дамы звякну и заскочу! Передав привет супруге.

Распрощавшись, он обратился ко мне:

— Сколько времени?

Я ответил, что ульбки сдержать не смог. Уж очень комичным было противоречие между тем, как молодой «научный работник» выглядел и тем, как говорил. Чити ни фраза, то ошибка: лексическая, стилистическая, орфоэпическая, грамматическая. Человек, замыкающий очередь, называется не «крайним», а

«последним». Распространенное представление, что слово «последний» в подобном и сходных случаях звучит обидно, — вздор! Его еще Чехов высмеял. Слово «купщина» носит отпечаток подобострастности. В слове «звонишь» — ударение не на первом, а на втором слоге. «Передав привет» — вместо «передай», «звякну» — вместо «позовю», «супруга» — вместо «жене» — характерные признаки малограмматичной речи.

Молодой, холеный, довольный собою посетитель столовой для научных работников заметил мою улыбку. Он озабоченно проверил, не рассстегнулись ли у него пуговицы, не съехали ли галстук, не растрепались ли волосы, нашел, что все в порядке, и удивленно поглядел на меня. Меня же насынила не его облик (тут все было сама корректность), а речь. Речь, которая вспомнила о некультурности и наводила на грустные размышления о том, как он творит свою статью, как пишет диссертацию, как — страшно подумати — выступает на конференциях и симпозиумах, представляя, чего доброго, отечественную науку.

По торжественной мраморной лестнице, которая ведет в научные залы, мы поднимались одновременно. Я гадал: в какой зал он направил свои стопы? В зал гуманитарных наук! (Это гуманитарий! Кто же он? Только бы не филолог! Ну, а если историк, философ, социолог, специалист по педагогике? Любое из этих предположений казалось мне оскорбительным. Однако, оказалась он специалистом в области технических наук, все равно стыдно.)

Я забыл бы эту встречу, если бы знакомая машинистка не рассказала мне доверительно, что у нее с некоторыми из портфелей выглядные заказчики. «Он берет от них вдвое, а то и втрой. Они не только охотно переплачивают, но еще и пылят благодарят ее, дарят цветы, шаркуют ножкой. И есть за что! Она исправляет в их курсовых, дипломных и даже диссертационных работах орфографию, расставляет знаки, «принчищает» стили.

Один из таких заказчиков, расплачиваясь, проникновенно сказал ей:

— Категорическое вам спасибо! Внешняя форма работы играет теперь большое значение!

Смысла был бы, с какой презрительностью и пренебрежением повторил его фразу эта женщина! Со школьных лет она твердо знает, что «играть» можно «роль», но никак не «значение». Она привыкла, если не уверена, как писать, заглянуть в «Орфографический словарь» да в один-другой справочник, которые у нее всегда под рукой. Для ее заказчиков эти нехитрые пособия — книги за семью пачетами.

— Как же ему не благодарить меня категориче- ского, когда он пишет «координатная проблема», но зата «координировано»!

Возраст ее клиентов, которые не в ладах с грамматикой, — от двадцати до сорока лет. Это значит, что для них малограмматичности оправданий нет...

Мне приходилось в годы студенчества слушать многих прекрасных лекторов. Но мне часто вспоминается лектор, о котором этого никак не скажешь. Он был славный, добрий человек. Но как он говорил! Его изречения записывали и цитировали. Неравнодушный к мифологическим образам, наш лектор не в шутку, а всерьез объяснял, что некто вынужден заняться «изюмкой работой», имея в виду «изюмки труда». Он же находил, что у некоего общественного установления прошлого века было «чтение ахиллесовых пяты». Поминал «городской петлю», подразумевая «городен узёл». Ударения в словах он расставлял фантастически. Трагикомическое коснись-заныкало приоткрывало биографию: «ученик», которое

началось поздно и шло урывками. Его речь можно было объяснить временем и судьбой.

Но клиенты моей знакомой машинистки, современные дипломанты и диссертанты, чем оправдывают они?

Мне часто присыпают на отзыvы рукописи начинающих авторов. У всех — законченное или незаконченное высшее, минимум полное среднее образование. Не стану касаться художественных достоинств и недостатков их дебютов. Это особая тема. Но многие рукописи поражают недостаточной грамотностью. Недостаточной не только для литературного произведения, но и для школьного сочинения, для частного письма.

Принадлежи эти писания, в которых стоят произвольно «ен» и «ни», мягкий знак появляется в глаголах там, где ему быть не положено, слова вроде «спесчай» и «серебряный» непременно пишутся через два «и» и т. д., людям, которым суровые жизненные обстоятельства помешали учиться, тогда это было бы понятно и простительно. Но тоже лиц отчи. Потому что каждый, кто решил в наше время заниматься литературным трудом, а также и научной работой, обязан во что бы то ни стало овладеть родным языком, не только его правилами, но и его исключениями, тонкостями, сложностями, в которых выявляется живая жизнь языка. Если он знает, что нетверд в родном языке, должен не похаживать ся и времени, чтобы избавиться от малограмотности и косноязычия. Иначе стать писателем он не сможет!

У меня был друг — ленинградский рабочий, начинавший литератор Борис Иванович Богданов. В годы войны жил он вдали от родного города, в эвакуированном детском доме. Учебники и тетради не хватало. Ему не пришлося закончить даже неполной средней школы. Он работал на Севере, в геологической экспедиции. Тут я процитирую его книгу «Лед и пламя»: «В шестой класс я пошел, когда мне первоначально за тридцать... что же... меня заставили... отправляться в школу? Стыд!»

Это было в экспедиции. Как-то мне пришлось писать объявление. Эка невидало объявление. Взял да написал. Вывесил его в столовой и довольный вернулся домой. И вдруг прибегают девчата-минералоги и приносят мне мое объявление. Они увидели в нем грубые ошибки и, чтобы спасти меня от конфузии, поспешили снять.

Этот случай заставил меня не только покраснеть, но и серьезно задуматься. А когда задумалась, решила вернуться в Ленинград, пойти учиться».

Взрослый человек устыхал недостаточной грамотности, стиснув зубы, круто переменил свою жизнь, сел за парту и закончил школу, работал при этом в мартеновском цехе. Мы долго переписывались с Борисом Ивановичем. Его письма не просто безуказированно грамотны, в них — прекрасное чувство родного языка, отточенное вдумчивым чтением, долгой работой, упорными упражнениями. Стыд, испытанный им, несмотря на все причины, которыми он мог бы оправдать прошлую недостаточную грамотность, мноим, к сожалению, неведом.

Как часто рукописи, присыпанные в редакцию авторами, не знавшими и сотов доли тех трудностей, испытанных человеком, о котором я только что рассказал, встречаются такие вот «написания»: «Айкоратные собаки», «охХоди свой пыл», «облАкотис», «непосебе», «мНедайные пирожные» и так далее, и так далее, и так далее. Особенно буйна орфография в словах иноязычного происхождения: «тамОр», «ККсОлатор», «анОна». Многие не различают смысла слов: «благотворный» и «благотворительный» и пишут: «жена способна на благотвори-

тельное воздействие». Бывают в иной рукописи сотни грубейших ошибок. Не буду касаться художественных достоинств таких произведений и литературной одаренности их авторов. В таких случаях обычно на того, ни другого нет и в помине. Но, читая подобные сочинения, ясно видишь автопортрет современного Митрофанушки, не подозревающего о своем невежестве, самоуверенного, самовлюбленного и нередко преуспевающего. Невольно задумашься не только над тем, как он учился, но и над тем, как его учили. Не только о том, как он ухитрился получить аттестат в школе, как попал в университет, как унес оттуда диплом, но и о тех, кто это допустил. Проблемы грамматики переходят тут в проблемы этики, против которой жестоко согрешали те, кто выпустил на профессиональную орбиту такого неука.

Неграмотность возмутительна не только в литературных опытах. Объяснительная записка к проекту, акт инженерной экспертизы, служебная докладная, история болезни, написанные с ошибками — это тоже скверно. Никто из нас не захочет оперироваться у врача, который нетверд в азах своего дела, убежит из самолета, если скажут, что пилот профессионально недостаточно грамотен, будет возмущаться саженником, который прибьет каблук так, что он на следующий день отвалится. Почему же мы так снисходительны к невежеству и неряшливству, когда они касаются того, чем уверенно и безошибочно должен владеть каждый, кто берет в руки перо?

Не лучше малограмотных писаний малограмотная речь. Современные молодые люди обоего пола весьма озабочены тем, какое они производят впечатление внешне, но многие из них совсем не беспокоятся о том, какое они производят впечатление на слух.

...Выходят новые и новые книги о культуре речи. Печатаются учебники, словари и справочники. Издается журнал «Родная речь», на страницах которого живо и убедительно рассказывается о том, как слеует и как не следут писать и говорить. По радио звучат превосходные передачи о русском языке. Дежурные сотрудники Института русского языка безотказно дают по телефону справки о каверзных случаях и разрешают сомнения. Словом, проверить правильность своей речи и письма, найти способы и помощников, чтобы избавиться от ошибок, можно. Было бы желание, было бы чувство, что говорить и писать на родном языке с ошибками — срам!

Но книги о культуре речи читают, но журнал «Родная речь» вспыхивают, но передачи о русском языке внимательно слушают люди, которые неплохо говорят и пишут. Современные Митрофанушки этих книг не читают, этого журнала не выписывают, по этим поводам волнения не испытывают.

Все они уверены, что говорят и пишут правильно. У Митрофанушек сомнений не возникает! Путаясь в падежах и родах, не умев согласовывать придаточные предложения с главными, склоняя слова, которые не склоняются, и не склоняя те, которые склоняются, они храбро берутся писать повести, читать доклады, выступать с речами и даже поправлять тех, кто говорит правильно. Как тут быть? Не берусь говорить обо всех возможных и нужных мерах. Одно- му это не под силу.

Но всего важнее — вот почему я и пишу за этот на страницах «Юности» — понять, что время, когда для безграмотности и малограмотности можно было найти убедительные объяснения и уважительные причины, безвозвратно прошло. Когда-то можно было говорить о неграмотности, что она, подобно болезни, не позор, а несчастье. Теперь она позор.

Сергей ЛЬВОВ

Владимир Рецентер



Пусть весело тикают наши часы,
еще далеко до плохой полосы
и тысяча верст до разлада,
поэтому плакать не надо.

Удача пока еще в наших руках,
и с первым лучом отбданется страх,
а если зовет электричка,
что делаешь, — это привычка.

А новое что-то в ночи началось,
недаром пришел на окраину лось,
стучал по асфальту копытом,
напомнил о чем-то забытом...

Веселым дьяволом вломиться в гости к вам,
веселым дьяволом, совсем не по делам,
смешить до хохота веселой чепухой...
Как жалко все-таки, что я шутник плохой...

Затеять с вами суету вокруг стола:
тарелки, рюмочки — прекрасные дела!
Стать щедрым, великоливым, изящным
тамадой!..

Как жалко все-таки — уже немолодой!..

Веселым дьяволом с гитарой под рукой
смутить ваш призрачный, наиграный покой.
Прощаться за полночь в прихожей

пять минут,
пускай вас в комнате другие гости ждут...

Веселым дьяволом похитить вас у всех,
чтоб ваш таинственный лишь мне достался
смех!..

И по окраине бродяжить до утра.
скрывая разину — где правда, где игра!..

Присядь на колени ко мне,
как Саския, вполоборота,
посмотрим, как тихо в окне
плывут облака без расчета
на вечность... И пусть облакам
на миг мы увидимся сами
без муки, с грехом пополам,
сквозь пыль в нераспахнутой раме...



Мне снилось, что не брошено письмо
и не совершенны в сердцах поступки,
из-за которых нас толкло, как в ступке;
что зеркало глядит в себя само —

в нем не отражены следы разлома
и нет ни ожиданья, ни тоски;
а мы с тобой, как юности близки,
без обязательств, денег и без дома...

Улыбки на губах, и невдомек,
что впереди такая переписка,
и двадцать лет в минуту, и так близко
сон, вывернувший время, как чулок...



Оставь меня на крайний случай,
когда судьба тяжелой тучей
взойдет над светлой головой
и будешь знать, что я живой...

Оставь меня на крайний случай,
на самый крайний, неминуемый,
на край, на гибельный конец,
и голос твой, как твой гонец,
проникнет в бедные пределы
мои, а воздух поредельный
позволит мне докти, домчать,
чтоб вызволять и выручать...

И я тебя на самый крайний
приберегу и клини втайне,
и — наяву или во сне —
и ты потянемшься ко мне...



Ты заметил, как чайка сварлива,
как ворона картава и зла!
Как мотаются возле залива,
как холеные носят тела!

Как нахальны и как беспардонны!
Как уверены в праве на крик!
Ах, и ты потерпел от вороны!!
К этой чайке и ты не привык!!

Вон одна загорает у лодки,
а другая глядит в небеса...
Да, конечно, конечно, красотки!..
Голоса выдают, голоса...



Памяти Е. М. Грановской.

Актриса пела песни Бераник.
Она была богата и прекрасна,
поклонниками управляла властно:
тот — по душе, а тот — не по душе...

Актриса знала тайны ремесла,
умела быть француженкой, испанкой...
Нет, жизнь не обернулась к ней изнанкой,
но молодость и славу унесла...

Старушка выходила посидеть
наベンском ступе в театральный дворик
закутанная, в валенках... И горек,
казалось, день ее: ведь рядом смерть!
Но сколько было мужества в душе,
что, говоря о гибели без боли,
она ссыпалась, будто с прожиной роли,
и напевала песни Бераник...



Александр
ДАНИЛОВ

Среди боевых товарищей он прослыл чрезвычайно везучим человеком. В батарее он не говорили, что он родился в рубашке. Слухи о его находчивости и неуязвимости вышли за пределы дивизиона. Этой его репутации особенно окрепла во время штурма Великих Лук, когда две его стодвадцатидвухмиллиметровые гаубицы в течение трех с лишним недель вели огонь прямой наводкой, ни разу не сменив позиции. Бывало, по двум его гаубицам по несколько часов кряду работало до трех минутных батарей. И вовсе редкий случай, когда против двух его гаубиц немцы подтащили на прямую наводку две зенитки, но он сумел одну зенитку подавить, а вторую немцы поспешно оттащили с открытой позиции.

Под огнем он работал исключительно хладнокровно и изобретательно. Когда в дивизии рассказывали о том, что один парень умудрился втащить свою двухтонную гаубицу в церковь и оттуда несколько часов методично уничтожал огневые точки передней линии немецкой обороны, не давая немцам подняться головы — это совсем уже было похоже на солдатскую легенду. Тем не менее это было, как говорят, гольй факт и можно вполне конкретно указать, где именно это было: деревня Шарапово под Великими Луками, которую немцы хорошо укрепили и за которую шли очень тяжелые бои.

Сам он был одержим верой в то, что его не убьют. На войне эта вера молчаливая. Он не приянято говорить вслух. Он сказал однажды и увидел, как смущались бывалые солдаты. Одержимых убивают чаще — это тоже относится к бытовым птицам войны. Он открыто бросил вызов всем богам войны. Именем после этого — осенью сорок второго и в особенности зимой сорок третьего года — последовали затяжные тяжелые бои в районе Великих Лук, большую часть которых он провел на позициях

ИСПЫТАНИЕ

прямой наводки. Боги войны его вызов не приняли: из этих боев он вышел без единой царапинки.

Его мина была не та, что попала в двух шагах от него в ровину у Запорожского шоссе в августе сорок первого года. И не та, что разорвала его грудь осколками под Рамушевым весной сорок второго года. И не та, что разбила его гаубицу под Новосокольниками зимой сорок третьего года. Среди сотен мин, которые неделями искали его на открытых позициях, его мина тоже не оказалась. Его мина вообще его не искала. Он нашел ее сам.

Ему надо было присмотреть место для будущего капонира, в котором мог бы стоять тяч-«студебекер», и он решил в качестве котлована использовать глубокую воронку. Он нашел такую воронку в лесу под Новосокольниками недалеко от позиций батареи. Подумал, повезло. Спустился по заснеженному откосу и стал пробовать лопаткой дно. Раздался сильный взрыв.

Это было 23 марта сорок третьего года.



Наш рассказ — это рассказ о судьбе бойца. И пусть короткая справка о фронтовом прошлом бывшего артиллерийского сержанта Анатолия Покрытана будет прологом к этому рассказу.

II

«Я долго падал. Мне казалось, что я падаю. Но куда я мог падать? Вероятно, меня выбросило из воронки. Я сразу вскочил на ноги и спас, как под Новосокольниками, подумал: «Цель!» Ощупал тело руками — цел! Боли не ощущал. Тут же сообразил, что ничего не вижу. Засорило глаза. Раздвинул веки пальцами — ничего не вижу. Кто-то набросил мне платок на глаза. Кому-то я отдал свой пистолет. Меня взяли под руки и куда-то повели. Платок пах бензином».

Потом — Великие Луки, Калинин, Иваново. В Иванове сделали первую операцию: вставили распорки и изголовья выковыривали из головниц песок, землю, пороховинки. Результат не было.

В конце июля стали прибывать раненые с Курской дуги. Госпиталь быстро переполнялся. «Вас надо выписывать», — однажды после осмотра сказала ему военврач. «Куда?» «Ну, куда же тебя, родной, выписывать? Только в дом инвалида...»

Покрытан отказался насторож.

Снова санитарный поезд. Везли долго. Потом объявили, что поезд прибыл в Иркутск. Покрытан понял, что это его конечный пункт.

Позднее, когда он принял свою новую реальность как неизбежное, он понял, что в первые недели и месяцы после ранения все еще пытался жить по законам человека зрячего. Все, что произошло с ним, считал он, означало лишь, что мир сковался до масштаба отчужденной позиции. Всезе орудия он бы не мог оштабить. Конечно, командовать отгневным взводом ему уже не под силу, но быть заряжающим или подносищиком — вполне. Надо только добираться до батарей.

Он совершил побег из госпиталя. Товарищ по госпиталю проводил его на вокзал и помог проникнуть в вагон. Однако при первой же проверке докumentов его обнаружили, сняли с поезда, да еще и долго выговаривали за то, что отрывал от дела занятых людей...

Некоторое время он еще не оставлял мыслей о возвращении. Его прежняя жизнь была еще слишком близка. Она сохранилась в привычках и ощущениях, его мышление по-прежнему опиралось на зрительные образы, которые хранила его память.

Однако же его жизнь уже управляли другие законы. Это проявлялось в том, что привычка к действию вытеснялась в нем привычкой к размышлению. Чекоторое время он себя в этом отчете не отдавал и не думал о том, что перемена эта качественная. Все его размышления по-прежнему были направлены на обдумывание действия, которое прежде всего имело для него смысл физического перемещения в пространстве. Но однажды он понял, что дело не в тактических просчетах. Дело в том, что он уже не может относить себя к массе людей живущих, работающих, вояющих, читающих, наслаждающихся...

Он понял это не сразу потому, что ни одному здоровому человеку такое не может прийти в голову.

Он понял, что порвана самая прочная связь, соединяющая любого живущего человека с другими, с миром — тем миром, который есть сама жизнь.

Это была настолько простая и горькая истинна, что понял ее он не хотел верить в нее. Сначала он постиг это умом, но затем настал неизбежный момент переживания, и он сразу ощутил разрыв между своим насторождением и прошлым. Он почувствовал, что на-

дает в бездонную пропасть, что даже разбиться ему не суждено — он будет падать всю жизнь. Десятилетиями старел, четыре раза в год ощущая смешанное время, питая себя воспоминаниями двадцати трех прожитых лет и, наконец, дожит до того часа, когда прожитое уже не будет тревожить.

Все рухнуло в один день. Отчаяние сменилось апатией, полнейшим безразличием ко всему и вялости. Он ушел в это состояние и наполнился им бесцельно. В те дни он ничего не знал о целительном смысле отчаяния, не знал, что подобное состояние может пробудить силу, которая всегда таилась в нем и была ему неведома. И что эта сила обнаруживается замедленно, тяжело и надрывно, и надо оказаться в крайней ситуации, чтобы природа сама бросила на чащу весов твой последний резерв. Крайней ситуацией он привык считать фронт. Для себя — войну с открытыми позициями. В той ситуации все сходилось: пока ты был жив — ты был с людьми, а если ты не мог быть с людьми, то и сожалеть уже ни о чем не мог. Мертвые не сожалеют. Других вариантов он в расчет не принимал, во всяком случае для себя не представляя ничего, кроме жизни или смерти, а смерть научилась исключать с беспотыжным упорством. Но оказалась возможной еще одна ситуация — промежуточная, — о чем он никогда не думал. Он никогда не думал, что можно быть вырванным из жизни и не быть мертвым. И что из этой зоны нет хода ни вперед, ни назад.

III

«Я» своим двадцать три года Покрытан определил свою ситуацию как полную неспособность действовать и понял, что долговременное физическое существование в бездействии — раздает его. Если впоследствии он когда-нибудь говорил, что за время, проведенное в госпиталях, он передумал в се, то он был абсолютно точен как человек, полностью отдавший себе отчет о своем положении.

Отныне он не мог себя больше питать иллюзорными надеждами и строить планы, которых он не в силах осуществить. Любую мысль, которая несла какое-то утешение, он подвергал сомнению, чтобы впоследствии не расплачиваться за ошибку. Он себя не торопил. Единственное, чем он располагал в избытке, — это время.

Он погружался в такие глубины сомнений, откуда, казалось, невозможно выбраться. Такое может себе позволить только тот, кому нечего терять. Такое можно позволить себе несознанно, но в тысячу раз труднее позволить себе такое сознательно. Он прошел этот потаенный путь. Уже летом сорок третьего года в этом — пока еще стихийно — началь проявлялся его воля. В последующие годы ему приходилось укреплять ее, восстанавливать, тренировать и беспрерывно! — подвергать все новым и новым изощренным испытаниям. Но зато каждый вывод, к которому он приходил, становился частью жизненной программы, пересмотр которой исключался раз и навсегда. Категоричность его формулировок вовсе не была случайной. Он стал собирателем истин, которые, как он считал, имели смысл только для него самого. Пришло решение: «Надо где-то учиться. Чему — не важно. Важно войти в какой-то процесс».

Он втягивался в немыслимое соревнование на марафонской дистанции, где от него потребовалось бы второе, вибратор больше сил, чем от любого подготовленного марафонца. А таким «марафонцем» рядом с ним был каждый здоровый человек.

В иркутском госпитале он услышал, что, в Ленинграде, в институте Герцена, вроде бы созданы спциальная группа, в которой обучаются люди, потеряв-



Таким Анатолий Покрытан встретил войну.

них зренік. Проверить это наверняка Покрытан не мог и потому решил посоветоваться с начальником госпиталя.

IV

3 а два года войны начальник госпиталя повидал уже сотни людей, в жизни которых этот госпиталь играл роль некой поворотной точки. Здесь людей все еще обладало чувство фронта общинности, здесь они все еще чувствовали себя солдатами, и многим это помогало на первых порах избежать свою беду. И здесь же происходили молчаливые драмы и трагедии, здесь, наконец, наступала полная ясность — каждым постигло, что такое его реальность, одна-единственная, потому что у каждого она была своя. Этот процесс совершился на глазах, зачастую отодвигая лечебную работу как бы во второй ряд.

Начальник госпиталя слушал сержанта-артиллериста и думал о том, что в каждом подобном случае он никогда не знает, как ему себя вести. Либо сейчас надо поддержать еще одну неистовую надежду — во что сам он на минуту не верил — либо каким-то образом разрушить эту надежду сразу, чтобы потом, когда этот парень окажется бог знает где, его бы не постигло разочарование, с которым человек справляться не в силах. Тут речь шла о пределах человека, конкретно того человека, который пришел к нему за советом. Но откуда он мог знать, где эти пределы? Начальник госпиталя слушал и молчал. А потом, когда сержант закончил, сказал так, будто не слышал ничего:

— Где расположена четырнадцатая палата, знаешь? Сходи туда, найди Иванова и кого-нибудь с ним.

И Покрытан, который не знал никакого Иванова и вообще говорил совсем о другом, с недоумением отправился искать четырнадцатую палату.

Это была самая большая палата в госпитале — кое-кто на тридцать. В ней лежали люди, по собственному выражению Покрытана, «до конца осознавшие, что они такое».

Он нашел палату и остановился в дверях.

— Иванов! Есть тут Иванов?

— Есть, — раздалось из глубины. — Кому я понадобился?

— Мне, — автоматически ответил Покрытан.

«Мне» должно было прозвучать странно, но Иванов не обратил на это внимания.

— Иди сюда, — сказал этот Иванов спокойно.

— Куда «сюда»? — удивился Покрытан. — Я не вижу.

У Покрытана, по свидетельству врачей, левый глаз сохранил один процент зрения, то есть он различал день и ночь. Мог «увидеть» на фоне белой стены человека в черном костюме — точнее, пятно. Впоследствии при ярком солнце приловчился видеть собственную тень и даже пытался использовать это для ориентации. Но в тот день, когда он впервые вошел в четырнадцатую палату, он сам еще не подозревал, до какой степени беспомощен.

Лейтенант Николай Иванов был ранен в Сталинграде осколком немецкой гранаты. Осколок пробил обе височные кости. Миглиметр определил судьбу лейтенанта. Николай остался жив, но лишился глаз. Услышав, что у Покрытана один процент зрения, лейтенант присвистнул:

— Ну, брат, ты же зрячий человек!

И уверенно приказал:

Будешь у меня поводырем.

Кое-как добравшись до колки Иванова, Покрытан был изумлен, нащупав какие-то бумаги, картон и даже целые книги. Вся колка была завалена этим, и Николай поспешно предупредил:

— Осторожнее, а то ты мне так все перемешаешь, что я потом за месяц не разгребу...

— Что это ты делаешь? — удивился Покрытан.

— Читаю!

— Что читаешь?

— Дай руку.

Сначала Покрытан ничего не ощущил на шероховатом картоне, но потом нащупал одну точку, другую — весь лист был испещрен едва осозаемыми точками.

— Я тебе сейчас напишу азбуку. Через два дня придешь ко мне — сдашь, — сказал Николай.

Так Покрытан узнал о существовании точечной системы Брайля.

V

Они решили остататься в Иркутске. Дождались дня, когда в госпитале меняли белье, надели чистые пижамы, тапочки и отправились в педиатрический институт. Покрытан шел впереди и держал Иванова за руку.

Они шли, и Покрытан почувствовал, как промокают тапочки. Обращаться прохожим, спрашивать дорогу они не решались. Покрытан напряженно размышил, Иванов молчал и терпеливо ждал. Наконец Покрытан решил и пошел напролом. Тотчас же они оказались по колено в воде — очевидно, лужа попала на необозримую. Николай, не проронив слова, по-прежнему терпеливо шел следом.

Тот первый маршрут из госпиталя в институт в его жизни.

Директор оказался на месте. Поговорили. «Хорошо, ребята, — сказал директор, — хотите учиться — будете

учиться». Им выдали спрашки о том, что они зачисле-
ны на первый курс.

В ту пору в институте учебный год начинался в ок-
тябре. Иванов выписался из госпиталя раньше, пе-
ребрался в общежитие и «забил» койку для Покры-
тана. Покрытан в оставшийся месяц усиленно готови-
лся — старался натренировать руку. Диктант ему
«закатывал» сосед по койке Василий Голубицкий. На
фронт Голубицкий потерял зрение и обе руки. Пок-
рытан знал, что Голубицкий был сапером, и потому
ему ни разу не пришло в голову понтересоваться,
чем Голубицкий занимался до войны. А Голубицкий
до войны где-то на Алтае преподавал русский язык.
И когда Покрытан вернулся из города и объявил, что
отныне он студент пединститута, что-то внезапно
изменилось вокруг. Какая-то неизримая волна пропала
сквозь каждого. Тогда и выяснилось, что изуучен-
ный сапер Вася Голубицкий вовсе не сапер. Не
сапер! Вася Голубицкий — учитель русского языка...

Свой первый диктант Покрытан запомнил на всю
жизнь. Тишина стояла в палате. Такая тишина, будто
не один Покрытан, а все они, кто там был, стара-
тельно выдавливали точки на картоне. И в этой ти-
шине слышалась лишь голос Васи Голубицкого — не-
громкий, строгий, внезапно ставший незнакомым го-
лос: «Прокляница мартышка, осел, козел да косола-
пый мишка затеяли сыграть квартет...»

VI

В первые недели их выручала память. Но объем
знаний нарастал, как снежный ком, а они ве-
ли счет на пальцах. Мы не владели системой языка
Брайля в совершенстве, оба изнемогали от бесплод-
ных попыток уткнуться за своими скосуриками, оба
были не в состоянии хоть чем-то помочь друг другу.
Покрытан впадал в отчаяние. Коля Иванов, привык-
ший все проблемы решать одним махом, злился, не-
милосердно ругал себя и Покрытана, и того неизре-
много немца, одного из сотен, которому однажды
удалось опередить его, Николая, и бросить гранату
на несколько секунд раньше. И вслед за этим он
снова принимался за себя и Покрытана...

И Покрытан форсировал развитие памяти. Приду-
мывал всякие упражнения. Память была ему и кон-
спектом, и учебником, и библиотекой. Часто ему ка-
залось, что наступает предел: память не выдерживает
нагрузки. Он метался в поисках иных вариан-
тов. Иных вариантов не было.

Накануне своей первой сессии — зимней сессии
сорок четвертого года — он почувствовал, что нико-
да еще не стоял на пороге столь серьезного испыта-
ния. Первым экзаменом он сдавал традиционный для
гуманитариев курс «Введение в языкознание».

Професора Копержинского переживали студенты
не интересовало. Профессор не обратил никакого
внимания на то, что сидящий перед ним студент —
Покрытан. Он справлялся бесконечно долго, навер-
ное, целый час. Это было правило, считал Покрытан
и за это было благодарен профессору. Но
все же пятерка ошеломила его. Он «обкатывал» пя-
терку Копержинского несколько дней — так и этак,
стараясь понять, заслуженная она или нет. Ему нуж-
на была точность оценки, прежде всего точности.
Оценка была ему единственным ориентиром. Речь
шла даже не о знаниях — речь шла о том, как ему
собираются распределить свои силы. Он понимал, что
люди не беспристрастны и что профессор вовсе не
камений, а значит, ненамерено мог накинуть лин-
гий на Покрытана не всегда был спра-
ведлив к людям, относившимся к нему с сочувствием.
Он знал это, но позволял себе быть несправед-
ливым, ибо полагал, что за сочувствием часто кроет-

ся жалость, а жалость он возненавидел в тот день,
когда впервые в ивановском госпитале услышал со-
страдательное: «Куда же тебя, родной, выпишешь...»
Однако же авторитет профессора был чрезвычайно
высок, и Покрытан в конце концов «балансировал»
пятеркой. По этому поводу она с Николаем устроили
праздник. Но вскоре произошло событие, которое едва
ли не стоило Покрытана всех его побед.

Факультет получил возможность выделить двух
студентов на именную стипендию. Сейчас просто
бессмыслицей говорить о том, чем была именная сти-
пендия для студентов сорок четвертого года. Вопрос
решался самым демократическим путем на обще-
факультетском собрании студентов. По предложению
профессора Копержинского, одну из двух стипендий
отдали Покрытому.

Назад, в общежитие, Покрытан шел оглушенный.
Впервые за полгода из дружбы не он вел Николая
в общежитие, а Николай вел его.

Все полетело к черту: и полученная пятерка ме-
сяца давалась на листе. Значит, Копержинский всес-
таки обратил внимание на то, что сидящий перед
ним студент — Покрытан. Значит, он, Покрытан, всес-
таки обманулся в своем доверии к авторитету про-
фессора. И, значит, все его труды стоят в лучшем
случае троек, а может, и троеки не стоят? Как он
сможет это узнать? Как он сможет вообще узнавать,
чего стоит его работа, его знания, он сам в конце
концов? Он все время думал о том, как относиться
к внешнему миру. Но он ни разу не подумал, что
внешний мир в *сего*да будет относиться к нему и что ему в *сего*да придется делать поправки
на это встечное отношение к себе...

Николай ликовал. Николай не хотел или не мог
понять его и, кажется, впервые не верил ему. Пок-
рытан снова почувствовал подтаскивающее его изнутри
одинчество. Общая беда сблизила и сдружила их.
На этой общности они хотели построить об-
щую жизнь. Но у таких разных от природы натур
не могло быть общей жизни. Да и существует ли
она вообще? У каждого человека жизнь своя. В этом
отношении немногорима индивидуальность челове-
ческой личности — наиболее существенный фактор, более
существенный, чем общее несчастье.

Николай радовался. Покрытан думал о новом не-
ожиданном препитии.

Николай расслаблялся. Покрытан скожился, как
пружина: слишком большая дистанция лежала еле-
реди.

VII

После второго курса Покрытан переехал в Одес-
ску и продолжал учиться в Одесском педаго-
гическом институте. В сорок седьмом году он
успешно окончил институт и стал устраиваться на
работу. В сорок седьмом году он понял, что учитель
без зрения — это не учитель. Конкретней — что сле-
пой учитель не нужен.

У него вошло в привычку по вечерам анализиро-
вать прожитый день. Понятие зрительной памяти для
него не существовало. Прожитое, до мелочей, отклады-
валось в памяти опущений. Эта память, на кото-
рую работали слух и мозг, была беспоценней — она
не знала избирательности, она не знала отдыха, ей не
на что было переключиться. Она перемыкалась все.

По вечерам он вспоминал людей, с которыми днем
всегда официальные разговоры.

Официальный разговор потому и официальный, что
предполагает короткий контакт с целью обмена на-
правленной информацией. Вряд ли хоть одно должност-
ное лицо из тех, с кем приходилось в те дни

разговаривал Покрытая, думало о том, сколько времени о себе оно дает этому человеку. И уж, конечно, ни одному из них не пришло в голову, что веками отработанные приемы и методы ведения официального разговора не столько скрывают, сколько подчеркивают индивидуальные стороны человеческой натуры.Никто из них не подозревал, до каких степеней натренировано и обострено восприятие человека, который от порога делал несколько изуверенных шагов к рабочему столу и спокойно задавал свой вопрос, словно заранее зная, что он услышит в ответ.

Он сразу информировал их своим неумелым перемещением в мире вещей, позволяя им связать причины и следствия, которые для них были полной информацией о нем. Они сразу предполагали, что знают о нем все — их обманывало зрение! — и потому им оставалось только скрыть свое сочувствие (если оно возникло) и облечь свой вывод в форму вежливого официального отказа. И он, прекрасно понимая прimitивный ход их рассуждений, действительно был заранее готов к отказу, ибо он имел дело с людьми заурядными, обладающими стандартным восприятием и стандартным мышлением. Ему надо было наскочить на человека незаурядного, но это такая редкость!

В конце концов можно было рассчитывать и на обыкновенное сочувствие, которое в каком-то одном человеке вдруг окажется сильнее всех сложившихся в нем чиновнических стереотипов и заставит того человека поступить, не вправильо, то есть принять Покрытая на работу. В этом расчете на сочувствие Покрытая видел отход от ранее принятых им жизненных позиций. Отход чисто тактический. Тем не менее Покрытая не сразу на это решался.

Поначалу он пытался доказывать, спорить, ругаться, то есть вел себя так, как и должен вести себя человек, взвинявший за правило жить на равных с остальными. Но так как это ни к чему не приводило, он понял, что на сей раз *дело не в нем*. Остановился только рассчитывать на человеческую слабость, на сочувствие.

...По вечерам он давал себе волю поразмышлять об этом. Это было отыхом. На что-то надо было переключиться, чтобы с утра делать очередную попытку.

Каждый вечер, перед тем как лечь спать, он говорил себе то же, что привыкал говорить себе героям известного романа, которой жизни выпало больше испытаний, чем может их вынести на дослу одного человека. Тяготы каждого дня — если мысленно представить их все сразу — могли бы гнушать мысль о тщетности всяческих усилий, и поэтому героям романа каждый вечер произносила одну фразу: «Об этом я успею подумать завтра». Покрытая никогда не читал этого романа, ничего не знал о той героине, но мысленно придерживалась того же правила. В этом выражалась стихийная философия предела, когда человек живет одним днем, живет в постоянном напряжении всех своих сил и каждую минуту знает, что рассчитывать может только на то, чем он располагает именно в эту минуту.

Одни резервы у него все-таки были. Он не думал о нем почти пять лет. Впрочем, это нельзя было считать резервом. Это был путь отступления. После пяти лет борьбы он оставил позиции. Он стал искать работу в обществе слепых.

Он опять сидел в каком-то кабинете и заполнял анкету. Кажется, в этой артели делали булавки.

Впервые его ни о чем не распрашивали из вежливости для того, чтобы было видимость разговора, и видимость размышлений, и видимость колебания перед тем, как сказать заранее решение «нет». Он пришел устраиваться на работу, и ему дали заполнить анкету. Он прокинул к своей общине, от кото-

рой так долго отказывался и к которой вернулся, как будний сын, изведавший тщету скитаний.

Здесь были свои гении, свои ремесленники и свои неудачники. Здесь были своя система жизненных ценности, которую он почувствовал сразу.

Он заполнил анкету и двинул ее на другой край стола. Привычно, не особенно вдумываясь в содержание, начальник отдела кадров пробежал ее взглазом, споткнулся на чем-то, прочитал еще и еще раз. У вас высшее образование? — как-то не смысляком уверенно спросил он. Покрытая отметил эту неуверенность, не совсем понимая, чем она вызвана.

— Да.
— Высшее образование... — растерянно пробормотал начальник.

Покрытая возвращался в свою комнату, невеселюю усмехаясь. «Не можем... С высшим образованием не имеем права...» «Поймите, у нас будут неприятности...» Понятно, конечно... Не так трудно понять, усмехаясь Покрытая. Нет, он вовсе не хотел доставлять неприятности начальнику отдела кадров. Правда, Покрытая никогда не знал, что человек с высшим образованием, оказывается, не может делать булавки. Это категорически исключено. Просто невозможно... Лорд может есть из глиняной посуды. Граф — пахать сохой. Это их разнозданная прихоть. С этим покончено. Человек с высшим образованием не может делать булавки, спички, карандаши. Он не может быть шофером, кондуктором, почтальоном, токарем, слесарем, служителем в зоопарке. Но шофер, кондуктор, почтальон, токарь, слесарь, служитель в зоопарке могут получать высшее образование Пожалуйста. Туда — да. Обратно — нет. Невозможно...

До поры до времени Покрытая думал, что человека в его стремлениях может ограничить болезнь. Ранение. Сложная житейская ситуация. Смерть, в конце концов. Теперь же к этому прибавилось еще высшее образование... Правда, иногда высшее образование трудно реализовать. А иногда от него никому нет никакого проку — бывает же, что человек ошибся в выборе профессии и мается только потому, что получил не тот диплом. Или потому, что вообще получил диплом. А что делать с жизненным опытом, который заранее не приобретешь? А он между тем корректирует жизнь человека, даже получившего высшее образование. Что это такое?!

Непостижимая логика о несовместимости высшего образования и производства булавок занимала его на всем обратном пути к общежитию. Бог знает отчего иной раз человека может уберечь чувство юмора и бесценная привычка находить удовольствие в размышлениях!

VIII

После неудачной попытки устроиться в обществе слепых Покрытая почти не покидал своей комнаты. Он предавался мрачным раздумьям, стал раздражителен, избегал друзей. Время шло, он ничего не мог придумать и все больше и больше замыкался в себе.

Тому, кто мыслит — надо излагать свои мысли. Тому, кто пишет — надо печататься.

Тому, кто стал учителем — надо растить учеников.

Лишил мыслящего возможности излагать мысли, пишущего — возможности печататься, актера — сцены, учителя — учеников и вы не просто осложните человеку жизнь, вы поставите вопрос о его физическом существовании. Такова роль обратной связи для всего живого в природе. Такова же она и в обществе. Если в этом механизме что-то нарушается, человек попадает в замкнутое состояние, разрушительная сила которого огромна. Развитой трениро-

ваний ум, ищет этому состоянию объяснение и не находит: это потому, что уже обращен внутрь себя, обращен как раз в тот момент, когда единственное спасение — выход на контакт с внешним миром. Остальное — мысли о бесполезности накапливать знания, о тщетности попыток что-то доказывать кому бы то ни было, даже себе, об эфемерности аргументов...

В тот период Покрытан стал хуже себя чувствовать. Нет более тяжкой и изнурительной нагрузки, чем привычное стремление мыслить, мыслить вообще, без всякой конкретной цели и меры, перемывать и перемывать материал жизни, никак не соединяя его, не отбирая и не умев ничем от него сложности.

Он часто ложился и подолгу лежал, не шевелясь и не меняя позы. Засыпал, но сон его был недолгим и неглубоким. А когда просыпался, все начиналось заново, с нарастающей силой, и уже сон не давал ему кратких промежутков отдыха. Одна фраза, слышанная им когда-то, долго держалась в его памяти. «Я решительно не могу предположить ситуации, когда умный человек не мог бы найти себе занятия». Эта фраза или другая, очень похожая на эту, занимала его некоторое время. Он пытался вспомнить, кто мог написать это и в какую ситуацию мог попасть человек, сохранивший веру в себя и не пожелавший объяснить эту веру публично. Он пытался сделать эту чужую веру своей в часами думал о том, чем бы еще он мог заняться в жизни, чтобы это занятие могло кормить и все-таки было бы любимым занятием. Ноельзя стать сильным чужой верой: Очень скоро он ее лишился и только острее почувствовал тяжесть своего положения. В таком состоянии его и застала бывшая сокурсница.

— Я слышала, ты ищешь работу, — запросто сказала она, словно не замечая, в каком он настроении.

— Да, — сказал Покрытан.

— Я могу тебе помочь.

— Помоги, — сказал Покрытан.

— В учетно-кредитном техникуме нужен преподаватель политэкономии. У меня полторы ставки. Я могу уступить тебе полстavки.

Покрытан улыбнулся. Если бы дело было в том, чтобы найти ставку или полстavки...

— Ну, вот что, — сказала она, — завтра пойдем к директору разговаривать. Только он не должен знать, что ты не видишь.

Покрытан развел руками. Но она была готова идти к цели напролом. И он, привыкший все делать самостоятельно и сделавший из этого свое жизненное правило, вдруг подчинился ей с неожиданной легкостью, не желая большие думать и рассуждать. И они пошли.

Она разговаривала, а он сидел слегка отвернувшись, с тем отрешенным видом, с каким и должен сидеть молодой специалист, подавший надежды, но еще не слишком уверенный в своих силах. Скромность и сдержанность Покрытана произвели неподобное впечатление. Он был зачислен на полстavки в штат сотрудников техникума.

О том, что Покрытан не видит, директор не догадался.

Покрытан понимал, что долго держать в неведении своих коллег и студентов не сможет. Да ему и не надо было держать их в неведении долго. Важно было, чтобы к нему привыкли и перестали смотреть на него, как на человека нового или, что еще хуже, случайного. И, как часто бывает в подобных ситуациях, подвела его мечка. Пустяк.

Когда его вызвал к себе заведующий учебной частью, он еще не знал, о чём пойдёт речь. Но как только вошел в кабинет и почувствовал дыхание за-

ведующего на своем лице, он с тоской подумал, что наступила минута неизбежного объяснения.

— Я вот сейчас сознательно сел к вам поближе, — начал заведующий с вызовом, — а... запах спиртного — не чувствую, — с удивлением закончил он всему, но не к такому повороту темы.

Заведующий истолковал реакцию Покрытана по-своему. Обиделся и повысил голос:

— Странно как-то получается... Я видел, как вы не раз пытались выровнять свою... гм... походку... Как вы задели плечом печку и еда устояла на ногах... И это в коридоре, где всегда полно студентов. Может быть, вы объясняете мне? Я думаю, что вы вышибаете, но не чувствуете запаха... Так почему же?

Проклятая печка! Когда он впервые зацепил ее, он решил отсчитать шаги, чтобы знать расстояние извержения. Но в коридоре всегда были люди, и он не стал заниматься этим на глазах у всех. А этой печке он вспоминал каждый раз, когда толкался в нее плечом — она была окрашена под цвет стены и совершила для него неразличима. Так почему же от него не пахнет водкой?

— Я видите ли, не вижу.

— Как? То есть... как не видите?!

— То есть, — раздельно выговаривая слова, отвечал Покрытан, — не вижу я этой проклятой печки, пока не стукнулся о нее!

— Ради бога... извините меня... совершенно не предполагал...

Заведующий был ошеломлен.

— Да, — подтвердил Покрытан.

— Помыслить не мог...

Но именно потому, что теперь заведующий учебной частью знал все, Покрытан первым пошел к директору. Он уже многому был научен.

Его оставил в техникуме. Как преподаватель он уже успел себя зарекомендовать.

IX

Покрытан работал в техникуме и продолжал заниматься трудоустройством: полстavки — это всего полстavки. В конце концов в своем же педагогическом институте его утвердили ассистентом на кафедре политэкономии, но обстоятельства сложились так, что он сразу начал читать курс лекций для студентов четвертого курса. Впоследствии обком партии дополнительно направил его читать лекции в строительный институт. Экономистом — или, как тогда говорили, «политэкономом» — в ту пору в вузах города не хватало. Таким образом, в очередной раз без его «вменительства» спершился выбор его дальнейшей судьбы. Он принял этот путь как окончательный. Он стал экономистом. Сделавшись преподавателем вузов, Покрытан понял, что его багажа знаний ему хватит недолго. Перед ним открылась путь, идти по которому можно до бесконечности. И на этом пути сильнейшим был тот, кто в течение жизни успевал пройти дальше других. Это был путь к вершинам профессионального труда, и тут Великий Учитель Брайль уже ничем не мог помочь ему.

X

В Одессе есть Староконный рынок. Там продают всё. Покрытан был на Староконном рынке двадцать пять лет назад. Двадцать пять лет назад Покрытан приобрел на рынке лупу. Лупа была увесистая и, значит, хорошая: по-другому он оценить ее не мог — он поднес ее к своему «зрячим» глазам и ничего не увидел. Но расстаться с ней не захотел, и лупа перекочевала в его комнату.

Как уже говорилось, левый глаз Покрытана сохранял один процент зрения. Покрытан купил лупу после того, как принял решение заставить этот процент работать. Вопрос о том, возможно ли это вообще, Покрытаном не анализировался в силу безусловной приватности такого вопроса.

Вернувшись с рынка, он сел к окну, залитому солнцем, положил перед собой текст, достал лупу и стал постепенно напрягаться. Он не пытался сразу же напрягать зрение. Он напрягал тело, постепенно подводя напряжение к глазным мышцам. И в тот момент, когда глаз заскользил слезой, он успел заметить печатный знак. Как наскоком — мелькнула и тут же пропала буква. Была смыта слезой. Одна единственная. Он даже не успел увидеть, какая это была буква. Но это была буква, а не пятно: у нее были очертания.

Он долго отыхал. Он отыхал как штангист, сделавший неудачную попытку взять рекордный вес.

Со второй попытки он рассмотрел букву. И снова ее размыло слезой. Но он уже успел ее запомнить. Снова отыхал не менее четверти часа. Ломило все тело, будто он и прыгнул, работал с тяжестью. Потом он еще раз увидел букву и больше в тот день не работал.

За весь следующий день он прочитал одно предложение.

Когда он одолел несколько десятков страниц, сложив их из букв, он почувствовал, как постепенно погружается в дотоле не известный ему мир подлинного исследования и понял, что теперь в его жизни не будет никакой другой работы и что никакой другой работы ему не надо. Он обрел самую сильную страсть, которую, может быть, можно сравнивать только со страстью жить. Он по-прежнему читал студентам лекции, но теперь это было привычно, как бы само собой. Освободившись от дел, которые для большинства из нас являются работой, требующей ежедневного напряжения и воспитывающей в нас уважение к себе, — освободившись от этого, он садился за стол и занималась своей работой. Он болел, чувствовал, как истощаются его физические силы, понимал, что в любой день может дебаркаться до кровоизлияния, но его один процент уже выносила всячина. Остальное было делом его выносливости.

XI

К концу сорок девятого года Покрытан сдал кандидатский минимум по плактэкономии. В пятнадцатом году при Киевском университете открылся институт повышения квалификации преподавателей вузов. Сейчас в подобных заведениях занимается пять-шесть месяцев. Тогда — год. Институт набирал две группы. Первая — более многочисленная — состояла из тех, ктоставил своей задачей сдачу кандидатского минимума. Второй была группа диссертантов. За год надо было написать диссертацию и защититься.

В то время в Одессе с ее шестнадцатикузовыми отелями набралось бы пять-шесть кандидатов экономических наук. Отбор желающих попасть в группу диссертантов проводился жестоко. Покрытану не отказали потому, что его настойчивость не могла не импонировать. Через Одесский обком партии его документы были направлены в Киев.

Когда приемная комиссия в Киеве рассматривала документы, поступавшие из разных городов республики, Покрытан лежал в клинике Владимира Петровича Филатова. Это была пятая по счету операция, и делал ее сам Филатов. Перед операцией Владимир Петрович предупредил, что она носит предварительный характер и что только после нее можно будет

судить, надо ли делать следующую, то есть есть ли вообще шансы на частичное восстановление зрения. «Вам надо воздержаться от любой работы, утомительной для глаз» — с таким напутствием великого хирурга Покрытан выписалась и тут же отбыл в Киев.

Из Киева он вернулся раздосадованный и злой. «У нас люди с отличным зрением из месяца в месяц работают по трицдцать часов в сутки и не могут за год сделать диссертации», — сказал директор.

Это была реальность. Покрытан не мог бы обвинить директора в честности. Наоборот. Директор принадлежал к тем деятельным и знающим людям, которые всегда вызывали у Покрытана уважение. Это был культурный, умный человек, и что особенно нравилось в нем Покрытану, человек твердых убеждений. Директор был убежден, что работа в такие же сткие сроки Покрытану не под силу. Покрытан был убежден в обратном, но ничего не смог доказать. А иных способов воздействия на оппонента нет. Иных способов Покрытана и не призывал. Вспомнил, как он вытащил лупу, в которую директор зантересовался, пытаясь что-то рассмотреть и, конечно, с не-привычки не мог ничего рассмотреть. Покрытан злился на себя за ошибку. Ну, что значила эта лупа для человека, обладающего нормальным зрением? Что значит эти четыре буквы для того, кто безо всякой напряжки сразу может увидеть строку? Пытаясь обосновать свою силу, он только расписался в своей слабости. Мир вещей никогда не может служить аргументом в его пользу. Он давно это усвоил, но именно тогда, когда от разговора с директором так много зависело, он совершил такой промах! В конце концов речь шла об умении Покрытана работать, но ведь этого не выложишь на стол в качестве вещественного доказательства! А все, что знал директор института, строился как раз на обратном: надо по трицдцать часов в сутки работать глазами. Глаза и. Он, Покрытан, который даже не видел лица собеседника, утверждал, что сможет прочитать тысячи страниц текста (не говоря уж о том, что еще надо и написать кое-что, и это «кое-что» — диссертация!). И ничего лучшего не придумал, как вытащить лупу...

Конечно, директор должен был смотреть на него, как на фанатика. Как на одержимого маниакальной идеей. Конечно, он должен был думать, что Покрытан не отдает себе отчета в том, чего добивается. Но он, директор, должен отдавать себе отчет в подобных случаях, хотя в такой ситуации ему, вероятно, довольно трудно было настаивать на своем...

Так рассуждал Покрытан, глядя на себя с позиций директора института, и не знал, что можно этому противопоставить. Ничего нельзя противопоставить. Только свою веру. Но его вера — это его вена...

Он жалел, что утеряна такая возможность... Всего только год, пустяк смигательный, но только год! Этот год нужен был Покрытому еще и как чрезвычайно жесткая ситуация: именно в жестких ситуациях он чувствовал себя уверенно и его работоспособность была безгранична.

Он ходил в институт, читал лекции, вечерами на-девал свой самодельный окуляр и пригирялся в текст, физически чувствуя его гранитную плотность, и эта непоморено тяжелая физическая работа помогала ему постигать плотность мысли. Он перестал думать о неудачной поездке в Киев. Время шло, набор пятнадцатого года в Киевском институте повышения квалификации уже приступил к работе. И вдруг он получает из Киева письмо. Что там могло быть, в этом конверте?

«...решением комиссии...» «зачислены в группу диссертантов...» «предлагается безотлагательно выехать в Киев...» Буквы прыгали, и он никак не мог собрать их в фокусе.

Взвя товарища под руку. Покрытан молча шел по крутым спускам, ощущая под ногами ненадежный подтаявший снег. Работать и иримя приходилось по тринадцать-четырнадцать часов. Нагрузка была столь велика, что сбросить ее по окончании работы не удавалось. Спал он плохо и каждое утро чувствовал остаточное напряжение минувшего дня. Он и раньше, бывало, взвинчивал себя до последней степени, но всегда мог отключиться на несколько дней — у него был некоторый запас времени. Он отсыпался, отыхал, проходил несколько дней и ему не хватало прежней нагрузки. Это началось, что он снова готов к работе. Но здесь, в Киеве, он не мог дать себе несколько дней передышки. Этих дней у него не было. Все было брошено на кон. Редко человек такой внешне спокойной и тихой ситуации может столь разом бросить на кон. После нескольких недель беспрерывной работы он позоволил себе отложить книги в середине дня. Он отправился с товарищем в бесцельную прогулку, чтобы отключиться на несколько часов, чувствовать только скользкий снег под ногами, думать о том, чтоб не упасть, и больше ни о чем не думать.

Спуск кончился «Бессарабка», — сказал товарищ. Они повернули налево, и Покрытан понял, что они идут по Крещатику. Покрытан не запомнил ничего из того, что товарищ говорил. Он вбирал в себя уличные шумы, ощущая соседство большого города, от которого он нагло отгородился с первого же дня. Сейчас он впервые не сопротивлялся ощущениям, которые считал полузабытыми или вовсе забытыми. Они словно дождались своего часа и теперь брали его штурмом, как какую-нибудь крепость, много лет простоявшую в осаде. Он прислушивался к тому, что творилось в его душе, с удивлением и растерянностью.

Командир Дзеба до войны жил в Киеве. Почему это вспомнилось именно теперь — Покрытан не знал. Его товарищ, которого он подбил на прогулку, так и не понял, почему их бесцельное блуждание по городу вдруг обрело направленность, но в желании Покрытана почувствовал недодомы ему смысл и послушно повернулся к горсправке. Впервые вспомнил о том, что командир батареи киевлянин, Покрытан так же впервые подумал, что Дзебы воина ведь не кончилась в марте сорок третьего года. Он непривычно сбившись шаг, но товарищ уже сказал: «Горсправка» — и Покрытан сам своими незримыми глазами посмотрел в маленько окопко.

— Дзеба, Григорий Маркович. Тысяча девяносто восемьдесят пятый год рождения.

Он думал, что если Дзебы в Киеве нет, значит, его вообще нет.

Через двадцать минут ему дали адрес.

Потом Покрытан услышал шаги за дверью и почувствовал, как перед ним открывается дверь.

— Мне нужен Григорий Маркович Дзеба.

— Дзеба — это я.

«Это ты», — внезапно успокаиваясь, подумал Покрытан.

— Здравствуй, Гриша.

— Здравствуйте...

Покрытан вздохнул и сделал шаг вперед. Он почти ткнулся лицом в стоящего перед ним человека, проговорив: «Прости...» — положил руку ему на плечо. Дзеба не отстранился.

— Что же ты, Гриша... — сказал Покрытан и снова вздохнул. — Неужели не помнишь?

— Не припоминаю...



1952 год.
А. Г. Покрытан.
После защиты
кандидатской
диссертации...

— Но, может быть, — сказал Покрытан, — может, ты помнишь командира взвода, который воевал с открытыми позициями?

Еда он сказал «командира взвода», еда он пронес эти два слова, он почувствовал, как под его рукой напряглось плечо комбата. Что-то Дзеба хотел сказать, но вдруг комом свернулся у него в груди, и оттого, что он ничего не смог сказать, Покрытан снова обспокоился и крепче сжал плечо друга — ему показалось, что Дзеба покачнулся.

— Покрытан...

— Да, — сказал Покрытан.

Теперь уже Дзеба держал его и не двигался с места, и так они и стояли в дверях, может быть, минуту, а может, и дольше — Покрытан потерял всяко представление о времени. Потом Покрытан сказал:

— Где у тебя окно? У тебя есть большое окно?

Идти было неудобно потому, что Дзеба по-прежнему не отпускал его. И когда выходил в кухню или в другую комнату, каждый раз говорил: «Ты сиди, сиди здесь», — и тут же возвращался, словно опасаясь, что Покрытан исчезнет так же неожиданно, как и возник.

Он рассказывал Покрытану, как его искали. Сам командир дивизии искал. Искали долго и безуспешно. Покрытан думал о том, что его нельзя было найти. Ему давно уже казалось, что он превратился в невидимку. Только сам он мог вернуться назад. Это был долгий путь, но он вернулся!

XIII

В январе пятьдесят второго года Покрытан вышел на защиту. Директор института вернулся из командировки, когда Покрытан собирался отбывать домой. Покрытан зашел к директору попрощаться. Директор поднялся ему навстречу.

— Сынья! Уже слышал! Очень рад!

— Ну, вот... Теперь наш спор исчерпан, — сказал Покрытан.

— Да-да... Признаться, я сомневался... — И директор крепко пожал ему руку.

Из трех или четырех экономистов, посланных из

¹ Фронтовой друг Покрытана лейтенант сорок третего года Григорий Дзеба, бывший командир гаубичной батареи 923-го артиллерийского полка 327-й стрелковой дивизии, умер несколько лет назад — сказалось последствии тяжелого ранения.

Одессы год назад в Киев, кандидатом наук стал один Покрытан.

Ардузы поздравляли его. Злые языки намекали на его «соборное положение». Люди осторожные межамили плечами и высказывались в том духе, что чудеса-дни иногда бывают, но вообще-то этот Покрытан, конечно, ненормальный...

Все подтверждалось: реакция людей на свершившийся факт уже не может ничего прибавить к этому факту и ничего убавить от факта — в этой реакции проявляется самовыражение человека реагирующего, который перед свершившимся фактом всегда стоит как перед зеркалом.

Покрытан принимал все с радостью и щедростью человека, изведавшего полноту счастья. Только он один и знал до конца, чем был для него этот прожитый в Киеве год. Все же иногда ему было грустно, когда он сталкивался с людьми, изменившими к нему отношение. Он оставался самим собой. Он слишком хорошо знал, что, как бы ни поворачиваясь жизнь, надо оставаться самим собой.

XIV

Что было потом?

Если бы вы задали Покрытому такой вопрос, вы бы ждали продолжения рассказа о событиях больших, малых и совсем незначительных и при этом бы испытывали тревожащее чувство. Незадавливий сюжет судьбы рождал бы это чувство: сегодня скажеты младо занимает нас. Вы почувствовали бы снова, а может быть, впервые тяжесть удовлетворения оттого, что в наш век, беспредельно осложненный искусственными отношениями между людьми, независимые события могут быть такими: значительными, а повторяющиеся, полустертые ощущения — глубокими и острыми, как те, которые мы больше читаем из старых книг, нежели из своего сегдашнего бытия. Вы почувствуете, что все остается на своих местах; что ценности, данные человеку природой, самой природой и оберегаются, и что подменить их невозможно ничем.

Собственно, здесь рассказ о человеке, который до конца был верен себе, можно считать заключенным. Для омерка биографического содержания, каким является этот абсолютно документальный рассказ, здесь не хватает нескольких заключительных штрихов. Вот они.

После возвращения из Киева Анатолий Карпович Покрытан регулярно ложился в клинику В. П. Филатова и перенес еще несколько операций (начиная с сорок третьего года, на операционный стол он ложился десять раз). Оперировал его ученики и коллеги В. П. Филатова, ныне видные специалисты в этой области профессор Владимир Евгеньевич Шевалев. Самая результативная операция была сделана в пятьдесят пятом году: Покрытому было возвращено десять процентов зрения. Что такое десять процентов после одного — вероятно, ни один человек с нормальным зрением определить не может.

Почти двадцать лет А. К. Покрытан возглавлял кафедру политэкономии — сначала в педагогическом институте, потом — в институте народного хозяйства.

Как и тридцать лет назад, этот человек отличается чрезвычайной работоспособностью. Его работы известны в профессиональных кругах, наиболее крупная из них, посвященная некоторым проблемам политэкономии социализма, вышла отдельной книгой, была переведена с рубежом и получила высокую оценку специалистов.

Эти сведения можно было бы изложить более описательно, если бы в этом была цель рассказа. Но ко

всему сказанному добавим только один эпизод, в котором оказалась свой жизненный сюжет, и сюжет этот был бы слишком плох, если бы придуман...

Десять лет назад Покрытая снова приехал в Киев. На сей раз ему предстояла защита докторской диссертации. Ход защиты был традиционным, но когда оппоненты сказали свое слово, когда были взвешены и оценены достоинства диссертации и, наконец, можно было поздравлять теперь уже доктора экономических наук Покрытана, пришелся несколько отступить от традиций. С некоторым опозданием слова попросил пожилой человек, находившийся в зале, и ему было дано право выступить. Он удивил ученых первой же фразой, заявив, что никогда не был специалистом в области политэкономии, но тем не менее хочет выразить свое отношение к происходящему. И прежде чем собравшиеся успели принять неожиданность такого выступления, Покрытая узнал его. Узнал по голосу.

Говорил генерал, командир дивизии, для которого спустя двадцать лет после войны Покрытый все еще оставался его бойцом. Он говорил о том, что знал он, и чего в этой аудитории, кроме него и Покрытана, не знал никто. Он рассказал историю солдата — историю командира отивового взвода из гаубичной батареи. В аудитории собрались люди вовсе не склонные к бурным проявлениям эмоций, но те аплодисменты, которыми закончилась эта защита, заглушили даже испытанный генеральский бас.

НЕСКОЛЬКО СТРОК ОТ АВТОРА

Небодходимо выяснить один существенный вопрос: к чему рассказывать о несбытиях на ладейках, о замыслах, потерпевших крах? Ставившим образом этот вопрос не занял центральное место в судьбе, о которой здесь было рассказано. Поэтому возникла потребность в этих заключительных строках.

Следя каких только жизненных аварий и катастроф ни попадаются каждому на его долгом пути! Но с каким бы малчаливым сочувствием мы ни всматривались в обломки, разбросанные по обочинам, наше внимание всегда будет устремлено вслед тому, чей путь обрел желаемое завершение. Есть в этом какая-то неумолимая логика: движение самой жизни. Но... эта логика имеет оборотную сторону.

Мы привыкли концентрировать внимание только на том, что у же о б р е л о желаемое завершение и все меньше смотрим на обочину. Мы начинаем коллекционировать результаты и потому часто не видим, как на наших глазах свершается судьба. Мы ж д е м, чтобы она свершилась. Наше сознание фиксирует личность лишь в момент общественного признания заслуг этой личности. И уже не процесс приводит нас к итогу [процесс ведь может и оборваться!], а итог заставляет нас присматриваться к процессу. Мы начинаем любить кинотеатр, в котором фильмы крутят от последнего кадра. Нам требуется все больше и больше всяческих утешений, и мы заранее знаем, что есть эпилог, потому что усвоили прыльчуку обращаться в сторону свершившегося.

Эти строки вызваны нелюбью к эпilogам.



ЕСТЬ ДОРОГА!

Жара в ту августовскую субботу стояла необыкновенная. Да еще такая толчая на Казанском вокзале — дыхнуть не под силу. Когда подали поезд «Томич», от жары ли, от стула ли, от вокзальной ли его пассажиры сломя голову кинулись насадку: скорей, скорей вырваться с раскаленного асфальтового острова-перрона в прохладу купе. И все-таки притормаживали, пробегая мимо крайнего вагона красного цвета, под нулевым номером, да еще с загадочным трафаретом «Москва — Сургут».

— Это что за мэршрут такой? — спрашивали у проводников красного вагона.

Тимофей Петрович Комаревцев — в отутюженной форме, китель застегнут на все пуговицы, блестит эмблема на фуражке — сдержанно отвечал:

— Едем на открытие новой дороги Тюмень — Сургут. — И со значением добавлял: — Впервые в истории.

Его жена и напарница Екатерина Васильевна спешила разъяснить:

— Всем корреспондентам. Целых пятнадцать человек. Вот они все посмотрят, напишут что к чему, тогда и любопытных побаиваются...

Проводники вагона, который действительно на десять дней стал базой журналистской экспедиции в Западную Сибирь, еще много раз по всему пути следования отвечали на недоуменные вопросы: «Первый вагон... Впервые...» И слыша в их голосах гордость людей, которые в первый раз проедут по новой трассе, я думал о тех, кто эту дорогу построил. Построил в том краю, где «...кругом болота лишь, тайга и топи лишь», как поется в песне. Почти десять лет этой песне, и все это время с полным правом нелось: «...а мы дорогу строим на Сургут». Теперь эти слова устарели — дорога на Сургут построена...

Рано утром меня разбудили голоса под окном вагона. Один из них принадлежал нашему проводнику Тимофею Петровичу.

— Первый в истории — объяснял он громко-то. — Из самой Москвы едем...

«Вы построили дорогу — дорога выстроила вас... — читали строители в листовках, которые журналисты разбрасывали по трассе.

Рисунок
Г. ЧЕРЕМУШКИНА

— Тюмень — столица деревень, — отвечал его собеседник. — А дальше вообще в такую глухомань поедет — глухари да болота.

Я вышел на платформу. С нашим проводником разговаривал местный сцепщик вагонов. Поезд «Гомич» умчался на восток, а нас привели к специальному составу. На праздник по случаю открытия железнодорожного сообщения от Тюмени до Сургута первым пассажирским поездом ехали лучшие строители 700-километровой трассы. 286-й — такой номер имел наш поезд. На каждой станции деловито подсаживались все новые и новые люди; так что можно было подумать, будто едут они на обычную смену, каждый на свой участок дороги. Поезд «разбухал» до самого Сургута. Шумные встречи, рукопожатия, похлопывания по плечу: «Ну, как? Где сейчас? А помнишь?..» Транспортные строители народ кочевой. Еще вчера люди двух строительномонтажных поездов (СМП) работали рядом, а потом разъехались — могут целый год не встретиться.

Журналисты «расросались» по поезду — набрасывая блокноты. Где еще встретишь сразу такое количество интересных собеседников — путециев, нефтяников, мостовиков, геологов, лесовиков?!

В штабном вагоне начальника управления строительства «Тюменьстройпуть» Дмитрия Ивановича Коротаева вспоминали дела минувших дней. Например, декабря семидесят третьего года — смычку на 575-м километре трассы, где был забит «серебряный» костьк. Вспомнили первый тепловоз, пришедший к берегу Иртыша в Тобольске, и первый гудок на мосту через Югансскую Обь. Кто-то из журналистов, пришедших в штабной вагон, задал не очень-то складный вопрос:

— Сколько стоит дорога?
— Миллион, — ответил Коротаев.
— Что миллион? — не понял мы.

Каждый километр стоит миллион, — уточнил Али Халилович Алиджанов, автор проекта участка дороги от Тюмени до Сургута, ныне возглавляющий институт «Сибгипротранс».

— Ого! Золотая дорожка!

— Дорога дорога, а бездорожье дороже, — возразил он на сидащий у окна и не принимавший до этого участия в разговоре Геннадий Иосифович Шмаль, второй секретарь Тюменского обкома партии. Он склонил голову, и поговорка, в четырех словах которой оказалась сразу четыре «ра», напомнила детскую скороговорку. Хотелось повторять под стук колес: дорога, дорога, дорога, дорога... бездорожье дороже... дороже, дороже, дороже...

— Дорога не самоделка, — продолжал секретарь обкома, — не для того строена, чтобы по ней кататься. Много лет километр за километром рельсы продирались на север. Но еще быстрее убегали на север одна за другой нефтяные мышки. Десятилетия назад в области добывали первую промышленную нефть 206 тысяч тонн. За годы. Сейчас каждые сутки мы добываем в два раза больше. Ну, например, за вчерашние сутки было добыто 411 тысяч тонн нефти. Если посмотреть по карте на сегодняшние наши нефтяные и газовые месторождения, то сразу видно: они находятся в труднодоступных районах. До строительства дороги основной частью грузов мы перевозили рекой и по воздуху. Теперь представьте: каждый год надо построить две-две с половиной тысячи километров нефте- и газопроводов — промысловых и магистральных. Нефтепочистительные станции, жилые дома, школы, магазины, больницы, клубы. Значит, нужны трубы, кирпич, бетонные блоки, продовольствие, оборудование, техника... И все это надо завезти за время навигации — не больше пяти месяцев в го-

ду. Не сумели создать запас — уже в апреле, а часто в феврале, бывает, даже в январе, нашим строителям делать нечего. А оставшиеся зимовать в местах перевалки грузы тянут государственные кармана, не давая никакой отдачи...

Слушая Геннадия Иосифовича, я вспомнил, как несколько месяцев назад в Тобольском речном порту я стоял «на бреге Иртыша»... Вокруг, насколько хватало глаз, лежали трубы. Полуметровые, метровые, совсем небольшого диаметра, изрядно покрытые от ржавчины, они громоздились причудливыми пирамидами, убегая на километры за пределы порта. Три баржи стояли под погрузкой, и портальные краны своими огромными «руками» переправляли туда пакеты труб. «Грузить вам не перегрузить», — подумал я тогда, мысленно прикладывая, в какую копеечку обходится перевалка, сколько эти трубы пролежали здесь, сколько им еще предстоит дожидаться своего часа и как их ждут в Сургуте, Надыме, на Самотлоре. В то время двухкилометровый мост через Обь еще только сверкнул склонами опорами из воды, и основной пункт перевалки грузов с железной дороги на водную был здесь, в Тобольске...

Сейчас нефтепромыслы, — говорил между тем Шмаль, — все дальше и дальше уходят от магистральных рек. Если сегодня еще Самотлорское, Сургутское, Западно-Сургутское месторождения проходят там, где есть реки, то теперь мы идем на север. Рек там нет, поэтому наличие надежного всепогодного транспорта особенно важно. В этом году область обязалась дать стране 147 миллионов тонн нефти. 22 из них — сверхплановые, трудовой подарок тюменцев XXV съезду КПСС. Благодаря таким темпам развития Тюмень мы в прошлом году обогнали американцев по добыче нефти. В этом году разрыв еще больше увеличится. Если же заглянуть вперед, нас ждут еще большие масштабы добычи.

— Поэтому, — подхватил Алиджанов, — пока мы спокойно едем в этом поезде, строительные десанты уже рубят просеку на Уренгой, к самому Ледовитому океану. А эта полоса, — он указал в окно, — уже освоена. Сегодня трудно представить, как в 1964 году мы летели над будущей трассой, смотрели винт и помечали в своих дневниках, что под нами почти сплошь болота. Вы, наверное, смотрите в окно и думаете: «Какие тут трудности? Как в Подмосковье! Красота!» А я еду и узнаю те места, где проваливались в болота машины, где были изыскательские лагеря — несколько палаток, и ни души на сотни километров. Моника, гнус — летом, миши пятачесят — зимой. Впрочем, моншка и морозы — это еще полбеды. Приходилось выдерживать бой в различных инстанциях. В 1965 году члены экспертной комиссии хватались за головы: «Миллион за километр! Что вы? Таких дорог у нас никогда не строили!» А один товарищ так и окрестил ее: дорога в никуда...

Через несколько дней, когда мы летели вертолетом над участком будущей трассы Сургут — Уренгой — 216 километров в сторону Нижневартовска — все, о чем говорилось в штабном вагоне, обретало зримые черты. Внизу, насколько хватало глаз, раскинулись болота. А прямо под нашим Ми-8 тинулась едва заметная ниточка искусственной твердой земли. Кое-где уже отсыпано полотно железной дороги, даже на несколько километров уложены рельсы от Сургута в сторону Нижневартовска. Потом полотно обварилось, и едоль просеки потинулась только лежневка...

Но вот снова бургится насыпь. Под нами — на-копитель намытого гидроспособом песка. В бурты,

за стеки, надвинутые бульдозером, закачивается по трубе пульпа. Самого земснаряда пока не видно, но, если следить за тянувшейся на несколько километров трубой, обязательно увидишь песчаное озеро. В воде механическое чудище, как мамонт хоботом, захватывает пульпу, чтобы перегнать ее в накопитель. А к накопителю уже спешат КРАЗы, чтобы развезти песок на другие участки трассы. Внезапно обрывается и лежневка, подойдя к краю большого болота или торфяной речки. Видны только опоры на берегах: строители ждут металлоконструкции, чтобы пунктир дороги скорей становился сплошной линией..

Поезд остановился на станции Юность Комсомольская. Раньше станция называлась Түртас, но дружба строителей с нашим журналом и комсомольским возрастом жителей поселка внесли изменения в карты и железнодорожные справочники. Здесь базируется комсомольско-молодежный строительно-монтажный поезд 522. Я ожидал встретить бригадира путейцев Виктора Молозина, но оказалось, что молдинская бригада ведет ремонтные работы на станции Юнг-Ях. «Ночью Виктор к вам подсядет», — сказал знакомый инженер.

В штабном вагоне разговор после остановки начал с тома опыта, который накопили дорожные строители на Тюмень—Сургуте — этом «испытательном полигоне», как назвал Алиджанов Севсиб.

Институт «Сибгипротранс» участвует в проектировании БАМа. Так вот, оказывается, целый ряд экспериментальных технических и технологических решений, прошедших «обкатку» на этой трассе, переносится на магистраль века. Например, раньше поселки для обслуживания дороги располагались в десяти—пятнадцати километрах друг от друга. Маленькие, неблагоустроенные. Впервые на участке Тюмень—Сургут их стали располагать на расстоянии 60—100 километров. Высвобожденные средства пошли на благоустройство. Поселок имеет все, что нужно для нормальной жизни: школу-девяностошестку, магазины, больницу, прачечную, пекарню. В домах — центральное отопление, горячая вода. Или, допустим, гидроаналы. Не новинка, но в таких масштабах применен впервые. В порядке эксперимента на участке Юность Комсомольская — Демьянская построили еще четыре года назад двенадцать опытных искусственных сооружений: вместо громоздких железобетонных труб использовали металлические, гофрированные. Выгода оказалась беспрецедентной: в тридцать раз снизился вес используемых материалов, в два-три раза ускорили укладку пути.

Все эти разговоры о технических новшествах могли бы показаться скучными, да и не совсем понятными непосвященным, если бы не магическое слово «первые». «Впервые в истории», — вспомнились мне гордые ответы нашего проводника...

Утром ко мне в купе заглянул Виктор Молозин, с которым мне не удалось встретиться на Юности Комсомольской.

— Это мой Володька, — представил он парня, стоявшего рядом.

Они стояли рядом и улыбались понимающие — оба красивые, загорелые, в одинаковых синих костюмах. Молодой мужчина и подросток. Для Молозина-старшего лето выдалось нелегким: заканчивал одиннадцать классов, потом сразу пришлось держать экзамены в Свердловской техникум транспортного строительства. Володька провел летние каникулы, работая в отцовской бригаде.

— Заменил бригадира? — спросил я.

— Ну, заменил не заменил, а работал нормально. Да и пора. Не маленький уже — восемнадцати.



Начальник управления строительства «Тюменьстройпуть» Герой Социалистического Труда Дмитрий Иванович Коротчайев.

Я вспомнил, как накануне в штабном вагоне Дмитрий Иванович Коротчайев говорил:

— Решение сложных задач всегда требует инициативы, большой настойчивости и смелости. Люди, которые не отягощены догмами, условными представлениями, легко решают неординарные вопросы.

— Сами условия работы в области требуют активного приюта молодежи, — сказал Г. И. Шмаль. — Здесь быстро и более активно формируется характер, потому что жизнь бросает людей в такие обстоятельства, условия, когда негде и не с кем советоваться. Пока будешь сознаваться с руководителями в Тюмени, в Новосибирске или в Москве, — время уйдет. Поэтому и руководители у нас молоды.

К полудню подъехали к берегу Большой Оби. Тысячи людей, цветы, плакаты, музыка, речи. На Оби, по обе стороны моста, собрались плавсредства со всей округи: катера, баржи, моторные лодки. Многоголосые гудки разнеслись над рекой, когда бригадир монтажников Юрий Гончаров перерезал алюминиевую ленточку. Пассажирский пошел по мосту, «разбужнув» еще на дюйм тысячу человек, — от моста до станции 14 километров, кому охота тащиться пешком. На станции тоже был митинг. А через несколько минут тихо и незаметно подошел грузовой состав. По сути, этот поезд и был сегодня именинником. Ради потока таких поездов изыскатели пробились первую тропу, ради этого работали под шквальным ветром над Иртышом и Обью; ради этого неделями пробивались по зынникам тракторные поезда. Поезд привез бурильные трубы, запчасти к экскаваторам и земснарядам, 50 холодильников и мебель в сургутские магазины.

— И двести ящиков чешского пива, — сказал наш проводник Тимофей Петрович. — Совершенно точно, я узнаел. Впервые в истории.

А что такого? Есть дорога.

Марк ГРИГОРЬЕВ

Б непривычно благополучные для клиники дни, когда позади были три недели с шестьюдесятью тяжелыми и все-таки удачными операциями на сердце и легких, в наполненный миром осенний день с теплым солнцем и падающими листьями к старому хирургу пришло ощущение счастья. Оно было соткано из благодарности к этим шестьдесят и ко многим другим, которые были раньше. Особенно к детишкам — они появляются здесь всегда испуганные, тонкие, ручки, как палочки (обреченные). А потом, спустя годы после операции, приходят такие хорошие. Вот оттого, что приходит, что могут приходить и еще многое другое тоже могут — и в школе учиться, как все, и даже в футбол сгонять — от всего этого было хорошо. Дрожали в памяти лица матерей. И думалось о счастье вообще. Нужели оно только стихия — кому-как повезет в жизни? Нет, не может быть. Нужно учить умуению быть счастливыми. «Шутиши, брат. Этому научит немыя». И сам себе возразил: «Можешь». А потом еще: «Если бы всех детишек учили!»

Это «если бы» стало мечтой, вейкой, заклинанием. Не только для хирурга из повести «Мысли и сердце», которому так важно понять простую схему: человек в мире. Для другого, реального, давшего жизнь книжному, — тоже. Впрочем, разделены ли они? Николай Михайлович Амосов много раз настаивал на повторял, что профессор Михаил Иванович в его «Мыслях и сердце» — лишь литературный персонаж и не следует видеть в нем фигуру автора. Ему не поверили. Слишком отчетливо прочитываются в повести коллизии авторской биографии, очень уж точно, матрично, воспроизводят герой авторской миропонимание. И не важны читателю, даже не замечены им детали, говорящие о различии.

«Если бы всех детишек учили!» Бесхитростно, без тени многозначительности зазвучала здесь тема, которую сделал главной своей работе. Тема человеческого счастья. Жаль, если кто-то усомнится в этих словах нашину прямолинейность и не захочет увидеть проблему — большую и актуальную, подсказанную тревогой за человека. Мы часто готовы принять безыскусственность за упрощение честство.

Оказ от условностей — это всегда риск не быть понятым. Амо-



Галина
ТОРЖЕВСКАЯ

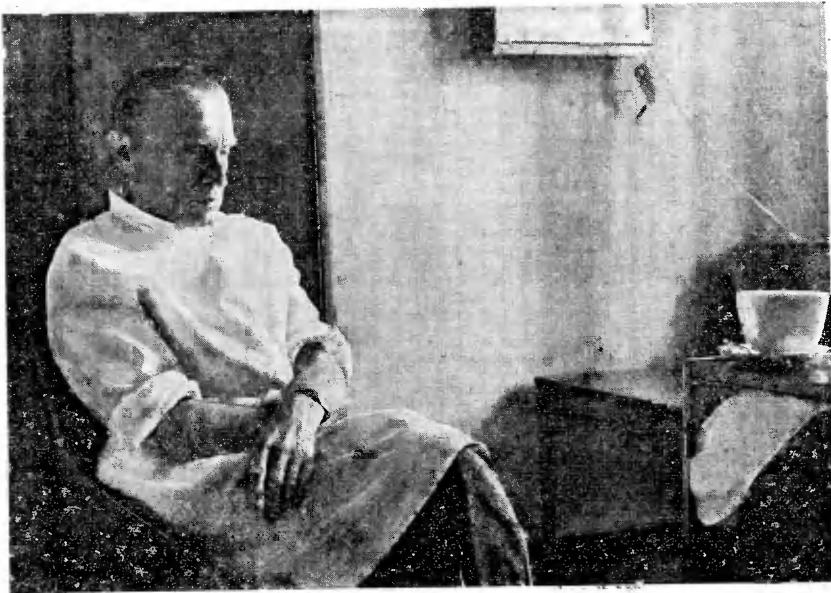
Познаваемый и воспитуемый HOMO SAPIENS

сов шел на такой риск не единожды. И тогда, когда заговорил о пугающей неточности всей медицины, о том, что точность придет сюда лишь с кибернетическими методами. И когда начал рассматривать самого человека с точки зрения этих методов, выделяя в нем программы, часть которых дана каждому от природы, а часть — результат социальных, воспитательных воздействий. И когда, занимаясь психологией, захотел увидеть ее вне тех традиционных направлений, которые граничат, с одной стороны, с философией, а с другой — с физиологией, и попытался с позиций науки посмотреть на те законы взаимосвязанных проявлений личности, которые до сих пор мы называли скорее по Шекспиру, Толстому и Достоевскому, нежели по учебникам психологии.

Профессор медицины Амосов стал профессиональным кибернетиком, всерьез занялся социологией и психологией. Он много размышляет и пишет. Но чаще пишет о нем. Точнее, о его научных идеях. За каждой из этих идей — проблемы, которые открыты для себя как нечто насыщенное, порожденное сегодняшними интересами и запросами человека. Он вторгается в новые сферы, что-то предлагаеет и что-то отрицает. Часто кажется, что он существует. А он просто работает, смущая иных коллег-медиков кажущимся разбросанностью интересов, гневя многих философов и психологов нетрадиционностью подходов к их наукам и оставаясь на диво последовательным в этой своей «разбросанности» и нетрадиционности.

У Амосова много оппонентов, устремляющихся в его суждения, даже в некоторых его конкретных делах односторонность и субъективность, а в каких-то его трактовках — недостаток профессионализма. Если с этим согласиться, останется неясным, чем сильны его концепции, почему они, хоть и непривычные, оставались неопровергнутыми.

Да, по газетным и журнальным статьям взгляды и теории Амосова открываются нам не как научные обобщения, а скорее как разрозненные трактовки биологических и психологических особенностей человека. И кажется порою, что взращены эти трактовки лишь на склонности к теоретизированию. А между тем ратует ли он за постоянные физические нагрузки или за «тренированность» как привычку к постоянной полезной



Николай Михайлович Амосов.

Фото М. АЛЬПЕРТА.

деятельности, высказывает ли предложения, касающиеся воспитания и обучения детей,—это всегда лишь отзвуки того цельного исследования, которое стало вторым после хирургии делом Амосова-ученого. В Институте кибернетики Академии наук УССР он возглавляет отдел, работающий над проблемой моделирования личности. А оно немыслимо без всестороннего изучения человека. И худо ли, что сопровождают эту работу не только специальные формулования, но и безыскусственные размышления на общедоступном уровне?

Его научный подход построен на доверии к прямолинейной логике вычислительных машин и на стремлении познать внутренний мир человека во всей его непримитивности. Многое в этом подходе действительно выходит за рамки привычного стиля научных исследований. Но разве не привлекательны сами по себе раскованность суждений, широта взгляда, пренебрежение к авторитету предрассудка, искренность ученого? И не становятся ли эти качества, присоединенные к умению интересно думать, главным топливом для насыщенного творчества? Не всегда бесспорного, но всегда значительного.

II
од колесами тало всхлипывал выпавший вчера снег. Водитель такси недовольно ворчал. Ему не нравилась погода, не нравился этот круговорот подъем, а главное не нравилась мысль, что он может чего-то не знать в Киеве. Он был почти уверен, что нест на Батыевской горе туберкулита. И только из по-

следнем повороте, когда я показывала, куда ехать, встремленусь:

— Так ведь это клиника Амосова, а не институт. Обычные издержки популярности. И вот объясняю, что клиника грудной хирургии—лишь часть большого лечебного и научно-исследовательского комплекса. А потом, когда уже входку в ворота, водитель долго изучает вывеску: «Научно-исследовательский институт туберкулеза и грудной хирургии имени акад. Ф. Г. Яновского Министерства здравоохранения УССР».

За серой оградой—серый снег и серые строения. А там, внутри, больничный быт—такой, как везде, с ожиданиями и страхами, с надеждами и безнадежностью. В этом медицинском массиве отдел Института кибернетики не удивляет лишь потому, что шеф этого отдела—Амосов.

Я прежде уже бывала здесь. И в клинике, известной как один из кардиологических центров, осваивающих и разрабатывающих все более сложные операции на сердце. И в кибернетических лабораториях. Сначала была лаборатория медицинской кибернетики. Много лет назад здесь появились едва ли не первые в Союзе диагностические машины—самые простые, с малым еще объемом умений и знаний. Но они и тогда уже анализировали историю болезней, делали несложные обобщения. И именно они укрепили веру Амосова не только в машинную диагностику, но и в машинные возможности вообще. И сегодня, когда вместо маленькой лаборатории здесь работает отдел блоккибернетики Института кибер-

тики АН УССР, от машин ждут уже несравненно большего — чтобы они, к примеру, воспроизводили поведение человека.

Попытки моделировать поведение личности в наше время уже не кажутся пикантной научной вольностью или смелым прорывом в неизведанные сферы. Okolo полутора десятков лет назад проблема моделирования личности встала как выражение потребностей и одновременно возможностей современной науки. Она вззволновала и плененила кибернетиков. Реализация идеи началась с того, что казалось самым логичным и целесообразным, — с попыткой моделировать отдельные элементы психической деятельности человека.

В разных странах мира начали появляться программы для электронно-вычислительных машин, наделенных «искусственным разумом». Машины поражали наше воображение, демонстрируя способность узнавать определенные предметы, решать задачи, самообучаться. Гроссмейстеры садились за шахматные доски соревноваться с электронными соперниками. Переводчикам, редакторам, даже поэтам предсказывали серьезную конкуренцию со стороны электронных коллег.

Но непринужденные разговоры о том, что смогут и чего не смогут будущие электронные специалисты, продолжительное время оставались без обобщений. Потребность в них ощущали, когда встал вопрос: «Что дальше? Кто перейдет от моделирования отдельных функций мозга к воспроизведению психической деятельности в целом?»

Простое объединение отдельных смоделированных элементов в одну систему не было выходом из положения. Во-первых, потому, что операции, доступные человеческому мозгу, неизбримо много. А во-вторых, потому, что единого принципа для всех моделей так и не нашли. Чаще всего между ними было очень мало общего. А мозг между тем — поистине универсальный аппарат мышления; он справляется с самыми разнообразными заданиями.

Был период, когда ситуация казалась совсем безвыходной. И многие заговорили уже о границах возможного в моделировании. Но недаром, видно, существует парадоксальная истинка, утверждающая, что многое проясняется, если на сложное посмотреть просто. Подход, избранный Амосовым и его сотрудниками, действительно по-своему прост. Впрочем, у них в ходу иное определение — о грублении.

Я видела схему, которая отражает сегодняшнее представление о будущей модели. Это перечень важнейших характеристик, из которых состоит личность человека: — биологически обусловленные признаки, черты, проявляющиеся в социальной жизни, рефлексы, формирующие разнообразные чувства. А наутина линий показывает существующие здесь взаимосвязи и взаимозависимости. Все это, выраженное математическими символами, когда-то станет программой для ЭВМ. Всего в схеме что-то около пятидесяти характеристик. В человеке, живом человеке, их тысячи. Это и есть огрубление.

Именно о грубаяя объект изучения, исследователи надеются рассмотреть в нем главное. И не нужно быть специалистом в области кибернетики, чтобы согласиться с ними: увидеть слишком большую панораму можно, лишь отказавшись на какое-то время от деталей. Воспроизвести поведение человека можно, лишь познакомившись с самыми общими его законами и сознательно обойдя бесконечные тонкости. А потом, уже имея упрощенную модель личности и пользуясь ею, реально будет постепенно совершенствовать ее.

Я сижу в одной из немногочисленных комнат,

вместо которых в себя отдал биокибернетики, и тешусь надеждой увидеть конкретные дела, стоящие за всеми этими подходами и принципами. Вот схема модели. Это уже некоторые материализации исследований. Но и она несет информацию на уровне обобщений. Я же хочу знакомства с самим процессом работы. Потому с готовностью берусь за тесты, которые предлагает один из хозяев комнаты — Владимир Михайлович Белов. Это уже нечто совершенно конкретное.

На столе вырастает пирамида папок с набором вопросов, задач, рисунков, графиков. И я с энтузиазмом беру на себя функции объекта исследований. Похоже, и уду отсюда, зная решительно все о собственной персоне. Впрочем, мои запросы не распространяются так далеко...

Как раз на той стадии, когда я уже готова поверить в неограниченные возможности тестовых исследований, Белов объясняет:

— Эти методики мы отрабатывали лишь постольку, поскольку нужно знать все приемы, применяемые для изучения человека. Но для нашей работы они неприменимы.

Ну вот... Медленно отодвигаю папки на край стола.

— А какие пригодны?

Пожимает плечами.

— Таких в общем-то нет. По крайней мере в чистом виде нам не подошли ни один из популярных ныне приемов изучения личности как психо-социального явления. Эти методы не дают всехватывающих данных о человеке. А нам нужна широчайшая обобщенная информация. Ведь модель должна воспроизводить личность в целом, со многими ее проявлениями.

— Где же вы находитите эти проявления?

— В конкретных людях. Наблюдаем их, описываем определенные типы личностей. При этом пользуемся и уже существующими представлениями — скажем, о лидерах и функционерах, об интровертах — людях замкнутых, погруженных в себя, и экстравертах — общительных и открытых. Анализируем связь между биологически обусловленными инстинктами и такими чисто социальными проявлениями, как потребность в общении, готовность к преодолению трудностей, стремление к новым знаниям. Обобщение всех этих наблюдений позволяет строить гипотезу.

Значит, формирование гипотезы — так называется та рабочая реальность, которая предшествует этапу математических символов. Модель всегда начинается с гипотезы — суммы максимально достоверных сведений об объекте изучения. На основе этих сведений строится схема, а затем составляется программа для ЭВМ.

— В идеале нужно собрать воедино все знания о человеке, — говорит Белов. — То есть, все те сведения, которые несет психология, социология, педагогика, биология. И, конечно же, художественная литература — да-да, для понимания человеческой психики она дала еда ли не больше, чем строгая наука. А чтобы правильно интерпретировать и четко классифицировать эти сведения, нужны наши собственные наблюдения и обобщения.

Это кажется парадоксом: с одной стороны, они стремятся располагать всехватывающей информацией о человеке, с другой — совершенно сознательно идут на огрубление. Но объяснение здесь просто: они упрощают, отбирают лишь самое существенное среди характеристик личности, но всячески пытаются избежать искажений общей картины. Нельзя, чтобы гипотеза грешила необъективностью. Нельзя, чтобы она недооценивала какую-то сторону

психической или социальной жизни. Тут имеют значение и эмоции, и мотивы поступков, и моральные ценности, и идеальные категории — все, что влияет на поведение человека.

А еще исследователи пытаются уяснить, насколько жестки программы, навязанные нам природой и завишающие от инстинктов. И какова мера воспитываемости человека? В каком возрасте особенно нужны воспитательные воздействия и какие?

Это очень важные для Амосова и его коллег вопросы. Потому-то и начался новый этап в их работе — наблюдение за детьми, за группой обычных малышей из детсада. Для этих ребятишек составлена специальная воспитательная программа, продуманная до мелочей, несущая им все те духовные ценности, которые в идеале должны формировать личность. Исследователи стремятся создать условия для полного и раскованного самовыявления каждого из этих очень разных ребят. И в то же время они ждут ответа на главный вопрос: можно ли их, разных, сделать всех альтруистами, подавить в них агрессивность, жадность и т. п.?

То, что уже дал эксперимент, подсказывает положительный ответ. И к еще одному выводу склоняется Амосов. Мы, полагает он, преувеличиваем роль индивидуальных способностей; видимо, рожденного здесь меньше, чем привобретенного; то, что называют одаренностью, — часто лишь результат интеллектуальной тренированности.

Впрочем, о результатах этого эксперимента они еще избегают говорить. Считают, что не готовы. Что ж, это, наверное, будет отдельная большая тема. («Еще одно увлечение Амосова», — скажет кто-то.)

Да, до полной ясности еще далеко. Открывая новые пути, приходится открывать и новые трудности. Впрочем, это участок многих исследователей. Не всем удается учиться на опыте других. Иногда приходится погружаться над собственным.

«У шефа много идей», — сказал мне Белов. Шеф — это Амосов. Кандидат медицинских наук, вчар-психиатр по профессии, Владимир Белов — его заместитель. А весь отдел биокибернетики — это еще сорок человек. Инженеры, медики, биологи, математики. Большинство из них принадлежит к тому молодому поколению, которое, рано став зрелым, долго не переходит в ранг среднего. Уже минуло больше десяти лет с тех пор, как оно поднялось в науке, литературе, искусстве и уверенно заняло о себе идеями, открытиями, непредубежденными мировосприятием. Его тогда называли поколением тридцатилетних, хотя передо было явным преувеличением. Его называют сегодня поколением тридцатилетних, хотя нему прислаивают и тем, кому скоро сорок. Это поколение с большим зарядом интеллектуальной энергии. И оно имеет намерение надолго сохранить все признаки молодости. Прежде всего молодости творческой.

«У шефа много идей», — говорят они. Это и их идея. Они их не только разделяют, они их реализуют. Они задались целью создать модель человека. И спрашивают: для чего? Они отвечают. Они говорят о человеке в обществе — том вечном единстве, с которого начинается и само бытие, и сознание, и прогресс. Человек от возникновения своего всегда элемент общества.

Они говорят о коммунизме, оптимальном обществе будущего. Сегодня его уже пытаются представить предметно в деталях. И детали эти касаются не только экономики, но и всех уровнях взаимоотношений между людьми. Насколько подготовлен человек к высоким нормам, сизиатальным для оптимального общества? Моделирование может помочь разобраться в этом. Ведь модель способна воспроизве-

сти типичные реакции людей на такие процессы, как возникновение материального благосостояния или более письмо удовлетворение духовных запросов, на многие другие изменения. И, возможно, удастся своеобразно разглядеть то неожиданное в этих реалиях, чего желательно избежать с помощью воспитательных влияний. Таким образом, будут сформулированы конкретные задачи перед педагогикой и психологией.

Чтобы знать, насколько в данном случае можно полагаться на эти науки, и приходится исследовать меры воспитуемости человека. Потому и нужны эксперименты, способные показать, можно ли очень разных ребят сделать людьми добрыми и щедрыми, всепонимающими и сострадающими, решительными и убежденными, знающими острой потребность в творчестве и чуждыми мелкой суетности, способной поглотить человека.

Конечно же, они стары, как мир, эти задачи. Но до сих пор неизвестно, насколько в каждом конкретном случае можно рассчитывать на успех в таком воспитании. Ведь зависит он, как правило, от таланта педагога, его психологического чутья, его чувств, его энергии, его собственного духовного потенциала. А не следует ли взять на вооружение какие-то конкретизированные методы, разработанные с помощью математической точности, но извлеченные как раз из опыта больших педагогов? И при этом рассчитанные на разные типы личностей. Все это и должно выяснить психология.

Убежденный в огромных возможностях науки, в своеобразности идей моделирования, Амосов насыщает этой идеей страницы своих книг. Он выходит на трибуну, чтобы говорить о ней, разъяснять ее, убеждать ее. Он непосредственно работает над созданием моделей. Те, кто с ним рядом, — не просто надежные помощники, они единомышленники.

Быстро дробью постукивает по доске кусочек мела. Несложные формулы, разные кривые. Без их помощи биокибернетику трудно рассказывать о своей работе. Он привык прибегать к языку математики. Совсем не сложному в данном случае, но чрезвычайно детальному и большому по объему. Ведь именно математика дала тот шифр, благодаря которому стал возможным сам факт моделирования в его современном понимании. И поведение человека со всей его трепетной неоднозначностью, став объектом моделирования, сразу же превращается в упорядоченную систему понятий, каждое из которых требует количественного выражения. Предельная конкретность начинается здесь уже с самого общих определений.

Что такое человек? Амосов формулирует так: многопрограммный автомат со сложным многокритериальным управлением. И при этом подчеркивает: ступро технический подход совсем не отрицает всего этого неповторимого, что делает человека человеком; просто именно с него начинается огрубление и переход к количественным оценкам, обязательным в кибернетике.

Одно из отличий человека от автомата состоит в том, что автомат сначала получает «плату» (то есть определенные стимулы, сигналы), а потом работает. Человек же, наоборот, работает, ожидая «платы». И тут же оговорка: «платы» — условное определение, которое никак не может обижать человека. Ведь это не только материальные стимулы, но и одобрение других, собственная радость от успеха, любое поощрение, любое влияние, которое оказывает на нас общество. «Плата» дает ощущение удовлетворе-

ния. И если оно выше, чем неприятные ощущения, связанные с затрачиваемыми усилиями, то стимулирует деятельность.

...Он вел себя именно так, как надлежит типично-му представителю любой сферы социальной деятельности. Работал, формировал свое отношение к разным моральным ценностям, к семье, имел определенный спрос на продукты культуры. Но вот понадобилось увеличить отдачу от его труда. Где искать пружины, способные повлиять на его рабочие усилия? По-видимому, и среди тех называемых первичных чувств, обусловленных самой природой человека (честолюбие, удовлетворение от деятельности, чувство собственности), и среди вторичных, приобретенных в социальной жизни (чувство долга, гордости, профессионального престижа).

Однако, кроме этих чувств, которые служат резервом для повышения активности, в человеке скрыто не мало других, уменьшающих его усилия. Это могут быть лень, утомление, ненависть, жадность и т. п. Их тоже учили. Как и то, что все эти чувства — и стимулирующие и тормозящие — тесно переплетаются между собой; как только изменяется активность одного из них — тут же происходит перераспределение всех остальных.

Наконец, соотношение нужных чувств найдено. Как «запустить» их? Конечно же, с помощью внешних воздействий. И нашему работнику улучшают условия труда, помогают повысить уровень профессиональной подготовки, увеличиваются заработок, находят методы морального стимулирования. У него резко возрастает удовлетворение от деятельности. И мы прослеживаем, как он начинает работать напряженнее, с большей отдачей. Цель достигнута.

Все эти события вмещаются в короткие минуты. И происходит все в лаборатории. Потому что работник, элемент социального поведения которого мы проследили, — это модель, уже созданная биокибернетиками. Назвали ее «Социон». И хотя Социон еще чрезвычайно далек от настоящей модели социальной личности, тем не менее он уже наглядно продемонстрировал отдельные закономерности системы «человек — общество».

Он, в частности, подтвердил прямую зависимость между социальными проявлениями индивида и его эмоциональной сферой. Так уж человек устроен: он стремится к приращению чувства удовольствия. И, как мы убедились, это может стать непосредственным источником его творческой активности. А если продолжить и углубить эту зависимость, то обнаружим, что стремление человека к удовольствию, к благополучию не только не противоречит интересам общества, а прямо с ними совпадает.

Ведь максимум счастья граждан — одно из важнейших условий коммунизма. Но многое зависит и от критерия, от того, что вкладывается в представления о счастье. Только если человек осознал себя как личность, способную приносить пользу тем, кто живет рядом, и обществу в целом; если он постиг, насколько радостнее отдавать, чем потреблять; если он обрел ясное мировоззрение, построенное на гуманности, честности, доскоинстве, только тогда приложение его энергии, все его запросы и увлечения будут глубоко моральны в самом широком смысле этого слова.

Амосов очень ценит понятие «общественно полезная деятельность». Может быть, слова здесь чуть постыдились от чистого употребления, но то, что они выражают, и есть смысл жизни человека — не биологический, заложенный природой, а именно социальный. Счастье, идущее «снизу», от инстинктов — острое, но оно ненадежно и для нашего человека мало. Только если оно дополнено этой «деятель-

ностью», есть надежда получить крепкий якорь, обрести устойчивый душевный комфорт.

Именно так, не счастье, а душевный, психологический комфорт, предпочитают говорить Амосов и его коллеги, когда рассматривают его с позиций моделирования. Потому что в моделях можно предусмотреть лишь ту составную нашего внутреннего благополучия, которая зависит от внешних воздействий. И только эту составную может обеспечить нам самое совершенное общество. А то, что не зависит от социальных условий, от психологического уята, навсегда останется с человечеством — и быть утрат, и горечь неразделенных чувств, и острое сопреживание чужому страданию. Впрочем, видимо, только такой цепной человек может оставаться человеком.

Амосов верит в программы, цифры, коэффициенты, во «входы» и «выходы». Но верит он и в высокую духовность. Это он сказал, что есть люди, талантливые на доброту и благородство так же, как на позитив и математику. И что поэзия идеалов остается и войдет в будущие расчеты.

Большие планы всегда вырастают из больших возможностей. Сегодняшняя работа биокибернетиков над схемами, графиками и расчетами, экспериментом в детском садике — лишь этапы в реализации этих возможностей. А Социон — первый подступок к будущей модели. Но он и ее начало. В одном из своих публичных выступлений Амосов говорил о модели личности: «Создаем, немного создали и, наверное, не скоро еще создадим до конца».

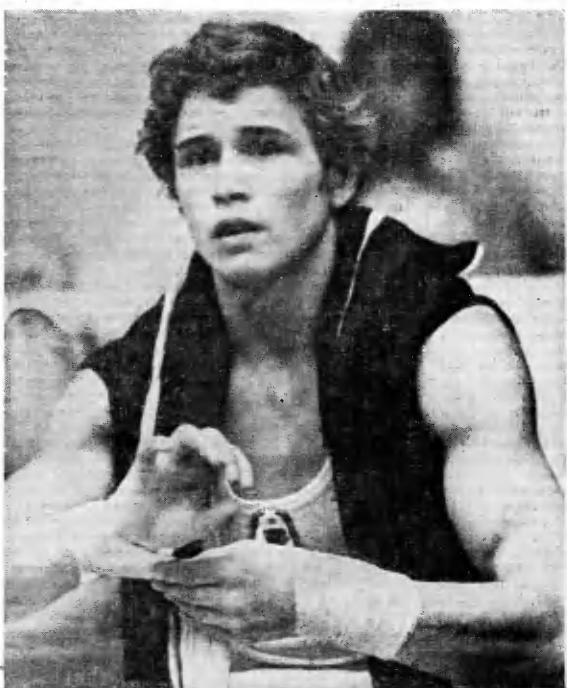
До конца — это когда определятся наконец мера познаваемости и воспитуемости представителей виды Homo sapiens, когда можно будет прослеживать поведение разных людей с их инстинктами и способностями, с их творчеством и увлечениями; когда удастся понять, как направлять развитие отдельной личности, чтобы она — элемент общества — способствовала его устойчивости и прогрессу.

А пока что проблема моделирования личности только начала открывать свои глубинные иллюстрии. И, безусловно, внимание к ней одних лишь биокибернетиков слишком мало. В ней еще много неясного и спорного. Чтобы она обрела безупречную с точки зрения всех наук стройность, необходимо участие в ней этих наук. Особенно она ждет специалистов по общей и социальной психологии.

Именно этим наукам придется искать ответы на множество еще неясных вопросов, касающихся поведения человека. И, пусть это не прозвучит высокомерно, им предстоит научить человека счастью, которое поднимет его над суетностью, над самой временностью и краткостью человеческого бытия.

Киев.





Алексей
САМОЙЛОВ

ФОТО
В. ГАЛАКТИОНОВА.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ САШИ ДИТЯТИНА

На спартакиадном турнире гимнастов, который проходил у нас в Ленинграде, я был лицом замите-ревизованным, ибо работал над сценарием документального фильма об Александре Дитятине.

Мой близкий друг и коллега, утонченный знаток гимнастического таинства, не преминул пройтись в своей газете по поводу нашей кинозате: «Вот уже и фильм крутил о Дитятине — не рано ли? Он воткнул эту спицелечку в репортаж, озаглавленный: «Дитятин и его поколение».

Мы заняли свои места в ложе прессы минут за пятнадцать до открытия финальных соревнований мужского многоборья.

— Читал? — спросил мой друг, доставая из кожаного чемоданчика свежий номер своей газеты.

— Читал, читал... Что-то написали, после сегодняшнего вечера, когда Саша станет абсолютным чемпионом Спартакиады?

— Ну, если станет, напиши, что не рано о нем фильм снимать, а в самую пору, — улыбнулся он.

Честно говоря, особой уверенности в том, что Дитятин станет абсолютным чемпионом, у меня не было. Я помнил, как выглядел Саша на одной из плавлин тренировок сборной Ленинграда. Тренер его, Анатолий Григорьевич Ярмовский, правда, предупредил меня, что у Саши повреждена кисть левой руки и он пять дней в зале не появлялся — ходил на процедуры, отдыхал и сегодня будет не в лучшем виде...

Саша действительно покрутился немного у зеркальной стены, плифи — волниные — так, в треть силы, не делая элементы, а лишь обозначая... Потрусил по большому залу... На перекладине прокрутил несколько оборотов, сгибая ноги в коленях и совсем не заботясь о том, чтобы тянуть носки... И с таким все это делал неудовольствием, с такой кислой физиономией!

Его левая кисть была забинтована. Сказал мне, что побаливает. А Ярмовский заметил обеспокоенно:

— Меньше двух недель до Спартакиады осталось... На первые роли Дитятин выировал дерзко и неожиданно. В прошлом году, еще будучи официально лишь кандидатом в мастера, он выиграл Спартакиаду ленинграда, а в этом году уже стал обладателем Кубка страны и третьим гимнастом Европы. В семнадцать лет! И Воронин, и Клименко, и Андрианов — наши гимнастические звезды последнего десятилетия — вспыхивали позже.

На Спартакиаде СССР Саша ждала нового взлета. И он действительно лидировал после первых двух дней, а рядом держались Ижунин и Кулаксизов — оба из его поколения. Только двукратный абсолютный чемпион Европы Виктор Клименко, представлявший поколение постарше (между ним и Дитятином восемь лет разницы), «подзатескался» между мальчишками. Виктор, занимавший вторую позицию, от Саши отделяло 0,675 балла. Немало, конечно, но не безденно: достаточно было Дитятину дрогнуть, сорваться, и все бы круто изменилось.

Я допускал, что Саша может сорваться — тем более, что в этот последний день его тренер буквально за попаса до выхода гимнастов сказал мне:

— Устал он, очень устал...

Сорвался же Алехандро! Чемпион Европы этого года Николай Андрианов не ангелоподобный отрок, как Саша, а грозный гимнастический муж с бугристыми бицепсами, легкий и взрывной, крутящий сальто в вольных на такой высоте, куда остальным и не снилось залетать. Так вот сам Андрианов, наша главная опора, получил «6» при выполнении опорного прыжка в обвязке на программе. Андрианов «самоустроился» из борьбы за титул абсолютного чемпиона, накалил и без того стresseвую атмосферу главного гимнастического турнира страны — практически единственного, куда раз в четыре года собираются действительно все сильнейшие.

Участие Андрианова (он доказал это в последующие дни, получая очень высокие оценки) в дележе медалей абсолютного первенства охладило бы пыль остальных: в спорте борьба за второе место не в два, а в десять или в сто раз менее горяча, чем за первое. Теперь вакансия освободилась, и я боялся, что наш юный герой еще надаст, прибавит, закусит удила, в естественном стремлении оторваться от соперников, и вот тут-то не выдержит, сорвется...

Но тот юноша, который на недавней тренировке был скучен, вял и ко всему безразличен, теперь, на соревнованиях, стал собранным, сосредоточенным и совершенно спокойным, словно и не подозревал о накалившейся после срыва Андрианова обстановке, словно и не чувствовал волевого напора своего председателя Клименко.

Первая команда, в которую входили и Клименко с Дитятином, начала с вольных.

Широкой молнией метнулся по ковру тугой, налитой смолой Паата Шамутия, исторгнувший своим отчаянным тройным пируэтом волю восхищения болельщиков.

Судьи дали грузинскому гимнасту оценку, которая оказалась лучшей — 9,3 балла (на этот раз судили не из 10, а из 9,4 балла, и добирать десятые доли балла сверх нормативных надо было включением особо сложных и оригинальных элементов).

Дитятин вышел на ковер после Шамутия. Контраст был велик: грозовое небо разрядилось, выглянуло солнце, побежали первые облака. Тиши да глядь. Однако не все гладко вышло — не заладилось с пируэтом, два раза в досок не встал. Уж досоки у него любо-дорого смотреть: как влитой, приземляется, будто магнитом притянутый, — не шелохнется. Бионеханку досока поставил ему Ярмовский, как опытный педагогставил голос начищающему певицу.

И вот досоки, «фирменное блюдо», не выходят. В первом же виде не выходят...

9,15 получил Дитятин, 9,25 — Клименко. Расстояние между ними на шажок сократилось — до 0,575.

Но по коню Саша «ходил», как по Невскому или Летнему саду, без малейшей задержки, без единого сбоя, в безуказориженном ритме, словно прислушавшись к различаемой только им одним во всем зале музыке. Он заработал 9,5 балла. Клименко — на две десятые меньше.

Кольца и опорный прыжок прошли без особых приключений и практически ничего не изменили: перед двумя завершающими снарядами — брусьями и перекладиной — ленинградец опережал москвича на 0,225 балла.

Вышли на брусья. Ярмовский установил жерди на пижунку шириной, подозвал ученика: «Как?» Дитятин примерился: «Нормально». И пошел с помоста, еще раз сказал: «Будет нормально».

Я смотрел на Ярмовского, когда Саша делал комбинации на брусьях, и, когда дернулся его кадык, понял: что-то случилось, что-то не вышло у Саши. Оказывается, он не вышел в стойку и на большее, чем 8,95, рассчитывать не мог. А Клименко отработал точненько и, взяв 9,3, подобрался к Дитятину значительно ближе. Правда, их разделяло почти пол-балла (0,475), но, казалось, юноша «поплыл», а опытный мастер только сейчас по-настоящему вошел в ков той работы, что не для слабонервных.

Поплыл? Как бы не так! Он крутил на перекладине не просто чисто, а лихо, с вызовом — не точку поставил в конце, а воскликательный знак. И в результате у него лучшая оценка на последнем спаряде, лучшая сумма многоборья и звание абсолютного чемпиона шестой летней Спартакиады народов СССР. Спартакиады, посвященной тридцатилетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Шесть дней назад на торжественном открытии турнира Александр Дитятин от имени гимнастов страны произнес клятву быть достойными своих отцов, высокого нести звания Победы.

В пресс-центре Дитятин сидел за столом рядом с Клименко и третьим призером — Федором Кулаксизовым из Днепропетровска — и светился от радости.

— Чем вы недовольны в своем выступлении? — спрашивала мой коллега из Киева.

— На сегодня я всем доволен.

Потом тренеры — Ярмовский и наставник мужской сборной страны Леонид Аркаев — скакнули о его слабостях, о том, что надо добавить в некоторые комбинации элементы высшего трудности, усложнить сокоски, — и он будет согласно кивать головой, а улыбка будет по-прежнему блуждать по его лицу.

В гимнастическом строю он стоит всегда на правом фланге: его 173 сантиметра — для гимнаста рост приличный. Еще четыре-пять сантиметров здорово бы осложнили ему гимнастическую карьеру. Глаза его называются в репортажах круглыми, а губы — пухлыми. О губах спорить не берусь, а вот глаза — совсем не круглые. Просто они всегда широко открыты, что придает его лицу выражение некоего постоянного удивления. Одна ироничная девочка, после того как мама, известный тренер по гимнастике, познакомила ее с Сашей, сказала о нем: «Родился, удивился и тутом остался». Сказала с высоты своих девятнадцати лет.

Седьмого августа Саша находился в американском городе Миннеаполисе, где вместе с другими ведущими мастерами нашей гимнастики участвовал в показательных выступлениях. И еда он закончил свою программу, диктор объявила, что сегодня ему исполнилось восемнадцать.

— Я даже испугался, — рассказывал мне Саша, —

когда весь зал вдруг встал и запел. Я различал только свое имя: «Александр, Александр!... А американцы пели, оказывается: «С днем рождения тебя, Александр!» Это у них такая традиция.

Он хвастался мне китайской шляпой, подаренной ему в Штатах, подробно пересказывал парализованный его фильм о гигантской акуле-людоеде, который завершается, впрочем, ко всеобщему удовольствию: погибающий человек в отчаянии швыряет чудовищный баллон с кислородом, потом стремглав, падает в баллон и акулу разносит взрывом в куски.

Как все-таки отражается на формировании личности Саша Дитятиня с того раннее приобщение к взрослой спортивной жизни и с того быстрый его гимнастический взлет? Ответить на этот вопрос я попросила Зинанду Алексеевну Новикову — воспитательницу из спортивной школы-интерната на Выборгской стороне, где учился Саша. Сейчас он уже второкурсник института имени Лестафта, но Зинанда Алексеевна на прощемье остается близким ему человеком.

— Понимаете, я не очень беспокоюсь, — говорит Новикова, — что Саша зазнается, зарвается, нос заде-

рет, — не такой он парень, не должен. У него душа хорошая. Добрый мальчик, искренний, к другому человеку чуткий, умеет другого слушать, чувствовать — понимаете? — сострадать умеет. Чистая душа. Не должен бы вознестись, залететь высоко, не должен. Но однажды слышу я по радио, как наш Александр выступает, вернувшись из Швейцарии с чемпионата Европы, и говорит между прочим: «Я хотел продемонстрировать на чемпионате Европы все свои лучшие качества...» Какие такие «свои лучшие качества»? Резануло это мой слух, резануло. Самого его я тогда не смогла увидеть, но свое неудовольствие через ребят, его товарищей, передала. Он почувствовал, что к чему, и, возвратившись из Америки, стал у меня допытываться: «Я снова интервью давал в «Спортивном дневнике», слышали? Ну и как? Правда ведь, говорил все нормально?»

А в завершающем реポートаже с гимнастического спартакиадного турнира, принадлежащем моему авторитетному московскому другу, было, кстати, сказано, что снимать фильм о Дитятине не рано, а может быть, в самую пору.



«НАС НЕ ЗАБУДЕТ РУСЬ»

Когда я была маленькой девочкой, коллекционеры вызывали у меня какое-то особое благоговение. Рядом со мной жила юная особа, в изголовье постели которой висели пуганцы Лепешинской: юная особа была балетоманкой. Позже я поняла пустоту ее увлечения. Потом я встречалась вполне взрослых коллекционеров гоббесковского толка, коллекционировали они достаточно профессионально, но только для себя и не слишком бескорыстно. Анатолий Георгиевич Кравцев — художник из Брянска, уже двадцать семь лет работающий на стеклоделитенном заводе и много лет собирающий реликвии, связанные с именем Есенина, — вновь вернулся к детскому благоговению перед коллекционерами.

Поначалу, войдя в квартиру Кравцевых, я удивлялась: где же коллекция, о которой написал в редакцию Анатолий Георгиевич? Трудно было поверить, что в не большом старом шкафу хранятся все его богатства: вырезки из газет и журналов, сотни фотографа-



Анатолий Георгиевич Кравцев и Лидия Ивановна Бласова, первая учительница Сергея Есенина, живущая ныне в Брянске.

ний — известных, малоизвестных и практически неизвестных, письма, автографы, кинопленки, плакаты, рисунки... Кравцев состоит в переписке со знаменитой Шаганэ — Шагане Нересовной Гальян, актрисой Августы Леонидовны Михалевской, которой Есенин посвятил стихи: «Заметался пожар голубей», «Дорогая, сядем рядом...», сестрой Есенина — Александрой Александровной, сыном поэта — Константином.

Почетное место в коллекции занимают книги и статьи с воспоминаниями о поэте, с анализом его творчества, на многих — артефикальная надпись Анатолию Георгиевичу. Библиографический справоч-

ник трудов о Серге Есенине упоминает и работу А. Г. Кравцева (об актрисе А. Л. Михалевской в период ее работы в Брянском театре).

С чего началась эта коллекция, точнее, с чего началась потребность Кравцева коллекционировать? Вопрос этот, должно быть, так же прост и сложен, как один из вечных вопросов — с чего вообще начинается любовь и привязанность.

Анатолий Георгиевич любил Есенина с детства, отец его, старый брянский рабочий, был человеком образованным, имел в доме библиотеку. Анатолий Георгиевич хорошо помнит книгу Есенина в

Константину Симонову—молодому, красивому... 60-летнему—
сердечный привет от читателей и редакции «Юности»

Воздвигать себе памятник —
дело нелегкое это.
Я его воздвигал
под разрыхлы снарядов и жиц.
Постаментом сделал
железное тело лафета
В окружении черных
холодных носов субмарин.
Слух пройдет обо мне,
как солдат на побоином
параде.
Впрочем, он бы прошел
без войны, без погон
и петлиц.
Ну хотя бы за две —
до и после военных
тетради,
За одну из пяти
небописанных мою страниц.
Если трезво взглянуть,—
мне совсем не нужны
слухи эти:
Чтоб всякий сущий язык на Руси
о тебе громогласно кричал!—
Там начало конца,
где трещат без конца
о поэте.
Там, где искрение любят
поэта, — начало начал,
Почему же мне так грустно?..
Стихи обрываешь на этом.
Видно, тот, кто писал,
погорял вдруг к стихам
интерес.
И, поскольку слы
надоело быть только поэтом,
Он давно перешел
К написанию романов и пьес.



Дружеский шарж И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

мягкой обложке. Война помешала ему получить образование, и с годами увлечение коллекционированием помогло ощутить истинную сопричастность к искусству.

Своею любовью к искусству А. Г. Кравцов передал сыновьям. Старший его сын недавно окончил Ленинградский институт, театр, музыки и кинематографии и стал художником-постановщиком, младший — учится там же.

Страстная любовь к поэзии Есенина Анатолий Георгиевич передал не только своей семье. Он постоянно выступает в школах, домах культуры, клубах. Вот один из отзывов. Преподаватель литературы Р. Пащкова писала в заvodской моногортиражке: «Более двух часов находились мы в плену интереснейших фактов, собы-

тий из жизни поэта, казалось, что мы побывали рядом с Есениным. Нельзя было без волнения слушать рассказ Анатолия Георгиевича о посещении им первой училищницы Сережи Есенина — Лидии Ивановны Блассовой.

— Знаете ли вы других собирателей Есенинин? — спросила я Анатолия Георгиевича.

— Знаю. Один из них — москвич — он недавно умер — совершил просто подвиг. Он «расписал» всю жизнь Есенина по дням...

Когда я совсем уже собралась уходить, Анатолий Георгиевич показал мне посмертную маску Есенина и в его взгляде ярко вспыхнула трепетная преданность поэту. И я жалею, что не пронесла в тот момент в слахах есенинское: «Мы умираем, сходим в тиши и

грустить, но знаю я — нас не забудет Русь». Жалко, потому что гостепримимый хозяин дома, скромный человек, профессии которого не имеет никакого отношения к литературе, по-своему помогает сбываться есенинскому пророчеству.

Оладателям ценных коллекций да, видимо, и всем нам небесполезно помнить слова философа: «Для меня нет интереса знать что-либо, хотя бы о самом полезном, если только я один буду это знать. Если бы мне предложили высшую мудрость под непременным условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался».

Галина НИКУЛИНА



В. ДЖАЛАГОНИЯ

У вас есть знакомый компьютер?

(Диалоги
на страшном нерве)



— **Н**у... — нетерпеливо спросила мама, едва открыл дверь. — узнал, кто будет физику у Юрика принимать?

— Да, дорогая, узнал. Компьютер.

Мама наморщила лоб, на котором в канун приемных экзаменов в вузах появилось немало новых бородзок.

— Постой, постой! Я определенно где-то слышала эту фамилию. Этот Компьютер не родственник Бориса Георгиевича?

— Вряд ли. Скорее его «Жигули», да и то очень далекий. Дело в том, что компьютер — это машина...

Мама помолчала, беря себя в руки, и спросила очень вежливо, но на страшном нерве:

— Милый, ты что, считаешь меня идиоткой?

— Нет, почему же. — осторожно сказал папа. — Я ничего такого не говорил.

— Тогда как же ты хочешь меня уверить, что физику у Юрика будут принимать «Жигули»?

— Кто тебе говорил про «Жигули»? — взвился папа, и в комнате раздалось негромкое гудение. Это завибрировала его первная система. — Я тебе говорил про компьютер. А компьютер — это такая машина, такой электронный экземпляр, такая ЭВМ, таком большой арифмометр! Понятно?

Мама поджала губы и до самого ужина их не разжимала.

— Ну, хорошо, — сказала она уже за чаем. — Пусть арифмометр. Но скажи сразу, ты берешься найти к нему ход или, как всегда, свалишь это на меня?

Папа поперхнулся и долго-долго откашливался.

— Ты понимаешь, что говоришь? К кому я должен искать ход? К компьютеру? К этой железке?

— Да, — твердо сказала мама, —

к этой железке, если эта железка будет решать судьбу нашего Юрика.

Гудение усилилось. Если вначале папины нервы издавали не лишенный мелодичности звук случайно потревоженной скрипичной струны, то теперь вступила контрабас. Это как минимум.

Но мама ничего не слышала. В ней тоже что-то гудело.

— Любопытно, как это ты себе представляешь — дружеский контакт с электронной машиной? Может, мне ее в ресторан пригласить?

Мама саркастически усмехнулась:

— Ну, конечно, ресторан — это первое, что пришло тебе в голову! Если захочется вышить, так и скажи. Зачем прятаться за спину машинины?

— Ну, а ты-то, ты-то что предлагаешь?

— Да мало ли что! Ну, проявить элементарное внимание, ну, подарок сделать, презент, сувенир какой-нибудь...

— Для чего машине сувенир? Можешь ты мне это объяснить?

— Ну, не сувениры, так запасы. Все владеющие машинами, которых я знаю, только тем и занимаются, что достают для них запчасти. Могут же понадобиться компьютеру какие-нибудь дефектные детали — катод, анод, электрод — я знаю... Ну, поллитра машинного масла высокой очистки он может взять, этот твой электронный приятель?

Папа застонал и стал рвать на себе волосы. Их было не очень много, и делать это приходилось с разумной экономией.

Мама щеткой аккуратно стряхнула папины волосы в совок и поставила вопрос ребром:

— Ты мне прямо скажи, Юрочка — твой сын?

Папа побежал в ванную и запер дверь изнутри. Он включил холодный душ и, лязгая зубами, стоя под ним до тех пор, пока не стал совсем синим и пурпурным...

— Что я говорила! — с торжеством сказала мама на следующий день, который был целиком заполнен сложными телефонными переговорами. — Он действительно его родственник!

— Кто? — слабым голосом спросил папа.

— Борис Георгиевич.

— Чей? — еще тише спросил папа.

— Компьютера.

Папа больше ничего не спросил. Он только с тоской посмотрел в сторону ванной.

— Ясное дело, не самого компьютера, а того, кто за ним присматривает. Как он называется — оператор, что ли? Он женат на золовке жены Бориса Георгиевича со стороны ее первого мужа и согласен нам помочь. Так что доставай подпарники и задний мост.

— Я и не знал, что у компьютера есть фары и задний мост, — сказал папа, начисто утративший способность удивляться.

— Это не для компьютера, а для Бориса Георгиевича, — снисходительно, как ребенку, объяснила мама. И еще надо Булгакова и Ильина Во.

Вот не думал, что Борис Георгиевич Булгаковым увлекается!

— Булгаков и Во — для оператора, того самого, мужа золовки жены Бориса Георгиевича со стороны ее первого мужа. Он очень эрудированный молодой человек.

— А для самого компьютера ничего не надо — кротко поинтересовалась папа. — Я спрашиваю, потому что боюсь чего-нибудь упустить.

— Для компьютера не надо, он железный.

— Можно еще один вопрос, родная? Просто в порядке самообразования. Как он, собственно, намерен действовать, муж золовки жены Бориса Георгиевича со стороны ее первого мужа? Научит компьютер писать шпаргалки?

— Что ты, что ты! Со шпаргалками сейчас очень строго. Он просто так запрограммирует машину, что она все время будет зажигать Юрочку «глочно». Понял?

— Понял, — сказала папа и побежал в ванную, заранее лязгая зубами...

Безупречно спланированная операция «Компьютер» сорвалась в самый последний момент: по причине настолько вздорной, что о ней в век НТР и говорить как-то недозволено: Булгакова достать не удалось...

Василий ТРЕСКОВ



ДИПЯ ТОР

Рисунок М. ФЕДОРОВА.

Он спускался с непрступного ледника, с горных вершин, на которые еще не ступала нога альпиниста. Шерсть покрывала его могучее тело. Через плечи была переброшена наследственная шкура, сорванная некогда ликим предком с натурального мамонта. Острые когти босых ног держали его на склонах наружнее металлических «кошечек». Играючи, он перепрыгивал через зияющие пропасти и трещины, как через лужи.

Кончились льды. Так далеко он еще никогда не заходил, разве что воровать овец... Но сейчас ему было не до них. В его доисторическом черепе впервые за 500 лет мелькнула мысль. Что было этому причиной — украденный ли у альпинистов транзисторный телевизор, опустынившее ли одиночество (все его сородичи уже давно вымерли), — сказать трудно. Но эта появившаяся неминуемо откуда мысль встремилась его несознательное бытие и погнала к людям.

Чабан, долгожитель Ибрагим, пристально разглядывал пришельца.

Много разных туристов повидал на своем веку старец.

— Хиппи — шайтан! Стиляга — шайтан! — сурово осудил его Ибрагим. — Овца такой турист видит — пугается, худеет, колхоз план не выполняет. Хиппи — шайтан!

К вечеру он спустился до высокогорного кафе. И тут он увидел ее. Ту, кем часто лисовалась на экране украденного телевизора и по ком тоскливо вил ночами.

Покачивая бедрами, тускло обтаянутым эластиком, она подпрыгивала к нему. Нежная и белая мечта стояла рядом и держала в зубах белую косточку. Только протяни руку... Ему стало так хорошо, как будто он чесал спину о камни. Расчувствовавшись, лесково заурчал.

— Пойдем отучебим, что ли? — небрежно бросила мечта, выплевывая белую косточку.

Вдруг из рта ее попали дымы... С жалобным визгом выскоцил пришелец из кафе и на четвереньках поскакал вниз от огнедышащей мечты, пока не достиг разницы, застросившей каменными коробками. С перепугу он вскочил

в одну из них и — надо же так слушаться! — сразу попал прямо в квартиру небезызвестного этнографа профессора Закутарова, одного из немногих научно верующих в существование «снежного человека». Закутаров в данный момент творчески храл на своей железной кровати.

Отдышавшись, беллец подошел ближе и стал разглядывать спящего. Он часто видел его в горах. Этот бородач печально бродил по вершинам, словно что-то там потерял.

Закутаров перевернулся на другой бок и промычал: «Где же ты, альмасы, отозвись... Хр-р...»

— Ал-м-ы-а-с-т-ы! — заревел альмасы.

Профессор широко раскрыл глаза, посмотрел на волосатое чудовище и закричал:

— Перестаньте меня разыгрывать! Я уже съел по горло такими шутками! — Он ткнул в стекну пальцем, и тысяча солнц светилась пришельца. — Я вас узнал! — еще громче закричал Закутаров. — Вы мой теоретический противник Петров! Вы не верите в существование снежного человека. Вон отсюда!!!

Альмасы быстро юркнул под кровать.

— А ну-ка выходите, поговорим по душам... — Закутаров встал, прошелся по комнате и угрожающе скрипнул бицепсом.

Гость, привыкнув к свету, поднялся, выпрыгнулся во весь рост с железной кроватью на могучих плечах.

Закутаров сразу же успокоился. Между хильм Петровым и этим волосатым атлетом с фантастической мускулатурой не было ничего общего.

— Садитесь, пожалуйста, — вежливо сказал Закутаров, с опаской поглядывая на него.

Альмасы, ежедневно общаясь с украденным телевизором и слушая песни альпинистов, привык к человеческой речи и сейчас тонким чувством, доставшимся ему в наследство от предков, понял, что его не будут бить и что этому бородатому коротышке можно и не проламывать череп. Дружелюбно рыча, не снимая краевати с плеч, он сел на пол.

«Наверное, какой-нибудь спортсмен пытый заблудился!», — подумал Закутаров.

Пришлец перестал грызть кровать. В его чешуе снова зашевелилась мысль.

— Шайбу! — заревел он. — Ну, зря, погоди! Штирлиц! — изрыгнул он слова, заученные из телепередач. — Пан Зюзя! Гелена Вели-

канова! Люблю! — и запел мелодию, которой в программе «Время» сопровождается сводка погоды.

«Что за бред! Ну и видик у него!...» — думал учёный, присматриваясь к пришельцу внимательней. — Чешуя, шкура, клыки... Очень напоминает мой эскиз снежного человека, который так бесовски высмеял Петров на учнем совете. Все-таки это его проделка. Подговорил какого-нибудь штангиста переодеться, а сам с друзьями под окном со смеху закатывается. Не на того напали...»

— Так, значит, кто вы? — ехидно спросил альмасовед.

— Ал-ма-ст-ы-ы!

— А почему не Юлий Цезарь?

Альмасы молчал.

— То-то. И поставьте кровать на место! Не в цирке!.. А Петрову вашему передайте, что я на такие штуки не клюю! Пусть он так своих аспирантов развлекает. А вам должно быть стыдно! Не вид такой интеллигентный человек...

«Интеллигентный человек», — раскрыл клыкастую пасть, восторженно слушал профессора.

— Курить будете? — спросил Закутаров. — И правильно делаете, что не курите. Здоровье сохраним...

Мифический житель гор с ужасом наблюдал, как этот человек засунул себе в рот белую косточку, которую он уже сегодня видел у своей белокурой мечты, как взял в руки маленькую коробочку, из которой вдруг выскоцил огненный язычок. Зверев, снежный человек отшвырнул кровать и выпрыгнул в окно.

«Странный юноша», — подумал профессор, — наверное, стыдно стало...»

Альмасы мчался по горам со скоростью легкового автомобиля, обгоняя ползущих на подъем альпинистов.

— Хай экспрессив! Браво-брависсимо! — восхищались иностранцы.

— Вот пижон! Заслуженного захотел получить! — возмущались местные инструкторы.

...Через неделю на снежном склоне был обнаружен необычайный след босой ступни. Закутаров срочно вылетел к месту находки. След был удивительно похож на его эскиз ступни снежного человека.

Через день эта сенсация облетела весь мир.

г. Нальчик.

ИЗ ПИСЕМ ШКОЛЬНИКОВ В ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Я живу и учусь во втором классе.

Здравствуйте! Я не знаю, к кому попаду в руки.

...но я уже добарываюсь со своим характером.

Ваша книга устроила целую бурю в моих чувствах.

Мне эту книгу подарили за активную часть в работе кружка юннатов.

И вот я решила написать письмо в редакцию. Это первый шаг в моей жизни!

Мой возраст 1 метр 24 см.

Яхожу на дрессировочную площадку. Правда, я там занимаюсь одна, так как Рекс дворняжка и его туда не берут.

Иногда на меня нападает чувство писать.

Мне очень нравятся книги для животных.

Есть у меня подруга Таня. Мы с ней делимся всем, но почему-то она мне желает худшего, а я её лучшего.

Дорогие выпускники исторических приключений!

Прошу писать отзызы о моих плохих стихах.

Мне почему-то нравится Печорин в делах любви. Я сама хочу походить на Печорина в любовных делах, и это мне удастся.

Страсть иметь ружье обладает мной каждый день.

Мы живем вчегвером: папа, мама, бабушка и я. Не вредно ли будет щенку общества стольких любовей?

Собирала сотрудник отдела писем Центрального Дома детской книги Татьяна Ефремова.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА	Евгений БОРИСОВ. У костра. Рассказ . . .	2
	Юрий МАСЛОВ. Уроки музыки. Рассказ . . .	9
	Алексей КАПЛЕР. Восьмой. Рассказ . . .	17
	Николай ЛЕОНОВ. Явка с повинной. Повесть. Продолжение . . .	31
ПОЭЗИЯ	Владимир КОСТРОВ. «...И поворот, и сердце синяло...», «Я вспоминаю, словно поминаю...». Баллада о Вахше . . .	15
	Олег АЛЕКСЕЕВ. «Вину хмурого поле боя...». «Меж светлых берес подмосковных...». «Ольха цветет — зеленым дымом...» . . .	16
	Виталий КОРОТИЧ. Читая Ленина. Перевод с украинского Е. Храмова . . .	29
	Алексей ДАДЬЯНОВ. «Лучшее, что было, сберегу...». «Мы едем шагом. Свет луны...» . . .	29
	Борис ДУБРОВИН. «Приникались все ко дну траншей...». «Старшина проникнал мне, стреляя...». Баллада о красных ягодах . . .	30
	Григорий ПОЖЕНЯН. Беседы с сыном. «Топчи, топчи свой след, Авдей...». «—Что вы сказали?». Круги . . .	83
	Людмила ЩИПАХИНА. Самолету . . .	84
	Семен ДАНИЛОВ. Дороги. Молодости. Перевод с якутского И. Фонягова . . .	84
	Владимир РЕЦЕПТЕР. «Пусть весело тикают наши часы...». «Веселые двояловом вломиться гости и вам...». «Присядь на колени, я кинду...». «Мы слышим не брошенные письма». «Оставайтесь на крайний случай...». «Ты заметил, как чаинка сварлива...». «Антирица пола песни Беранеж...» . . .	87
	Александр ГОРКИН. Друг и наставник младежи (К 100-летию со дня рождения М. И. Калинина) . . .	58
КРИТИКА	Игорь ЗАБЕЛИН. Книги о путешествиях и путешественниках (Дневник критика) . . .	63
	Круг чтения. Маленькие рецензии и аннотации . . .	70
	Николай ПИЩЕВ. А. В. Луначарский: «Бороться, творить... всю жизнь» (К 100-летию со дня рождения) . . .	72
	Владимир ОГНЕВ. Из черногорских заметок . . .	73
	Юрий ЦИШЕВСКИЙ. Школа мастерства (К нашей вкладке) . . .	81
	Лариса СТРЕЛЬЦОВА. Разве я неправа? . . .	85
	Сергей ЛЬВОВ. Стыдно быть Митрофанушкой	85
	Александр ДАНИЛОВ. Испытание (Сильные духом) . . .	88
ПИСЬМО НОЯБРЯ	Марк ГРИГОРЬЕВ. Есть дорога! (Руку, творящую строитель) . . .	97
ПУБЛИЦИСТИКА	Галина ТОРЖЕВСКАЯ. Познаваемый и воспоминаемый Homo sapiens . . .	100
НАУКА И ТЕХНИКА	Алексей САМОЙЛОВ. Взрослая жизнь Саши Дитятина . . .	105
СПОРТ	Галина НИКУЛИНА. «Нас не забудет Русь» . . .	107
ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	В. ДИАЛАГОНИЯ. У вас есть знакомый компьютер? . . .	109
ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ	Василий ТРЕСКОВ. Дитя гор . . .	110
	Из писем школьников в Дом детской книги . . .	111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Редакционная коллегия:

- А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
Ю. А. Цищевский.

Технический редактор
С. И. Суровцева.

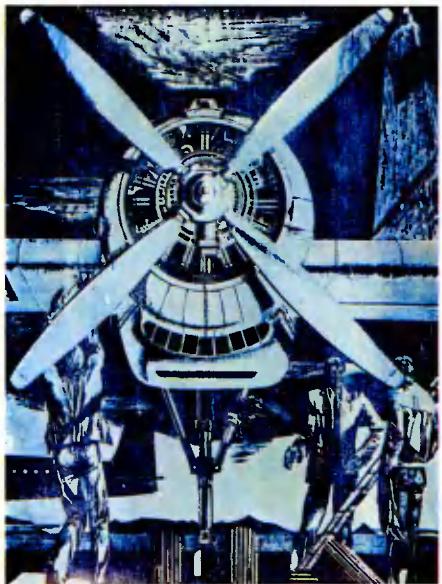
На 1—4 стр. обложки
рисунок К. БОРИСОЗА.

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6,
Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции: 251-32-83.

Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 26 VIII 1975 г.
97 А 13056.
Подп. к печ. 13/X-1975 г.
Формат 84×108^{1/16}.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 участно-изд. л.
Тираж 2 600 000 экз.
105 Изд. № 2517. Заказ № 1071.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типолитография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина,
123865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

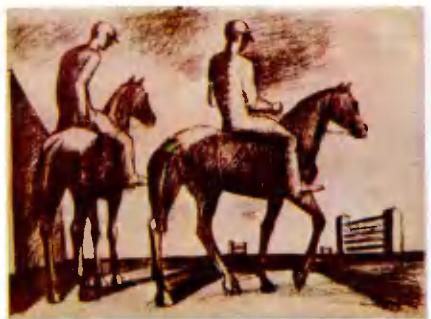


В. ЯКУШИН. Перед ночным вылетом.

К 25-летию
мастерской плаката
Московского художественного
института имени В. И. Сурикова.



В. РЫБАКОВ, В. ЧУМАКОВ.
Деталь панно «Вперед к коммунизму».



Р. ВАРДЗИГУЛЯНЦ. Конкурное поле.
(автолитография).



И. БОЛЬШАКОВА. На озере.
(автолитография).